

Бел

3

НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ 3

Ассоциация
«Новая литература»
Ленинград, 1991



«Вестник новой литературы» — независимый литературно-публицистический журнал.

ВНЛ продолжает традиции так называемой «неофициальной», «второй», неподцензурной литературы.

Выходит ежеквартально.

Главный редактор:
Редакционная коллегия:

Михаил БЕРГ

Виктор ЕРОФЕЕВ

Виктор КРИВУЛИН

Евгений ПОПОВ

Дмитрий ПРИГОВ

Александр СИДОРОВ

Александр СТЕПАНОВ

Елена ШВАРЦ

Михаил ШЕЙНКЕР

(зам. гл. редактора)

Константин КИРЮХИН

Секретарь редакции

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Леон БОГДАНОВ

Ленинградский художник и прозаик Леон Леонидович Богданов родился 25 декабря 1942 года в Куйбышеве (в эвакуации); вся его жизнь прошла в Ленинграде.

Как всякое уникальное явление, и живопись, и графика, и проза Элика (домашнее имя) Богданова вызывали в среде художников и литераторов либо ярое неприятие, либо безусловное восхищение. Несомненное влияние творчество (и личность!) Богданова оказали на автора этих строк и Бориса Ванталова.

Прозу Л. Богданова можно сравнивать и с «Опавшими листьями» Розанова, и с «Тетрадами» Поля Валери, однако имя Беккета было для него еще более значимо. Более того, я считаю, что Богданова можно смело назвать русским Беккетом.

В основном проза Богданова печаталась в журнале «Часы»; другие публикации — в «Транспонансе» (1985), «Митином журнале» (1987 и 1989) и 4А томе антологии Кузьминского «У голубой лагуны» (1983).

25 февраля 1987 года Л. Богданов скоропостижно (разрыв сердца) скончался.

* * *

Несколько слов о публикуемом тексте.* «Проблески мысли . . .» под заглавием «Заметки о чаепитии и землетрясениях» (предложенном редакторами) были частично — примерно две трети — опубликованы «Часами» и отмечены в мае 1986 года премией

* Вступление и подготовка к публикации фрагментов первой части текста принадлежит Владимиру Эрлю, 1990. Полностью рукопись готовится к печати в издательстве Ассоциации «Новая литература».

имени Андрея Белого. «Проблески . . .» писались с конца 1983 по февраль 1987 года (последняя запись сделана автором буквально за день до смерти) и начинаются словами «Искусство Кореи . . .» (см. с. 25). Я дополняю «Проблески . . .» предшествующими фрагментами 1982 года, «Красными карточками» и отрывками «И оказывающийся едущим на автобусе . . .» (с. 20—24) и «Когда понимаешь, что уже и не остается . . .» (с. 13—19), несомненно примыкающими к тексту и открывающими первую тетрадь рукописи. Отмечу, что подобным же образом (т. е. с добавлением более ранних фрагментов) была построена книга Богданова «1974 год».

Что можно добавить? «Проблески . . .» значительно отличаются от предыдущих сочинений как объемом, так и особой плотностью и предельной откровенностью письма. Возможно, предчувствуя эту, новую для себя манеру, Л. Богданов писал (в 1974 году): «Еще когда я был молод . . . , я собирался написать всего пять или шесть рассказов. Давно уже я сказал себе, что достаточно будет одного». Я думаю, что «Проблески . . .» — это и есть тот один (рассказ) . . .

* * *

В заключение хочется привести небольшое стихотворение Л. Богданова, написанное, вероятно, в 1979 году. Это стихотворение, на мой взгляд, может служить гораздо лучшим предисловием к его прозе, чем любое другое вступление.

В первый день листопада,
первый «п о к а»
позабыл: о себе, о себе,
обо всем . . .

наблюдая, как падают листья,
их «короткой дороги»,
их «плаванье» «с» ветки на землю . . .
целый день я «имею возможность» следить.

«Я» весь день — в «оппадающих листьях».

ПРОБЛЕСКИ МЫСЛИ И ЕЩЕ ЧЕГО-ТО

Заметки о чаепитии и землетрясениях

Ничего к р о м е того, что видно сразу в пять окон, не берись представить Заволховье. И берег, а на берегу другая церковь, одна — две . . .

Еще одна неправда; механичность мышления и переоценка предвидимого будущего. Петроградскую с Центром, районом Владимирской площади

судан
эфиопия
сенегамбия

цейлон

чай пролился.
«прыгнула в воду лягушка»

небо Купчино, двенадцать гусей в одиннадцать часов поглядит пролетая и часы снимут, улетя на северо или юго-запад, как два стиральных порошка: «Лотос» и «Старая Ладога».

Этим летом показывали северное сияние. Между июнем и июлем.

Мехико
Афины, 81
Омолон
Аккерман
Баку,
в 82 км от
Хоккайдо
Куляб
Шемаха-Исмаилли, 4, 9
Флоренция —82

3,5 по шкале Меркалли
Сочи
Лемнос, 6-7
Ленинакан
Зардоб
Таджикистан, 6-7
Ашхабад, 5
Петропавловск К., 4

Красные карточки

1.

как пишут на шелку, в орнаментальном стиле, со всей равнины камышей, из таких потоков где по камням течет мелкая, но черная вода красивыми петлями, которые мы видим сверху, собирается эта река (а не из Луги и таких притоков, да и не важно ее название 200). От моря сюда, до почти неуловимого порога по ней, это я видел, прилетают два белых морских орлана держась друг за другом. Ничего не слышно, поезд встал и ветер видим. Птицы возвращаются чистые, балтийское солнце оставляя с правого бока. Не помню где это, год 52-ой.

... «Чудесным образом», скорее дом изменится внутренне и внутри, чем что-то повторится в окружающей природе целое; напоминание существует ради сравнения в уме изменений — к лучшему. А понимание доходит только до приятного, т. е. оно протекает в окружении никакого и неприятного, как «футбол 189... года».

«Кто старое помянет...», что же в этом приятного? То, что только так испытывается полезность фикции времени. А пословица, со своей фиктивной абсурдностью? Основывается на необходимости поддержать коллективное суеверие. А поддержанное такой формой самосознания общество противостоит наркоманической и кшатрийской дваждырожденности, до-словности.

«Пагсам-Чонсан»

Опавшие листья у хижины
где коротаю досуг

Возле самых ворот,
где нога человека, похоже,
не ступала с утра,
на опавшей листве павлоний
росной влаги прозрачный отблеск.

разве все люди так согласны жить? в коммунальных квартирах, в одной комнате? «Хорошо сейчас там, где нас нет», как то, что всегда где-то в космосе льется пиво. Вся мысль в этом. Рядом с условным резонансом поговорок безусловно-абсурдное... Как нет не пустого в сущности от значения вне речевого контекста..., тут мы уже за диалогом, как за околицей, с фантомами загадок.

каждый красный дом музейный экспонат, осколок другой исторической эпохи, ново-голландской...

небо желто-зеленое к буре в Прибалтике. Небо зелено на восходе от брызг морской воды. Ходячее это мнение или правда? Не должны ли мы считать все поговорки порожденными художественным вымыслом?

Подмости

Но и: где я это там потом все тогда и беру? Я освободился и не нахожу места... Всего надо разом, вместе с тем все есть и ничего не надо. Стихотворение на предыдущей странице — пьеса, либретто, идея. Довмонтов город на Петроградской.

Чтобы дух был ровен в день. Лиши смысла поговорку — анти-Даль — тренировка в разъялживании. «Не все коту масленица...» — анти-Мелвилл, пломбирный Пипл Темпл

что называть, смотря ясным взглядом. При ярком свете это все (связанное с умиранием) становится видно и вот почему когда этого нет свет неяркий. Так же как близкие, непереносимыми становятся поговорки, когда понимаешь, что тех и тех роднит одно абсурдное, невыразимое в мире слов и условного значения. И как неяркий свет не дает предвидеть, так же условными значениями ослеплено сознание лиц.

Что же должно успокаивать? Что дети в субботу еще только ходят в школу? И им больше достается света совести.

В азербайджанский чай переплетен Рёан с Рёканом, с оранжевым солнцем, а мы пьем чай из Ленкорани, вот что-то такое для противовеса. Не спеши, и ты успеешь.

— Где мне напечатать твоё стихотворение, здесь же?

Если небо утром зеленое, обязательно будут известия о буре на Балтике. Просто желтое, чтобы не дремал.

Так вот холодно и как бы не существует ничего и этого-то, что с трудом удавалось вспомнить. Так холодно и бывает только в феврале-марте.

Крепкое розовое. И вот сплошь за разом выходит что сильного света нет и достаточно крепкого чая нет. Все окутано патиной здравого смысла и только из-за того и становится выносимо кичливое и пошлое на земле. Я чичего не видел только месяц и шесть дней, а что-то случилось. И один только ты можешь и выжить в создавшихся условиях.

Как краток первый проход на воле, как легки, ну а это и на три — первые две бутылки «Лидии».

Полторы недели. И я и идти не могу, а могу что-то выделывать такое ногами. Время года, та весна, что последует за идентификациями в пустыне. И чтобы значит и считали ее осенние цикады и ордена «Известий», стрелки в стиле Бернара Бюффе на будильнике и неуловимо напоминающая на что-то перепечатка (коаны Рёкана). Черно-корейская месса буддийская — утренний прогноз. Марта 1-е, как всегда пасмурно. Легче первомартовского дуновения свежего воздуха в атмосфере чайной, после кризиса простудной болезни. Мартовский человек.

Лежа и руками я пытался воспроизвести благоговейные жесты безличностной благодарности или «радости».

Недавно в прессе появилось сообщение, что исследования одного ученого из Америки показывают, что индейцы майя в своих летописях отмечали фазы планеты Венеры так же пристально, как мы положения Луны. Сегодня 1-е марта, спускаемый аппарат был посажен на Венеру... птица поет немного звонче; случаи, когда воды так много, что всю грязную посуду и сальную решетку в раковине и саму раковину можно равномерно промыть под непрерывной струей, когда чая так много, что день кроме снов состоит из церемоний, благодарящих Веру, которая все для тебя это все-таки сделала... и т. д. Когда глаза и не замечают никаких перемен к лучшему, кроме как уточнений в чайной утвари, в сторону упрощения ритуала, когда свободы столько, что буквально места себе не находишь... и т. п. По-видимому и не хочется расставаться ни с чем этим.

2-го. Алжир требует Францию выдать участников банды, укравшей несколько Ренуаров в Алжире.

Ну, а когда, как не 2-го марта, бывают вторые похороны рыбаков с потонувшего судна. Вера видела.

Я еще из тех периодов, когда художники ходили ватагой, изю всего Фолкнера «справедливости» и «красных листьев» ради, вырезывал «стрекозу и муравей». Иллюстрированный Jimmy N. В местах не столь отдаленных слышал по радио объявление о лекции Меньшикова об Алексееве. Как с моим диван-кроватью. (Был заказан порошковый Лотреамон).

Не только хуже оплывший, чем на булыжниках, лед, но и крошечный, как гранит воплощенный во льду... Родился я верно с головной пронзительной болью. В феноменально короткий, мистический срок не тривиальным образом разрушая вещи с общей точки зрения зрелые, раздавить в руках чашку, etc. Слова отца за едой — вывод, что к сказкам и басням относится большинство, если не все «недаром говорится» в пословицах. Объявляя народнические мифы ересью открыто, он оказывал влияние авторитетом отца и за обедом. Но на кувшинчик молока вечером наутро напомнит. Низкое небо издавна началось как и чернота не этой весны, силы Инь и Ян, антитеза жизненности и иллюзорной темной безжизненности, медленнее всего поворачивающаяся идея. Но и вместе с тем вырастающая бензначальная очеловеченность копошения пустоты, очеловеченность безлюдья и предрассветный свет, из чего кажется и происходит существование еще некоторых форм общения, сумерки, в которых сумело затаиться человеческое существование, кажущееся противоречивой человечностью улицы рядом с абстрактностью номера, понятия величины или антропоморфным и зооморфным. Светает и желтое перестает просто пугать, зеленое — освещать, черное блестеть.

4-ое. Видьте крупнее, точно, воздуха течение приостановилось, началось что-то весеннее. Март сообщил свою золотистость

Есть еще и все остальное.

Забыл написать, что, как симфонический оркестр, по телевизору, похож на помойку. А еще там была кирха: никого, все залито солнцем.

Эпический трагикомизм, в конечном свете тоталитаризм жизни создают культ сильных чувств. В непереносимом давлении страстей на мою натуру разглядывается только то положительное, что полное несогласие мое со школой сильных чувств одно поддерживает эфемерное существование индивидуалистической модели в философском подходе к существованию. Кроме

несогласия ничто бы и не напоминало о существовании моего, другого взгляда. Так все-таки легче. Деревенька весенняя, на поворотном круге в этот раз не дала о себе знать, не успела. Что-то там сплавлялось постепенно из дополнительного света, ночью грязно-желтого, днем, к вечеру ничего на вид даже приятного. Теплом оттуда впервые веяло. Как-то под вечер второго дня, 5-го марта стало видно как лед изменился в отражении и перед нами опять абсолютное единство раздвоения. Сопутствующий пар стал как туман повыше домов, вы замечаете что и здесь мы, как и везде в этом отрывке, чем-то отделены от источника света . . .

— Господин отец, а господин отец, что если Адалин весь этот был неправ?

Начать с того, что мне этот скромный скрытый рынок не мешал, как и весь район, что-то вроде «между свай» и деревья на разводной части моста, как и их кустарщина. Пусть там не было тропических плодов . . . Вот хранить подобные воспоминания, как об местах ниже уровня моря, хотя бы только в уме — в этой деятельности уже что-то типическое.

На пути, которым никуда нельзя сходить, т. к. на всем пути ничего открытого нет. Им можно только идти, как оттуда (из Волковой деревни) в клуб X-летия Октября. Работающий ночью на излучине гастроном речного участка и трактир в многоэтажной школе и больше нечего вспомнить. Этот одинокий путь, которым когда идешь все в твоей воле. К слову яркое запомнилось вмешательство чужой воли, это клумба где вперемешку с садовыми ромашками посеяны васильки обыкновенные. Но и как бы неожиданно, недуманно она ни возникала, это не произвело диссонанса. Я описываю, что бы мне хотелось взять для своего города. Я хотел бы взять путь по задворкам на котором и человека-то не встретишь, надо брать его с собой в дорогу и потом стараться не растерять двуединого восприятия. Охотник поговорить. Но мы еще вернемся (к этому вопросу).

Это было во времена, когда проводилась кампания по борьбе за экономию электричества. «В двух полутемных шагах она обернулась, оглянулась . . .» Оборот составил образец современной прозы. Но ведь только на место чернокожего себя и принято было ставить. Почему же на окраине чувствуешь себя первооткрывателем, там где все осмысливаемое дословно, где обширные горизонты и ты один на один с еще более одиноким вторым своим я? Очередь за вином у светящихся забегаловок и магазинчиков. Тоже окраина . . . может человеку как за вином туда надо или просто он может шел за вином?

Первую весну, с туманами, ту, что для поэтов, когда можно куда-то пойти, если бы не вялость, просыпаю. Думаю, самую скованность, перехожу из угла в угол.

Внутренний голос говорит, что когда само оцепенение качественно изменится, превратится в весеннее, поглядывать будет поздно, если подглядывать — то тут. Так думают многие. У людей прорезались птичьи голоса. Умер Т. Монк. А в Купчине с птицами дело обстоит, как в зоопарке, встречаются птички и очень красивые.

А это так только потому, что там, вообще-то кумирня «на углу». Что же рассмотришь в чужой тени «великого в малом», дающегося?

Судебная орнаментика восточная

2.

Процветание на снегу черных по-весеннему колючих кустов и людей в темной зимней одежде, заметных на последнем снегу. Брейгель тоже жил над детским садом. А мы тут стоим (на Мало-Московской) защищать вершки православия. Про обед — запретный плод. Заявляется о готовности районов к половодью и настроение должно подняться. Кстати, нашей тропкой, где знакомы все неровности почвы, рытвины и ухабы, на закате бредут и бредут люди. Дети сегодня индифферентны. Проходят минуты, а кажется, что все прошло. Весна. А люди все идут — и полшестого и полседьмого.

Только когда с кондициями 2000-го года будет сосуществовать безвременье зимнего Санкт-Петербургского двора и осуществлять фантазию художника начала шестидесятых годов, полноценно будет осуществляться принцип жизни, заложенный код будет проступать прямо и правильно, как время на электрических часах с выскакивающими цифрами. Тогда этот шифр непосредственно, без перевода будет доходить до сознания и осуществления своего, а когда не одновременно сосуществуют эти факторы, то патологически не доходит смысл жизни.

Как и читать об Кяхте не пив чая не советует не залежалый, как невечерний, как язык — совесть. Момент, когда персонажи молчат, а яблоны цветут, вечен. Молча глядят с улицы через палисадник в окно и им кажется разное одно и то же. Максимум фиксации. Предложение новоиспеченную французенку хлебом накормить, а так в остальном она нормальная. Главное, и я потом много раз убеждался, как продуктивно подвергать данной интуиции

жизнь характеров. От их сложности камня на камне не остается. Спрашивается даже не что, не на что ты смотришь и что ты видишь просыпаясь — как часто это бывает, а сколько раз начиная с полудня ты видишь что-то, как впервые. Например — в час поглядел на весеннюю улицу, ближе к двум так же поглядел на плевок, застывший на домашнем туфле и т. д. И вот выходит, что именно потому, что тебе нечего об этом сказать, и говорится. И опять как не было ничего на другой день.

Освещенные окна — как созвездия, а сами созвездия наблюдаются в открытые форточки — видимое гигантское световое табло. В разные часы и дни говорящее о разном, но о вещах предельно значимых. Это и есть язык цивилизации. Вот и кажется, что тебе многое предстоит узнать. И ничего в ней не понимая не вижу причин не любить то, что дошло и понял. В самом этом по себе не вижу ничего нового, как в проблеме. Солнце встает на небе равномерно. А сверху оно вот такое и есть — не белое и не красное. А так то те племена, что считаются самыми счастливыми, кроме того, что лежат, да стоя заботятся о хлебе насущном, просто еще и водят хороводы друг за другом согнувшись — и это вся мудрость. Шесть по семибальной шкале на юге Хоккайдо. И Калабрия. Ряд огней — каждый огонь новый — смысл ряда (у Козлова).

И у детей бывают дни когда что-то не клеится, но в массовых играх мы этого и не видим. И так приятно на них смотреть, как писателю писать, когда не пишешь ведь тоже что-то не в порядке. А когда пишешь и не замечаешь, как время проходит. Я понимаю, что то сравнение было предельным, дальше оставалось сказать, что Брейгель и есть такой писатель, который рисует, поняв тщету слов.

Есть красный и черный цвета на белой бумаге и есть белый цвет в витраже. Белый цвет и белый свет, каждый мучается сам по себе. Предельное сближение. Учись не делать ничего. Только такой безапелляционный контраст, как красного с черным, вызывает представление от «белого» цвета о белом, свете, но с этим каждый сам должен знать, что делать.

Глаза устали от голубизны, с музыкой порывистого ветра, которого нельзя не заметить. Как бы и мы подойдем.

По поводу Брейгеля. Поселите на мое место детского писателя, чтобы он мог наблюдать за играми детей. Снег в марте стал такой ноздреватый, грязный и рыхлый, что все дети собрались на замерзшей луже. Они больше всего напоминают сточенные цветные карандашики или надломленные мелки. Что они делают на льду? Нам уже почти ничего не дано и мы испытываем уважение, считаем, что это самоуважение — не требовать, чтобы мы осмысля-

ли по-особенному то немногое, что есть. Например, игры детей. Чтобы их осмыслял один человек — этого много. Мне, как бы, вот с этим приходится дело иметь. Но если подумать, то со многим и другим. Параллель детским играм. Я почему-то выбрал декабрьскую оттепель на городских каналах, но это сближение отдаленного. Давно.

Такой яркий блик на окне, что и стены и ничего кругом не видать. На небе гряды дождевых разорванных туч. Ветер. Постукивает с вечера вчерашнего наш дом всеми балконными приспособлениями. Продувается городская окраина. Люди в весенней одежде держатся кучей, чтобы не унесло, как цветные лоскутья бумаги. Воскресение. Весной не страшно. Холодно по-настоящему. Только после этого установились утренники, в хорошее солнечное утро у нас между домами сизый туман, непохоже на любую другую погоду. Начиная идти, люди видят весь свой путь намного дальше. Так бывает при безоблачном небе оттого, что сейчас еще солнце неспособно разморить. Ветер духом весеннего благородства. Сколько бы ни было воды под снегом и под ногами, как красиво. Как чай хватает за душу. Ранняя весна, утро. От весны до весны — несколько лет. И что всю жизнь будешь не признан — оцени это. Отец наш старался, чтобы мы были счастливыми, а не признанными. Снег в Баку, в Грузии, в Сухуми — он это видел. Подземные толчки в южной Бolivии, южной Мексике . . .

* * *

Когда понимаешь, что уже и не остается ничего понять, и ложись спать. Вспыхивают лампочки за твоими окнами, как короче не сказать, и их подмигивание складывается в лаконичную надпись — надо всем звучит политическая новость. Новый город напоминает газетный лист. В старом городе мы знаем об этом больше на слух: упал «Салют-6», землетрясение на Байкале, Индира Ганди совершает поездку в США.

Пахнет чаем, потом яблоками, отдает «пепси-колой». Гвоздики.

Мне даже снится, сколько пасты в стержне должно оставаться. Вот как давно прошли и кончились белые ночи, а продолжают кое-как чайные дни, когда нет ничего сложнее в жизни, чем заварить чай, закурить беломор.

В старом городе соседи лукавей выглядывают из окон, хотя то, что им открывается, не содержит и намека на лукавство. Хлеб, до которого мы договариваемся в течение дня и на закате, как цветной кинофильм, разноцветное небо надо всеми этими новостями, зрелище в новом районе. Теперь

солнце садится в одиннадцать, прошла половина лета. Вера уехала, оставив нас с матерью в маленькой комнатке, но здесь с новостями обстоит не лучше. Пьешь чай и догадываешься о завтрашней первой новости. Люди разъехались на лето или еще разъезжаются, и целые дни квартира принадлежит нам временно. Я хожу с утра до ночи по комнате и коридору, захожу на кухню. На том свете так тихо потому, что всегда только что кто-то умер. Как в шуме городском ни мало нашего, но этой тишины мы не ищем.

Но счастья три раза и не ловят, удовлетворяются неуловимостью его и в первые дни.

Вот и не пей крепче «Цейлона» и запомни, что чай растет не на Тибете, а на Кавказе, и тебе это надо бы знать лучше, чем кому-нибудь другому, а так и ходи, как помешанный. Мать ушла постоять в магазинах, а я остался дома. Вот что все время повторяется, вот что мне о себе приходится сказать. И чем раньше она это делает, тем лучше. Сегодня я проснулся от оглушительного, одинокого раската грома, понимая то, что я не в Индии Купчинской, а в старом городе, что это как-то меняет дело. Круглая туча, как бы сошедшая с картины Рейсдаля, но вышитой болгарским крестом, стояла за окном над трубой. Оттуда сюда долетали капли дождя.

Прошла обнаженно-гротескная весна, белые ночи, такие холодные в этом году. Теперь уже начало августа. Все еще хожу по дому, почти не выглядываю на улицу. Значит, все есть. Да что мне-то видеть: группы туристов в старом городе, да алкоголиков, которые и по двое уже составляют группу? Меня, я надеюсь, не замечает никто.

Под тучей прогноз составлять как-то не принято, и день выглядит бедным новостями. Правильно угадать значит правильно вспомнить.

Те минуты, когда забываешь о действии беломора. Вот, что значит, что я чай выпил, а дело выдумываешь себе сам. Наши чайники я узнаю сразу. Немного жизненного пространства кухни захватываю себе. До сих пор, все это время, нам хватало индийского чая. С начала года не было почти перебоев.

И, конечно, забываешь, что куришь. Под уличным беспокойством я не нахожусь и мне доступны все домашние беспокойства.

С кем я общаюсь немного? С подобными себе психически ненормальными людьми и радуюсь, когда и они меня не замечают. Это одно позволяет по временам поддерживать культурные общения. Жить так, что было или предстоит какое-то интересное дело, одно и придает смысл прямому стоянию на ногах. Но так мало их и не может быть.

Варю вторяк. Не выбрасывать же такой хороший чай, тем более, что у этого чая вторяк крепче первой заварки. Приходится подыскивать дела самому, да еще не становиться за это известным. В уличной суматохе, каких

бы это не вызывало нареканий, я сразу же отступаю. Пока никого нет, все это принадлежит нам, точнее мне, и я спокойно могу ходить по всей квартире. И курю. Ждать абсолютно нечего, даже при этом утро проходит незаметно. Вчера попал в книжном магазине на запись на Фолкнера. Очередь в два счета вынесла меня на улицу.

Между первым и вторым чаем получил письмо от Веры. На юге холодно.

После чая первую. Жду итогов вчерашнего дня. Значит, созревают плоды сегодняшнего недеяния. Кончилась лошадиная жизнь. Ведь лошадь, всю жизнь здесь ходя, никогда не слыхала последних известий. Года два уже не видать эту лошадь. Завтра меня здесь не будет. Напоследок дом напротив, загораживающий весь вид на улицу, показался не таким уж большим. Из кухни у нас видно телевизионную башню.

Политграмоте учусь у вывесок. Задернуть занавеску, выбросить косточку от абрикоса, ходить из угла в угол, все это лучше делать у себя в комнате. Радио и газета ни о чем мне не напомнили. За несколько дней вот заметка, которая не оставила меня равнодушным.

«АРХЕОЛОГИЯ. Находка в горах

В горном районе северо-западной окраины штата Джамму и Кашмир на высоте 3.600 метров группа индийских археологов обнаружила руины древнего буддийского монастыря, относящегося к X веку нашей эры. При раскопках были найдены 12 статуй из дерева и слоновой кости».

Вспоминается свежий сон, мне снилась японская буддийская скульптура, как всегда в руку. Эта политграмота и есть чай.

Как ошибочные взгляды в ничём и находят себе поддержку, вот эти дни. Не жаль сознание потерять. Будь правы диалектики, их постулаты печатались бы на пачках чая. А так этот чай просто лежал рядом с тем, что индийским называется. Примиряющая тенденция — афористическое что-нибудь вроде: ошибки делаются чтобы правильно вспоминать. Так и мечты суммируют неправильные взгляды, и их надо переваривать, чтобы они пришли в соответствие с реальностью.

Под окнами листва кипит, как чай в чайнике. Ветер, разыгравшийся не на шутку, вымел последние облачка с неба. Уже осень. Отапливаемся газом. Вода холодна и напоминает о близких утренниках. Но сегодня день обещает быть теплым. Молодец во снах, старею, сидя в четырех стенах. Вера смотрит телевизор, я смотрю в это время сны. Мне снится, что финские толстосумы придумали способ заставлять вулканы передвигаться сами по себе и ищут вулканические горы по всей Скандинавии, чтобы привести их к себе, под Хельсинки. И действительно, во сне, в заоблачной выси тут виден уже один вулкан. Суоми, Самоа . . . Утром передают, что началось извержение Сент-Хе-

ленс. Вот такие странные превращения претерпевает действительность во снах. По телевизору такого не покажешь.

И иди. И тогда куда-нибудь, когда-нибудь ты приходишь. Чем ближе мечты к своему осуществлению, тем прочнее стирается в воспоминаниях эта разница и становится непонятным: мечты ли это реализуются или явь до того переплетается с мечтами.

Свет в прихожей, невидимый с улицы. Новый день настает. Нашумевшим слухом и живи. Остальной свет уличный. Не нервничаю и прикуриваю одну от другой. Выдался денек, когда рассвело дружно в восемь. Слышен каждый звук с железной дороги, это вдохи и выдохи города. Выпил лечебный чай и надо размяться. Если посмотреть вдоль рельсов, виден Исаакиевский собор. Вот и все, что нас с городом связывает. В остальном он заявляет о себе несмолкающим гулом. Насколько привычной и понятней звуки с железной дороги, что они целиком растворяются в городском шуме, незаметны. Пробовали ходить гулять, но и с другого края района ветка железной дороги. Ночью это впечатляюще. И получается, что мы только и живем приходом и уходом поездов, набирающих тут скорость. Сад вдоль железной дороги напоминает оципанную гроздь винограда, что само по себе напоминает миф о пьяной деревне, даосском винном рае. Но надо хоть раз поесть мяса Витебского вокзала. Уже осень, съездил в Пушкин.

Красные, желтые и зеленые кусты и деревья на дворе. Как из астрономической обсерватории разглядываю дома за железной дорогой, самые дальние, которые здесь видны. Хотя там днем и разглядеть-то почти ничего нельзя. Третьего дня выпал иней и трава так и осталась белесою. Неторопливый разговор за окном, нюхаю осенний воздух.

Как только я здесь просыпаюсь, я обретаю газовую плитку с чайниками. Заварить чай здесь не такое уж большое торжество. Пью и слушаю «Международный дневник» или проглатываю с Ленинградским выпуском последних известий. Но зная об применении его к себе, я каждую заварку воспринимаю, как особенный ритуал, вернее подбираю к ней некоторые ритуальные препятствия, выдуманные, говорю об этом заранее. Как пить нашу чистую ленинградскую воду после чая — вот ритуал.

Свет в прихожей, невидимый с улицы, все тепло сборов. Прихожая расположена в самом сердце дома, и только здесь мы договариваемся окончательно о наших делах. Я остаюсь, так уж повелось, что я весь день один дома. Безветрие. Пью чай, оставшийся с ночи. Вчера выпал снег, и детскую площадку под окнами, кустами разделенную на участки, вижу сквозь занавеску. Ловлю и не поймать отраженный белый свет на потолке и стенах. Вот когда можно походить и подумать. На зеленые деревья выпал

снег. Здесь у нас оживление на углу, как на улице. Не хочется выглядывать, потому что здесь все время таскают мимо окон детей. Сильный ветер не продержался долго и нанес с севера снега. Сегодня, слышно, начинает таять. Варю свежий индийский чай.

Теплые сырые дни. Снег сошел, не пролежав и трех дней. Еще настоящая осень. Конец октября.

Светает так медленно, что я успеваю полежать с включенной лампой. Заметил, что что-то в образе жизни неуловимо изменилось. Привык к новым условиям, которые вообще-то не раз становились для меня спасением от уличных треволений. Я очень рано засыпаю, первый год, когда не слышу Виллиса Канновера. Мама привезла книгу Никитиной о древней корейской поэзии в связи с ритуалом и мифом. Сны к концу года начинают сбываться.

Чай выварил. Это уже другой день. Солнце светит широко и привольно. Раньше люди, выходя из дома, оказывались под деревьями, голые сучья да лужи на асфальте сейчас их удел. Никуда не тянет выйти. Западный ветер колышет остатками листьев. Здесь совсем не растут сосны и ели. Да, да, люди вспомнили время года и оделись почти сразу по-зимнему. Небо безоблачно, кошки вышли посидеть на опавшей листве.

Осенью — луна. Электрическая лампа включена. Ее вид остановил меня сегодня с первых же шагов. Как — это надо знать. Луна садится и затемняет свет сотен квадратных окон, напоминая какой-то голландский пейзаж. Я такого пейзажа не помню. Значит это антивспоминание. Первое ноября. Плюс два градуса. Два фонаря и луна делают невидимым свет городской. Электричество сегодня успокаивает, всегда — тревожит. Еще нечего делать нам с луной.

Солнце взошло, но и с солнцем нам нечего делать. На рассвете прошел снег. На дорожках он сразу растаял. В воскресенье возвращались от мамы и как бы для всего уличного закрыли за собой дверь. Живем только своими проблемами. Неделию назад умер Брежнев, траур уже кончился. Лично у меня какие проблемы? Чаю выпить да покурить. Весь год проходил из угла в угол. Читал «Корейские предания и легенды», Цыбикова, Бежина, «Под знаком ветра и потока», «Дао и даосизм в Китае», заглядывал в сборники китайских новелл. Почти нечего вспомнить. Так, на ходу и прочел, пользуясь светлым промежутком дня. Теперь темнеет рано, в пять, в шесть уже и строчки не разобрать. Даже во сне снится, что я владею манерой исполнения вслух китайских стихов. К кому из старых знакомых ни обращаюсь, не нахожу понимания. Что им? Что петь скандинавские руны. Прервал почти все знакомства. Да, где-то здесь же прочел Бежина «Се Линюнь», или еще

в прошлом году, уже не помню. Маленького Го Си запомнил, потому что брал его на ВТЭК, а мне дали 2-ю группу пожизненно и больше на Васильевском раз в году не надо отмечаться. Вот, по-видимому, все, что я сделал в течение года. Еще раз в три недели хожу на укол, а так провожу свои дни в абсолютной праздности. Хочется сравнить манеру исполнения китайских стихов с тем, как, зная слова песни, догадаться о ее мелодии или, в ином плане, как по стуку пишущей машинки догадаться о содержании печатающегося текста. Или по виду освещенных окон догадываться о политических новостях, которые равно дойдут до тех кто дома и кого нет. Вот настоящий аргумент в пользу очень пристального чтения.

После сна ловлю себя на ощущении вечернего покоя, так несвойственного утренним часам, когда до рассвета обычно и не вспоминаешь, что сегодня никуда не надо, да и делать по дому почти ничего не надо, во всяком случае всю первую половину дня. Поэтому догадываешься о какой-то происшедшей перемене, хотя и не представляешь, в чем она состоит.

Сажусь писать дневник, пользуясь все тем же светлым промежутком дня или своего сознания, тут все перепутывается. У Кирюши прочел «Приговор» Кафки. Так вспомнилось, все-таки я несколько раз бывал у него. И сейчас чувствую, как с каждой строчкой становится темнее. Другие включают свет гораздо раньше меня. Помню одно — еще в этом году мне исполняется сорок лет.

Уже включают свет — три часа дня. Среди дня был момент, когда откуда-то изнутри домов засветило солнце и они приобрели вид готовых к своему раскрытию вещей, но нашла туча и стало на два часа темней. Как ни странно, повинувшись внутреннему чувству, подхожу и гляжу в западное окно. Здесь, как на перепутье, всегда оживлённо. Длинная дорожка уходит в сторону железной дороги мимо пришкольной лужайки и пути между домами здесь пересекаются. Манит вдаль, туда к домам за железной дорогой, как будто бы есть какая-то разница между теми серыми коробками и нашей, но в них чувствуется готовность к осуществлению. Тут всегда прогуливают собак. Те же дома, но в открытом пространстве, совершенно иначе смотрятся. Я еще посумерничаю, так приятно в полумраке, потом впотьмах бродить по кухне. Думать — нельзя же так этого и оставить. Канада передает, что в Албании было землетрясение, больше нечего слушать. Все становится на свои места. В «Правде» сообщение об автомобильной катастрофе в туннеле Саланг. Имеются человеческие жертвы.

Уже неделю живем на Петроградской. Мама попала в больницу с сильным ушибом ноги. Приезжала на три дня Инна, все время проводила у мамы, только утрами и вечерами мы виделись и могли наслаждаться ее обществом.

За это время произошло в Ленинграде наводнение, но мы об этом узнали на другой день из газеты. Нас оно никак не коснулось. Раз сходил к Герте Михайловне, позавчера. Поговорили о том, о сем. Я пробыл недолго.

Сегодня проснулся четверть седьмого. Пошел варить чай, пока пил, Вера поднялась, стала делать зарядку, прилег снова. Инна уже уехала, и мы вдвоем. Вера ушла на работу, и я прилег. Стало светать. День кажется ничего — небо голубоватое, но еще дует юго-западный ветер и к ночи обещают усиление ветра. Ничего не говорят — есть еще угроза наводнения или нет. Это было двухсотпятдесятое в истории города.

Сегодня еще можно ничего не предпринимать, а завтра, по-видимому, нужно будет съездить в Купчино. Наслаждаюсь полным отдыхом. Все у меня есть. Надо только за хлебом выйти. Лень. Слабое осеннее солнце.

Внезапно бросили все наше купчинское. Долго придется пожить здесь. Маме до полугода придется пользоваться костылями. Здесь лучше. Кроме того, что телефон здесь под боком и есть кое-какие соседи, гораздо лучше в смысле района. Ну ее к Богу, эту окраинную тишину, привыкну к беспрестанно снующим мимо дома машинам. Книги есть и здесь. Алексеев, Боронина, хватит надолго. Боюсь магазинов, не знаю, как буду делать все необходимые покупки. Пока же можно отдыхать, и этой возможностью я пользуюсь в полной мере.

Что видно: люди ходят, мерещатся флаги на серых домах. День пройдет — все пройдет. Никуда.

Дни идут за днями, солнце больше не показывается. Грозят кратковременным похолоданием, я уже простудился на здешних сквозняках. Твердо решил эти праздники отметить дома, никуда не высовываюсь, так здесь подхватил простуду — насморк и чих, как во время абстиненции. Болезнь заново научит лежать и сидеть, а это доходился я по коридору, под дверями. Декабрь. Скорей бы новый год и кончался этот дневник. Ведь в этом году я подсел в январе, вот и будет что сравнивать в начале будущего года. И, медленно ходя по дому и по улицам, глядясь в витрины винных магазинов, буду вспоминать восемьдесят второй год, как год, когда я бросал и пить, поддавшись на уговоры родных. Массовые посадки, по-моему, уже кончатся и так будет не похож один январь на другой. До этого еще почти месяц надо ждать. Есть еще немного дневного света. При электричестве как-то над дневником не думается. Вчера по телевизору показывали еще один фильм с Высоцким, трудно сказать, к чему бы это.

В Купчине я так и не был и никто, по-видимому, не знает, что я здесь живу, во всяком случае, никто из моих знакомых не звонит. Темнеет.

И оказывающийся едущим на автобусе где-нибудь на Марата или за Лиговкой ты — ты же. Тот же, что сейчас ходил по комнате впотьмах, не представляя себе ничего красивее колокольни Владимирской церкви, до половины скрытой деревьями, и заросших дворов прижелезнодорожного района. Большие перестройки грозят старому району, как жаль, если он станет неузнаваем. Так же жаль Малого проспекта на Васильевском острове. Я их не знаю, но есть много таких улиц, что сейчас меняются за счет новостроек и которым это не очень идет. Ходил и видел, как изменилась Карповка, когда обстроили углы. Да где сейчас спокойно с сохранением исторического облика. Об таких местах пишут особо. Наш дом не может быть перестроен заново, а неказистые домишки за Лиговкой доживают свои последние дни.

После очень пасмурного дня — голубое небо. Плывут снежные облака — снег идет мимо, не идет у нас. И наконец целый день солнце при трехградусном морозе — сегодня.

Всё встало на свои места. Стены комнаты как бы расступились от свежего морозного воздуха. С каких пор я стал таким домоседом? Кто говорит, что сегодня день не чайный? Сам заваривал «Цейлонский». Немного тяжела голова. Прилёт. Телевизор предпочитаю не включать. Немного позже послушал «Сегодня в мире». Тихо. Никакой такой яркой политической новости. И приходится себя успокаивать тем, что ты — ты же. А понял это потом как-то, вдруг. Меня взбадривает только отсутствие выхода из создающихся положений. К этому бы нужно привыкнуть. Перед концом может быть всё это и выглядит картиннее. После чая надо размяться. Я хожу, остываю, потом лежу — греюсь. Веры снова нет — она ушла на книголюбский вечер. Вести о сильном землетрясении в северном Йемене с двумя тысячами убитых. В Гиндукуше также произошло восьмибалльное землетрясение. И ничего не надо слышать больше. Все ж смотрю «Сегодня в мире». Завтра маму выписывают из больницы.

Заснеженный дом за окном. Слепые окна, как черно-белые газетные фотографии. Два раза окно принималось замерзать. Прошел солнечный день, потемнело ясное вечернее небо. В комнате тепло и накурено, а за окном западный ветер. Вообще же зима на редкость мягкая, всё еще городу угрожает наводнение.

Здесь кругом снега, как там вокруг острова. Силюсь что-то читать при затухающем свете дня. Вспоминая книги, которых мне здесь недостает, я только к трем часам в воспоминаниях добираюсь до собственных сочинений.

Настоящие сумерки начинаются около пяти. Силюсь вымыть пол еще при свете дня. Становится спокойнее и дальше всё делается спокойней. Сложилось такое положение, когда книги не нужно перевозить из дома в дом. И тут и там есть непрочитанные книги. Не буду их тут перечислять. Не надо скапливать книги, но сейчас и тут и там много книг. Кира перед отъездом успел зайти в «Науку» и купил три книги. Без статей Алексева две и я взял на другой день — «Ямато-монаготари» и «Философское учение школы Хуаянь». То всё осталось у мамы. В день, когда он уехал, водил маму на снимок. На стыке дня и электрического вечера беру в руки книгу. Здесь это Никитина о корейской мифологии. Очень медленно читается. Да и то сказать, за два месяца я только два дня здесь. Сегодня можно посумерничать. Накануне были люди из Пушкина. Настоящий чайный кутеж.

Я понимаю, что вижу перед собой день, но слишком холодно выходить даже чтобы пить пиво. Я всё жмусь к теплу, а так имею тенденцию ходить по возможности раздетым. Десять градусов февральского мороза. Нет конечно для пива холодно.

Как я люблю чай и тот экстаз спокойствия, когда ложишься и не дремлешь, а отвлекаешься сознательно от всех шумов. По-настоящему впадаешь в забытьё:

«телом подобен иссохшим ветвям,
духом подобен угасшему пеплу.
Тёмный, туманный, без чувств и без мысли
не говори с ним — ведь он настоящий».

Еще на Петроградской приснилось, что на Славе в книжном магазине продаётся Чжуан-цзы, я покупаю два экземпляра. Книжка в мягкой обложке. Заношу домой. Сегодня двадцать градусов, слишком холодно, чтобы ходить проверять. Пью чай. По радио предсказывают новое извержение вулкана Сент-Хелене. Как бы мы ни уезжали отсюда, но всё возвращаемся к одному и тому же. Сгорел Кослас. Прочел «Союз дракона и тигра» из «Возвращенной драгоценности». В начале новеллы упоминается Су Дун-по. И всю ночь разыскиваю ускользящий пивной ларек у Московского вокзала, и во сне не удается выпить пива. Тут я одеваюсь соответственной погоде и во сне и наяву. Мое пальто висит здесь, где-то на стуле болтается костюм. Значит, я здесь уже живу. Бутылка незаметно исчезает со стола. Не пью. Готовлю чай. Курю. Я мог бы и не знать, что произошло подорожание. Снегом занесло всё вокруг. Солнечные зайчики на снегу, и перед глазами плавают круги. Больно смотреть

на снег. Не раздвигаю занавески. Здесь на кухне у меня ателье. Нету места спокойнее и проще, как проста по своему устройству однокомнатная квартира.

15 февраля радио передаёт о землетрясении в Синьцзяне. Имеются раненые и разрушения. 6,5 баллов по шкале Рихтера.

Конец февраля — начало марта всё новые сообщения о подземных толчках. Лос-Анджелес, показывают, как рушатся маленькие дома. Сегодня, в пятницу 4 марта радио передает о землетрясении в Тихом океане в 150 км от Лимы. В двенадцать часов я был в пути и не слышал о землетрясении в Киргизии. Пришел, посмотрел газеты за эти дни. Умер Н. А. Козырев.

В «Книжном обозрении» пишут, что издан Джойс.

Тринадцатого марта в «Международной панораме» показывали центр по борьбе с последствиями землетрясений в городе Кавасаки. Говорят, что между десятым и пятнадцатым сентября в районе Фудзиямы будет очень сильное землетрясение.

Четырнадцатого два толчка неподалеку от Небит-Дага силой до 7 баллов. Вчера извержение Ключевского вулкана, сегодня землетрясение в Александровске-Сахалинском.

Показывают треснувший туркменский дом в программе «Время», говорят, что заморозки ночные мешают восстановительным работам. Землетрясение в 30-ти км от Небит-Дага.

Сильный ураган на Камчатке. Трехметровые сугробы и сорванные крыши. Сила ветра достигала 180 км в час.

В Купчине продают чай с нагрузкой — две банки сгущенного какао и майонез, так что две пачки тридцать шестого выходят дороже четырех рублей.

Неделю назад сильное землетрясение около Амоля в Иране. По телевизору показывают пострадавшие деревни, снятые с воздуха. Тридцать первого марта почти разрушен город Попаян в Колумбии, руины. В эту субботу — в Ленкорани.

Во вторник пятого апреля Авачинский залив. Показывали разрушенные соборы Попаяна. В среду — извержение вулкана Килауэа, раньше, кажется в воскресенье, Этна.

У нас весна очень ранняя в этом году. Снег сошел еще в марте, и сейчас дни теплые и сухие. Земля быстро просыхает. Ездили в Купчино. Солнечные дни, температура утром под десять градусов. Пил пиво, немного вина. Мылся. Переделали все дела. В Купчине жарко даже в куртке. Может быть, еще будет

похолодание. Слышны очень дальние звуки, всё настежь. Вера видела уже готовые распусться почки. Раздражение на людей, стоящих на улицах. Похоже, что в книжных магазинах ничего нету. Не могу ручаться. Еще раньше сдал пятьдесят пять бутылок из-под вина, очень устал. Осталось довольно много, сил нет. На Петроградской тоже пиво. Люди проводят время у ларьков. В рабочее время меньше стало шатающегося народа. Проезжаю полгорода. Семьдесят четвертый немного изменил свой маршрут и едет по Волковскому проспекту и по Расстанной, а Вера говорит, что это его обычный путь. Везде на пустырях прошлогодняя трава, солнце припекает. Сегодня 7-го апреля Благовещение. Не знал. Дошел бы до церкви. За день два дождика. Лекция Горегляда в Географическом обществе, первая интересная, о которой я услышал за год. Вечером сообщение о землетрясении в Таджикистане, на афганской границе, в ста пятидесяти километрах от Хорога на север, силой шесть баллов. Восьмого в «Ленинградской правде» пишут, что убили Мотес, Анну-Марию, в Никарагуа. Утром землётрясение у Сидзуоки, приостановлено железнодорожное сообщение.

В октябре, после Ташкента (4) и Курил, последовали толчки в Эрзеруме-Карсе (7), там погибли 1226 человек, а с ранеными 3.500. Затем было землетрясение в Айдахо, но о нем ничего не известно. Шаньдунское (6,9), 30 человек погибли. Люксембург, Бельгия, Нидерланды и ФРГ (пять с чем-то) и сегодня 10 ноября 83 года — в Парме (8 по 12-тибалльной).

Это было одиннадцатого ноября. Ночью я вспотел больше обычного и вскочил в три часа с единственной мыслью скорей повесить сушиться рубашку, да неплохо бы и трусы. Когда я сидел голый, в одних трусах у окна, я выглянул в окно. Белые участки панели под фонарями показались сильнее обычного белыми и бледными. Я понял, что выпал снег. Впотьмах я разглядел и побелевшую крышу и кое-где еще зеленую листву. Снег выпал ночью, шел, наверное, всё время, что я спал. Очень непривычно. Вон самый ранний прохожий в большой зимней одежде. В этом году снег впервые. Утром посмотрю. Долежит ли он до света.

Вчера перед вечером в западных окнах алел закат, несмотря на сумрачное небо. Окна казались однообразно освещенными очень сильными лампами, не прикрытыми абажурами. Тучи застилали всё небо в несколько слоёв и, видно, только на закате был разрыв в тучах, который и отражался в окнах верхних этажей на юго-западной стороне дома.

Обещали похолодание сразу на несколько градусов. Показывают Парму после землетрясения. Разрушенных дворцов не видно, но улицы завалены

битым кирпичом, пострадало много машин. О человеческих жертвах ничего не говорят.

В Турции, еще в прошлом месяце, землетрясение сопровождалось похолоданием; ветрами, дождем и снегом. Было целиком разрушено шестьдесят деревень. Там дома, небольшие, по-видимому, разрушались до основания. Низкая турецкая мечеть уцелела среди рухнувших домов. На совершенной формы куполе нет трещин. Минаретов не видно или я не обратил внимания. Пишут, что и Эрзерум, и Карс похожи на города после бомбежки.

Вот и у нас выпал снег. Люди в такую ночь спят крепче обычного. Совсем нет освещенных окон. Целые дома стоят темные без единого огня. Обычно так не бывает. Но с четырех, с полпятого уже начинают просыпаться. Из лестничного полумрака хорошо виден двор, заметный снегом, со щеточками голых кустов. Снова праздник зимы. Снова напоминает голландский пейзаж этот простой вид. После праздников прошло только три дня. Обещали, что и ветер усилится, неуютно у окна, но другого места нет. Вспоминаются цветные последние видения осени. Красный «Москвич» на желтом фоне «Икаруса» или красные огни машины, проезжающей на зеленый свет светофора. И через неопределенный интервал выглядываешь, и снова зеленый свет, и проезжающая машина с красными огоньками. Первое впечатление сильнее и точнее вызывает представление о чем-то забытом. Об железнодорожных переездах или о каких-то ярких зелено-красных и зелено-желтых картинах. Снег изменит всё. Сейчас пять, небо и верхи домов тонут во мраке, а земля светлая и легкая. Как будто сверху на дома опускается холод и сгущается над крышами. Вот почему говорят, что они укутаны тьмой и уникальны в своем неповторимом одиноком существовании. Вдумчивая походка людей, в эту рань выходящих из домов. Тут делается перерыв. Я совершенно не представляю, что в такой день делается в часы пик. Мгла начинает рассеиваться, когда зажигаются первые окна и их становится больше и больше. До рассвета еще далеко. К остановке подъезжает автобус с совсем темными окнами. Нечеловеческой силы порывы ветра. В Москве даже объявляется чрезвычайное положение в связи со снегопадом. Снег шел два дня и у нас, но сейчас снег не идет. Тринадцатое ноября, воскресенье. Снегу напало много, зима началась сразу. Какое огромное количество его выпало на город. Еще не так холодно. Три градуса. Уже и во Пскове и в Твери нашли берестяные грамоты. Говорят, что в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС открыли наскальную композицию, через всю её проходит дорога и все фигуры располагаются по ней.

Снег еще белый на дворе, а на проезжей части совсем растаял. Грязь оседает вдоль дороги. Ноль градусов. С крыши беспрерывно каплет.

Искусство Кореи. О. Н. Глухарева. М., «Искусство», 82 г., стр. 227... тридцать вторая глава, где рассказывается о сосудах для чая: «Народ Гаоли предается чаепитиям, и для этого изготавливается множество сосудов: черные чаши, украшенные золотом, и более маленькие чайные чаши «цвета зимородка», серебристые треножники «дан» для согревания воды, вдохновленные китайскими образцами. Во время приема чай, приготовленный во дворе, покрывают серебряной крышкой в форме лотоса. Напиток подается с большими церемониями. Прежде чем начинают его пить, ожидают извещения, что чай готов, при этом неизбежно некоторое его охлаждение. Если чаепитие происходит в специальной комнате, то принадлежности для чая помещают в центре стола, покрытого красной скатертью, и закрывают их сверху шелковым красным газом. Чаем угощают три раза в день и пьют его горячим. Народ Гаоли смотрит на него, как на лекарство. Чаепитие для него — удовольствие, а если отказываются от него, — они этим огорчены. Вот поэтому лучше его выпить».

Перед праздником запасены мандарины и яблоки. Такое только к празднику и может быть: и ты и вы здесь. Говорится о женщине, у которой нельзя отнять ее права умереть. Без очереди продаются песни VI Далай-ламы. Заодно и Горегляд. Несколько книг из вышедших в последнее время мы все же пропустили. Часть песен была бы мной проиллюстрирована, и кое-что о таких внутренне монгольских стихах я писал. На сборник «Песни, приятные для слуха» у нас денег хватит. «Ки-но Цураюки» мне подарят. Не пропустить бы — готовится «Бяньвень по лotosовой сутре» и «Книга об идолах».

Я начинаю эти записи еще в декабре, по привычке под праздники. Сперва день рождения, потом елка. Вырезки о землетрясениях продолжаю собирать, но прогноза на Новый год нет. Вчера говорили об Иссык-Кульской области. Пока я вырезки складываю в «Чонди монгол» — «Песнь о благодарении Чанди» — удалось достать у Киры с Эллой. А дальше куда их девать не знаю. Отмечающиеся землетрясения как вехи другого исчисления времени, жизни не по часам и не в часовых поясах. Пропустили также «Курьер» с Борободуром, должно быть, самый интересный за последние годы. Много не достается, о другом только слышу. Об Дуньхуанских документах только мечтать приходится, а наверное их не так уж трудно было достать — не в драку и все это. Вере удалось купить Восточный сборник, выпуск седьмой «Осень в горах» и она дарит его мне, еще раньше. Там стихи поэтов — учеников Ван Вэя — очень интересно. Арестовав у Кирилла еще Корейское и Монгольское искусство, это две разные книги или альбома, я оказываюсь снова окруженным востоковедной литературой. Это уже привычно, но не очень привычно

обилие иллюстрированного материала. Книжки, что я перечислил здесь, очень хорошие. А начал с мандаринов, чаев и вин. По-своему красивы приготовления к празднику. Вере приходится притаскивать мясо и консервы, оба мы приносим бутылки, и все чего-то не хватает. Как-то ночью тут, во сне, она замяукала, точно, как маленький котенок. Мне стали сниться котята и кошка и когда я уже проснулся, лежу с закрытыми глазами и не могу понять, почему это котенок мяукает так близко, а не идет ко мне. Кажется даже, что он сидит под дверью. Потом догадываюсь, что просто Вера так дышит. Не припомню, чтобы еще раз слышал что-нибудь подобное.

Гвинея. 6,3 по шкале Рихтера.

28 декабря большая статья в «Правде» о Мессинском землетрясении 1908 года. Я ее сохранию. На эту тему пишется не так уж много, но годовщина именно Мессинского землетрясения отмечается у нас не впервые. Прошло семьдесят пять лет, а люди все не забывают, как в один час погибли восемьдесят тысяч человек.

Сегодня четверг. На этой неделе я успел сходить в Эрмитаж на выставку швейцарского коллекционера. Кажется, более старой, но более яркой живописи я не видел. Картины Альтдорфера и Эль Греко, Франца Хальса и Гоббеми и Гойи и Хамена Леона, натюрморт с ярко-красной посудой, светятся, как репродукции из журнала «Америка» или еще ярче. В понедельник весь музей закрыт и пускают только художников и родственников их, на эту выставку. Обещали принести каталог. Что-то общее с выставкой Метрополитен, но ту я не успел осмотреть в отведенные час-полтора. Тут картин меньше, но и народа меньше. Я гляжу на этих людей артистического мира и что-то вижу в них непохожее на толпу обычных музейных посетителей. Но между нами не найти общего. Всего картин тридцать в одном зале на стендах. Каждая со своей подсветкой. Может быть только стремление охватить такой большой период времени, от примитивов до Шардена и Фрагонара, способно вызвать какие-то нарекания. Мне презентовали билет на выставку, и хоть я пробыл на ней недолго, но успел все посмотреть не по разу. Очень благодарен тому, кто надоумил меня сходить на выставку в понедельник.

Днями нулевая или даже плюсовая температура, капель, а по ночам завывает ветер и метет. Утром, когда понемногу начинает светать, деревья и кусты стоят опушенные свежим снегом. В это время ветер стихает, но днем он успевает сдуть весь снег. В какое одиночество погружен человек в такие ночи. Меня спасает яркое представление о местах еще более незащищенных от непогоды в сравнении с нашим, о миллионах жилищ в задернутом ночной темнотой, пеленой снега и сырого тумана городе, в каждом из которых завывание и гудение ветра на этих днях воспринимается по-особому. В такие

ночи не пойдешь проверять, плотно ли заперты окна в других твоих домах. Я сижу у радиатора парового отопления, греюсь и не могу не обращать внимания на силу ветра. Вдруг начинают дрожать рамы и балконная дверь, неплотно сидящая в своей раме. Ветер еще неслышим, лишь дыхание ровное и мощное, как кажется, распространяющееся и по комнатам, предвещает новый порыв. И тут же он начинает дуть, как бы в какой-то примитивный фাগот или другой музыкальный инструмент. Иногда эти партии продолжают подолгу, иногда какие-то обрывочные. Сквозь муть и облачность не разглядеть, конечно, луны и неба. Может быть, начинается зимний подъем воды и лед потрескается в местах, где каналы впадают в реки или залив, поднимется и подвинется. Как замороженный смотрю на щели во льду, я вспоминаю, так было, кажется, они верно выражают происходящие процессы и в этом смысле, это готовое искусство или мотив и повод для создания живописи и стихов, как будто эти трещины сами по себе произведение каллиграфии.

Приходит повестка с почты, мама из-под Москвы прислала чай, будет на Новый год в доме индийский. Ах, как хорошо.

Солнце висит невысоко над домами. Как хорошо на улице. Ветер стих, несмотря на мороз, кажется, тепло. Солнце не греет, но погода очень мягкая, люди ходят по бульвару, чтобы побыть в его лучах. Потихоньку может и чувствуется тепло. Сегодня люди в куртках не вызывают удивления. В магазине очередь, принимают товар, русскую водку по пять пятьдесят в картонных коробках. Я стою за своей бутылкой «Изабеллы». Грузчики одновременно вносят сумятицу и наводят порядок в толпе. Покупаю хлеб и газету — все рядом. Медленно идти по улице, вдыхая морозный легкий воздух, хотеть расстегнуться, вот и все удовольствие сегодняшнего дня. В «Известиях» выражаются соболезнования Ахмеду Секу Туре в связи с постигшим страну стихийным бедствием. Выходит, что из-за одного этого я и должен был купить газету. Продается масса польских и венгерских журналов, и куда-то все это расходится. Мне и в голову не придет покупать болгарский журнал. Дома тихо, а вокруг стирают, пахнет стиркой с другого этажа. Тихо пью вино, учеников Ван Вэя трудно в руки взять. Сегодня так бы пошло читать учеников Ван Вэя. Яркий свет заливаает дома на Будапештской.

Сейчас предновогодняя ночь и не спится. Выпил и выспался днем. Дожили мы наконец до 1984 года. Желудок чай не держит. Сегодня Вера получит индюшку, отдышусь маленько. Насколько мы тщательно готовимся к двадцать пятому, настолько же ничего не делается к Новому году. Даже шампанского еще нет. Придется обойтись «Искрой». Запасено мясо, но мы его еще не готовили. Нет рыбки для греческого салата. Наготове только

яблоки да консервы, да две бутылки «Агдама», Вера звонила, сказала, что купила там у себя где-то. Может быть, днем она и проектирует сделать что-то.

Так пасмурно и тихо, что нельзя и представить себе, что день начался. В праздничный день люди не спешат вставать без нужды. Только судя по остановке, можно сказать, что уже не ночь. Первое января, никуда не надо, можно спокойно и тихо сидеть дома. В домах не включают свет, по улице почти не ходят. Кажется, что еще глубокая ночь, таких ранних, как я, мало. В доме есть вино, да Вера спит, а надо спрашивать у нее, дождусь пока встанет, тогда и выпью. Сегодня и она мешать не будет. Праздновали вдвоем. Очень долго работал телевизор, почти до утра. Не знаю, когда и спал, под телевизор, что ли. Когда его выключили, я и глаз не сомкнул, полежал немного, задремал и встал — уже выспался. В тишине как-то легче дышится и яснее и трезвее думается. Тридцать первого успели получить чай. Уже восемь, а еще ночная темнота. Спешить не надо и некуда, сегодня праздник везде. Сам я отдыхаю, когда записываю.

Вечером, после программы «Время» передают предупреждение о наводнении. Все чаще стали случаться небольшие наводнения. Ветер воев между домами, продувает все щели, открывает дверь. В вентиляционной шахте он ревет, как реактивный самолет. Встают сегодня попозже, а спать ложатся пораньше. Всем этим группам по борьбе со стихийными бедствиями вообще не спать.

— Что, Вера, завтра будем на лодках плавать?

— До нас не достанет.

Действительно, от воды до Купчина далеко. Единственная здесь речка Волковка, бежит в высоких берегах, а местами и просто забрана в трубы, трудно поверить, что она может выйти из берегов. Места здесь хоть и ровные, низменные, но сухие. Сюда воде придти неоткуда. Посмотрим по телевизору, каковы будут плоды такой борьбы с наводнением. Передали, что в девять с чем-то подъем воды составил двести двенадцать сантиметров. Ветер не стихал всю ночь. Наверное наломал льда. Как-то на Неве, на заливе. Последнее время стали привыкать к подъемам воды.

В Новый год произошло сильное землетрясение в Японии. В Токио зарегистрирован подземный толчок силой семь баллов, но не говорят по какой шкале: японской, Рихтера или Меркалли. Есть человеческие жертвы и разрушения. Эпицентр находился в трехстах с лишним километрах от Токио.

Наводнение продолжалось одну ночь, но ветром сорвало крышу с одного дома, говорят, и порвало много линий контактной сети. Вода поднялась до двухсот двадцати пяти сантиметров, и большие льдины стало выбрасывать на

берега, да и вода разлилась по паркам и подвалам. В общем-то ничего особенного не произошло. «Циклон, образовавшийся над Ботническим заливом, пронесся над Карельским перешейком и северной Ладогой . . .»

Под то еще один дом сгорел на Садовой, но там было много пострадавших, двое умерли сразу, а эвакуировать пришлось сотни. Сорок шесть отделений пожарников выезжали на пожар. Больше ничего выдающегося не припомню. Теперь ветер стих и стало теплее. Дома не так холодно и можно ходить раздетым. Когда так буря прервется, как-то меньше начинаешь уставать, под ветер все тянет в сон, а сегодня, и был-то всего косяк, долго сидел ночью и чувствовал себя совсем легко, думал о том, что я прав, выбрав тысяча девятьсот семьдесят четвертый год, как счастливый для предсказания землетрясений. Чуть не проспала время, когда Вере нужно вставать на работу, и она убежала без завтрака. У нас новый год начался хорошо, теперь нужно ждать, чтобы мама приехала. Еще неизвестно, как у нее идут дела. Пью ее «Бодрость», но просыпаться на работу, конечно, нехорошо. «Ветер утих и утих» и стало много легче, раньше я этого замечал, давно, во всяком случае. Три градуса тепла — курорт. Бросили пить, деньги нужнее. Я вспоминаю одних и тех же людей и одни и те же дела и чувствую, как тревоги сменяются успокоенностью.

В пальто, перешитом из шинели, снятой с Акакия Акакиевича. Поскольку оно первые десять лет, чем дальше, тем становится привлекательнее, не придаешь никакого значения искусственности данной ситуации. Но идентификация — это когда кажущееся чем-то этим и оказывается, а при этом казавшаяся базовой и фундаментальной «реальность» оказывается фиктивной, фикцией. Апокрифическое пальто вместо канонической «Шинели». Самопознание, содержанием которого является жизнь, полная понимания и сочувствия не только и не столько к жертве преступления, сколько к преступнику. Модель хулиганского социализма или коммунизма, я не разбирался в них, поскольку это было так давно, как когда я смотрел «Пятеро с улицы Барской». Выход в свет книжки Сартра «Экзистенциализм, это коммунизм» помечен был годом пятьдесят девятым, так вот, а это происходило еще раньше. Как до сих пор я не знал афористического названия книги Арона «Опиум интеллигенции» и у меня при шмоне изъяли Евангелие, а морфин нет, в тот момент, когда Л. Аронзон кончал с собой в Ташкенте и, по-видимому, только поэтому я и был временно выпущен на свободу. А потом продержали все же в Скворечнике и в Гатчинском зверинце около полутора лет.

Как тяжело сейчас Ирке на принудке. Там нет ни свиданий, ни воскресений и не колют небось, только по праздникам, которыми являются Новый год,

Первомай, да день Седьмого ноября. Я в скольких больницах ни перебивал, но совершенно не представляю, где она, скорее всего в зоне, а в зоне — в больнице. И так десять лет! Знаете, я не передавал все оттенки того, например, когда человек не знает что-нибудь такое, что известно всем окружающим и, пожалуй, в применении к нему самому. Я не становился подражателем Чехова или польского кино. Я враг не только чешской модели, но и многих аспектов польских разновидностей этого нового движения, вот кроме этой хулиганской модели общества, в которой всегда заключается какое-то самопожертвование. Простите мне этот каламбур.

В этом году воскресенье приходится на восьмое января, ну а сегодня еще только среда пятого. Мне бы самому не запутаться в этих дневниках иных лет, чем намаркировано.

Что же, все-таки, произошло в последнее время такого, что надолго? Мне запомнилось, как вслед за двумя эзерумскими землетрясениями, первое — силой 7, второе — 5,6, турецкая община на Кипре провозгласила независимость своего государства — Республики Турции на северном Кипре. Запомнилось многое. Прежде всего я вспомнил частушку, сложенную по поводу перехода к летне-зимнему времени: Кто был ничем / тот встанет в семь, / а у кого чего есть / — тот в 5,6. Затем запомнилась статья, в которой говорится о том, что турки засаливают земли, и лимоны на плантациях становятся горькими, до того, что их, по-видимому, только в сахаре можно становится употреблять. Весь мир не знает, как относиться к независимости этого маленького стопятидесятитысячного народа и относится отрицательно, кроме, впрочем, самой Турции и Бангладеш. Как это часто бывает, что-то сталкивается с непониманием с момента своего появления. Помнится, Марко Поло пишет о том, что в его времена Иран также назывался Ираком, что же — теперь и Турции — две? Хорошо это или плохо? Еще запомнился юбилей Ивана Федорова, накотившее четырехсотлетие книгопечатания на Руси, в то время, как еще в начале XIX века Сахаров писал, что Павма Берында работал еще раньше и был не только первопечатником, но и оригинальным художником-гравером и журнал «В мире книг» поддержал году в 1974 эту точку зрения. Что это — рутина или сила традиции, официального взгляда? Если это рутина, то и такой организации, как ЮНЕСКО. Никакого закона здесь нет, а есть одни исключения из правил, становящиеся закономерностями, да так, что становится по ночам шорох звезд слышен.

Уверенность, что бляди не знакомые, должна укреплять мой дух и быть прямо моими глазами. Якобы тогда я смогу рассматривать мысленным взором проблему того, что экзистенциализм уже развился на почве дзенбуддистской философии и смыкание Сартра с маоизмом в конце жизни (жизней

обоих — и Мао, и Ж. П. Сартра) служит лишним подтверждением этого взгляда. Проблема выбора и пассивности предельной ситуации, парадоксальное и абсурдное, пустое Коку-стране. «Оросиякоку суймудан». Предисловие — основной труд о том, что думается вообще о снах, а затем и сами сны, явившиеся поводом для затянутого предисловия. Это обычный современный тип книги научной и так бы это и должно и прозвучать. Т. е., что я и воспроизвожу ту схему и произвожу ту модель этой книги, до которой мы дожили. Вся серия «Писатели и ученые Востока». Какие будут мнения? «Женщины Востока»? Хорошо. Идентификаторство мыслей Мандельштама, не орнаментальность, в восточном вкусе, а именно идентификаторством нужно назвать подмеченную особенность — суггестивность и доходящая до герметичности усложненная метафоричность. Я слишком мало читал его прозы, но сталкиваюсь с мнением, что она трудна для понимания без словаря. Вот корень и исток проблемы. Это действительная трудность, камень преткновения для правильной мысли. Также подмеченная неправильность при выборе шестого Далай-ламы показывают трезвость ума. Способность ответить ложью на дезинформацию правды. Таков ряд кардинальных вопросов, выясняется. Предельно изменчивая экзистенциальная ситуация существует в каждый момент под тем или иным видом, наряду с вопросом о смерти и последующего выбора между раем и преисподней.

У нас прямая предрасположенность к чаю — он нам дороже алкоголя становится, управляет регуляцией жизни.

И признай, насколько дороже потом обходится на выставку, в кино сходить и за это дело и отдать свой полтинник, чем даже на самую фешенебельную просто в Эрмитаже, где за вход все-таки берут рубль, бумажный или металлический, ординарный или правильный — все равно. Я так посмотрел на Галецкого в фойе «Прибоя», где мне вовсе не светит встреча с Барской или с кем-нибудь подобным, а также не мог посетить Михнова в клубе МВД. Вот и живет себе на Варшавской пианисткой для избранных по сюжету, а по канве и прописанная в огненного ангела по Брюсу, а не по Брюсову. Прямо «Танцовщица из Идзу» какая-то, а у меня таким путем пропал и Чжуан-цзе и Ле-цзы. Да вообще-то таким путем только и пропадало, если что-то пропадало бесследно, например Саят-Нова, Пу Сун-лин, Сборник памяти Бахтина, Ницше, «Вагнер в Байрейте».

Новый год прошел, уже шестое число, а в мыслях моих какая-то предновогодняя толчея, мысль рвется, возобновляется и снова рвется, пока совсем не теряется, вытесненная побуждением каким-нибудь. Я хочу сказать, что если что-то не поддается воспроизведению, то оно может быть подано идентификации. Ведь какими бы глазами я ни смотрел на то, что видел, под

это еще было подложено и первое впечатление от самого по себе города, когда мы, еще как приезжие, ходили больше, чем ездили, не доверяя своему знанию транспорта, и попадали куда-то под выходной, не могли попасть на один фильм и смотрели поэтому какой-то другой. На необходимые идентификации нам хватало и тем страннее видеть, что у людей теперь этих денег нет, а они якобы коренные ленинградцы. Например эта подруга с Варшавской, не глупая, а в том и ограниченная, в чем мне уже пришлось принять участие, и к которой я, будто бы вследствие этого, и неподходя́м. Как будто процесс периодического обновления заканчивается и человек снова становится совершенно одинок, не имеющим или не поддерживающим знакомства... Вот и живи на Варшавской, давай по карточкам. Смётрись на толпы работников на Красного Курсанта. Вижу я, как служащие валом валят от Левашовского до Зеленина, слышу своеобразие звуковой палитры города. А ходил я по этим улицам в пятьдесят втором, пятьдесят третьем годах и могу судить об изменениях характера городского шума, шарканья тысяч ног одновременного по панели, девушек, одетых, как раньше можно было себе позволить разве что на демонстрацию. Да и обо всяких переменах могу судить в этом тихом сравнительно углу города, где в часы начала и конца рабочего дня, во время пересмен, немного побольше в среднем днем, бывает народ толпами, расходящимися по магистралям и проулкам. И в другие часы я наблюдал за этим районом в гораздо более поздние годы (с шестьдесят пятого и по настоящее), когда в дни соревнований, летом, по воскресениям, на стадионы и в парки люди ехали в переполненном транспорте и им кое-где приходилось доходить пешком до Островов и людей при этом до того бывало много, что казалось, что на улицах никого не оставалось. И все эти годы, все это время бредущий одинок, какие бы толпы ни проходили по этим магистралям: Добролюбова и Максима Горького и по мостам. И в любые часы — по Петровскому проспекту и на Петровском острове, издавна, со времени еще нашего переезда в Гавань, я наблюдал и по другим часам, часам продажи и принятия спиртного и часам сладости безделья по выходным дням и в каникулярное время. И я требую для себя возможности жить уличной жизнью в то время, когда они схлынут, в будни, именно потому, что я насмотрелся с детства на большие скопления народа на железных дорогах и пристанях, в местах отдыха и развлечений, на бесчисленных остановках и на зрелищных мероприятиях, я так ценю одиночество в этих же местах, но в другое время, в будни или поздно, или рано, когда нет никого, или когда все уже внутрь собрались своим коллективом, или на так называемом юге, или особняком, когда держатся наши от иностранцев, в туристический сезон, один исповедую культ ангельского чина, бесполого одинокого существа в атмосфере, пронизанной

сексуальностью, точнее даже женской сексуальностью, городских кварталов. И вот что еще — чем проецировать наяву такие сновидения праздничности ситуаций экстремальных для одинокой личности, лучше всю жизнь, как говорится, живя ничего этого не знать.

В Тульской картинной галерее есть скульптурный портрет Н. Кончаловской 1919 года.

Все же выглядел. Альбом богатый. Натюрморт Штеренберга без даты, а так все художники, от Лентулова и до Петрова-Водкина. Было так же рано, как сегодня, еще не зажигали огней, но в домах, как и всю ночь, светилось по одному-два окна. Не нужно было вставать. Рождество пришлось на воскресенье. Решил не записывать. В этот день выбрались и мы, ездили к Кире с Эллой. Там много пластинок, перепечаток джаза: Фредди Хаббард, Колтрейн, Эллингтон, всего мы не успеваем послушать: Бейси, снова Эллингтон, другой какой-то Колтрейн, американский. Музыка играет все время, но мы можем на ней сосредоточиваться только урывками, в промежутках между разговорами, вдруг затухающими, когда напрягается слушательское внимание, и вспыхивающими спонтанно. Мы недолго пробыли в гостях и вернулись домой. Сегодня уже понедельник, девятое, рано. Вот-вот люди начнут вставать. Как рано здесь просыпаются. В пять начинают вставать, зажигаются огни, начинают выходить. Задолго до шести видны люди на остановках. Я приобрел привычку вставать очень рано, но я стараюсь не шуметь, когда пью чай или когда потом хожу по кухне с прихожей. Даже в шесть, полседьмого, я включаю радио потише. День наступает незаметно, но у меня на хватает выдержки высидеть до наступления дня, я ложусь, может быть засыпаю. Светает так медленно. Может быть к одиннадцати только светает. А так все тихо в доме. Еще, по-видимому, каникулы не кончились, хотя рано и детям. В этот ранний час никто не пользуется лифтом, поэтому так тихо.

Рождественская оттепель кончается и наступают холода. На реках и каналах взъерошенный лед, вылезавший на берега. Особенно много льдин на берегу у Петропавловской крепости, но деревья, насколько видно, уцелели. Говорили об ураганном ветре. Вот каковы последствия наводнения, двести шестьдесят третьего. Может на Островах, там деревья ломало?

За этот месяц, с пятнадцатого декабря до пятнадцатого января мы несколько раз бываем в городе. Целый концерт Веберна и вечер трубача из Западного Берлина Леона Шпирера — вот, что было перед праздниками на афишах. Вечернее предпраздничное взрослое оживление, коммерческое несколько и развлекательное сменилось детским посленовогодним, каникулярным. На улицах и в транспорте все время видишь детей. Они простаивают в очередях у музеев и каждый день, те, что поменьше, ездят куда-нибудь на

елки в сопровождении взрослых. Они держатся так серьезно и самостоятельно. Им не надо уступать место. В сами праздники я выходил только за вином, к одиннадцати, покупал бутылки по две. Теперь отдыхаю. Взяли вчера «Старки». Вместо Эллы пила Наташа маленькая, которая тут же оказалась в гостях. Элла неважно себя чувствует и совсем не пьет, Наташа — понемножку. Вера очень переживает, что мне ее придется везти до дома, как будто я мог бы ее оставить или бросить на полпути.

Мне вспоминается, что последний раз, когда мы возвращались этой дорогой, цвели вишни. Мы были изрядно навеселе и прошли несколько мимо своего дома, чтобы полюбоваться деревьями, растущими дальше по улице, под окнами наших соседей.

Этот месяц, с половины декабря, можно назвать праздничным, хотя он проходит довольно тихо в первую свою половину, зато потом каникулы не переставая дают о себе знать, даже какой-то специфической тишиной в доме, не такой, как в те дни, когда дети на занятиях. Гуляющих или куда-то направляющихся мы их видим все время на улицах. И здесь их много. Здесь останки, и вот они здесь скапливаются.

Дневник на восемьдесят четвертый год, это должен быть прямо не прогноз, а расписание, того, о чем думается, последовательно, одно за другим. Год заранее выбран для пристального наблюдения за ним и за собой в течение его. В этом году должно хватать сил и энергии и на фиксацию и на анализ, условно говоря. Всерьез этот процесс мы анализом не называем.

Мы наблюдаем нашестивие синиц на балкон. Они такие аккуратные, их как-то видишь прямо нарисованными, но они так непоседливы. Такое разноцветное и разноперое царство я видел в Московском зоопарке, но там все эти птички сидели в клетках, а мы, то есть люди, разгуливали на свободе. В Купчине же они, видно, интуитивно знают, кто где сидит в своей квартирке. В начале этого периода, еще задолго до наводнения, я заметил тут, возле детского сада, двух белобоких сорок. Это, на мой взгляд, самая загадочная и таинственная птица наших мест. Какой-то особенный воронок, с прямым разворотом крыльев, похожий на маленького соколика с гравюр Фаворского к «Слову о полку Игореве», попался мне на глаза. Но в тот день уже вороны кружили стаями над двором, что-то готовилось. Теперь я занимаюсь один и не замечаю никого, кроме голубей и чаек в небе, но к тем и другим я привык, и можно сказать, что просто не замечаю ничего вокруг себя. Мы сидим на Виндавско-Рыбинской, бывшей, железной дороге, но сейчас, в эти слабomорозные дни, оттуда ничего не доносится. Привычный рокот моторов с улицы не приковывает внимания. Голосов почти не слышать. Я включаю и выключаю радио. Не попал. Не на тему. В этом месяце мне еще пару раз необходимо

побывать в городе, там, как говорится, и посмотрим. В начале периода гораздо внимательнее слежу за событиями, да под конец внимание слабеет, да и незачем становится так следить, как-то события исчерпываются, ни о чем уже так не говорится, кроме как о новых войнах, но до нас мало что доходит из этого. Так далеко.

Я включаю свет. Сумрак, сгущающийся за окном, оказывается точно отмечен своим часом. Еще четыре. Темнеет. Свободой жить независимо от дня и ночи и независимо от человека, который рядом, я заручился. Часто встаю ночью, завариваю чай, курю, и так дожидаясь утра семи-восьми часов, когда снова можно прилечь. В тишине человек осматрительнее, не надо забывать. Похолодало. Теперь ограниченный мир нашего дома реально противостоит стихии холода. От стекол окон веет холодом, и не хочется задерживаться у окна. Спасают занавески. Мертвенный свет уличных фонарей лежит пятнами по углам двора, а середина его тонет в тени. Если бы на первом этаже детского сада не горели бы контрольные лампочки, было бы совсем темно здесь, у наших дверей. Двор напоминает план района. Четыре железнодорожные станции как бы образуют его углы, но этот участок, ограниченный со всех сторон железной дорогой, настолько велик, что я никак не могу представить его весь. Я представляю только те места, где проезжаю, или прохожу, или бываю еще почему-нибудь — Сортировочную вижу только из окон транспорта, никогда не бываю на Фарфоровском посту, на Боровой. Лучше знаю проспект Славы. Электрички, в своей защитной окраске пронесутся и исчезают стремительно. Здесь не должно бы быть никакого покоя от сигналов, но в городе сигналы не подаются, состав молча подлетает к перрону. Во всем районе много деревьев, но в большинстве это молодые посадки, к тому же сейчас они стоят голые. Между домами пропадает след поездов, пропадает бесследно. Так только поезда умеют растворяться вдаль. Кажется, если хватает этого, то и жизнь полна и в жизни довольно вот этого полного ее содержания. Но мы живем в центре района и ухитряемся не замечать рядом жизни железных дорог и этим обедняем свое восприятие. Здесь мы не раз и не два пересекаем железнодорожные пути, я не устаю восхищаться расписанием, которое так составлено, что совсем не приходится ждать на переездах. Переездов становится меньше, дорогу поднимают над транспортными магистралями, но в районе Веселого поселка в этом направлении ничего еще не сделано. Невдалеке от улицы маячат несколько железнодорожных цистерн, это придает своеобразие виду городскому. Мне особенно много приходится замечать всего, связанного с железными дорогами на моих дальних концах. Никогда не забываю осмотреть эти, по всем признакам, товарные полустанки и придорожные строения, пакгаузы и какие-то казармы

в районе Витебского. Все это окружено обветшавшими изгородями, стенами и заброшено. Сложенные из красного кирпича, эти дома прекрасно гармонируют с омытой дождем зеленью. Мы проезжаем по району осенью. Травяная насыпь и деревья сами изменяют свой цвет, красные дома так и будут стоять полуразрушенными, а желтые угловые дома в центре города, в районе Сенной, обрушиваются. А синих домов у нас не бывает. Мы путем заброшенных домов вырываемся в город и успеваем заметить кое-какие перемены. Сейчас не так, все равномерно присыпано снежком и если не черно или серо, то бело. Изредка, где-нибудь в боковой улице бросается в глаза роскошный голубой особняк, обязательно с белыми колоннами, почти дворец. Вот созерцания чего мы лишены совершенно, в наших новых районах, или кварталах коммерческой застройки. А где-нибудь неподалеку от Лиговки и Марата это еще встречается. Сидеть безвыходно дома и боишься, что пропустишь очень значительные перемены, сам будешь идентифицирован как какое-то место, ползнакомое или забытое, но поражающее, как громом, происшедшими изменениями. Я жалею обваливаемых домов на углах улиц и не перестаю думать об этом, мне кажется, что даже если их не восстанавливают, то они уже придают иной характер всему месту. Или строят новые дома по специальным проектам, это совсем уже заплаты на рубище. Но город тихонько меняется, и в этом что-то есть не совсем безынтересное. Мне кажется, что его можно будет или придется не узнавать, как человека, которого прекрасно узнаешь, но к которому не подходишь, так давно вы не встречаетесь и не разговариваете. Я неприметен. В этих переменах есть что-то и успокоительное — в старых местах ты не узнаваем, но в целом они раздражают, как говорить об этих новых пристройках, всерьез, как об архитектуре, или как о камуфляже? Кварталы доходных домов, в этом смысле, даже выглядят строже. Они более приемлемо относятся к новому строительству. Я стараюсь и запоминать то, что изменится неузнаваемо. Такого много, много на этом пути. Но далеко не все еще и начато. Может быть, что-то и уцелеет. Например, в районе гостиницы Южной. Мне кажутся очень привлекательными ничем не замечательные небольшие дома в той части города. В них совсем неприметно люди существуют. По-видимому, все это будет снесено. В других районах, на таких же улицах уже появились пятиэтажные дома из белого кирпича. Становится не отыскать, допустим даже, старый адрес. Как все меняется. И людей тех, что проходили здесь, чувствуешь, уже не встретишь. Монолитная тишь, да, как щели или полости в ее неколебимости, гудки и сирены, шипение тормозов и отрывистые сигналы водителей. Вот почему и путеводители здесь не выходят, ведь новые района такие однообразные. Но вот мы, живя здесь постоянно, к чему-то все-таки

прикрепляемся. Чтобы попасть к нам, нужно объехать все Волково кладбище, улица Будапештская начинается от задних ворот Нового Волкова кладбища и тянется далеко за метро «Купчино», но там я еще никогда не был. Здесь, у кладбища, строится больница скорой помощи, вершина здания видна над деревьями с Бухарестской. Выражение — пойма реки Волковки и Волковский канал, говорят о благоустройстве.

Томашевский. Пишут — два самолета с помощью отправлены в Конакри, в Гвинею. Вообще в эти дни встречаются странные заметки, например, что в Ливорно пытаются поднять со дна канала скульптуры Модильяни, которые он сам туда сбросил. Вот, примерно, скорость, с которой поступают новые известия. Еще пишут, что одна фирма выпускает репродукции «Тайной вечери» да Винчи в натуральную величину. В начале года не очень много новостей, обсуждаются прежние. Ливан, Ангола, визит Чжао Цзяяна в Штаты. У нас об этом не говорят, но в Аргентине находят все новые тайные захоронения лиц, не поддающихся идентификации. В Софии погиб авиалайнер Ту-134 с сорока девятью пассажирами и членами экипажа. Новости обычные, передается что и всегда. Похолодание установилось только на пару дней, под самый конец каникул, а сегодня к вечеру опять обещают потепление, будет не десять, а три градуса мороза. Послезавтра, в пятницу, мне предстоит поездка за пенсией, справлюсь как-нибудь.

Министра мясной и молочной промышленности Антонова заменили на Сиденко. Вот какую новость я извлек из радиопередачи.

В день, когда Вера задерживается на весь вечер, время течет не так, как в обычные дни. Вот тут свой чай и пей. Дальний угол двора не загорожен, и в просвет между домами виден школьный двор, где сохранились старые деревья. Со дня приезда сюда, еще пятнадцать лет назад, было ясно, что это направление самое красивое. Взрослые деревья курчавятся. За сквозящими деревьями четырехэтажное здание школы, отделанное голубой кафельной плиткой, так навсегда и останется рисунком и архитектурным проектом, так все это место кажется нарисованным на бумаге. Деревья протянулись подобием аллеи по лугу, школу окружает луг.

Так бывает, когда мороз отпустит — можно вставать и, стараясь не шуметь, шагать по квартире раздетым. Тело чувствует колебания уличной температуры через всю искусственность комнатной атмосферы. Вечерний озноб кончился, ночью согрелся. Смотрю уже вторую передачу «Прогулка по Москве». Показывают Новодевичий монастырь и местность у Девичьего поля. Это так интересно, интереснее альбома об монастыре. А недавно была передача о Таганке и Заяузье — много старой архитектуры. Передачи короткие, поздние. Вот и вставай и отстаивай свои строчки. Я завариваю чай на

утро, но сам пью его сейчас, в три часа ночи. Вода, сперва белая, как молоко, постепенно отстаивается, становится прозрачной. С этим явлением я познакомился давно, в детстве. Меня познакомил с ним отец. Он налил прозрачный кувшин такой туманной водой и сказал, что воду хлорируют и надо давать ей отстаиваться. Может быть, это было еще в Германии? Скорее здесь где-то.

В новых районах тут и там встречаются автостоянки. Вот, может быть, кто-нибудь из сторожей на автостоянках пьет со мной одновременно, а так никто не встанет, конечно, в два, в три, чтобы напиться. Чай густой, негорький, индийский. Очень крепкий, с настойчивым запахом. Выпить чашку и закурить, вот самое большое удовольствие, которое можно позволить себе ночью. Не бережем электроэнергию. Мы много в чем не экономим. Обогнали англичан по количеству выпиваемых чашек. Кирюша дал почитать Восточный альманах, десятый выпуск. В нем «Непрощеная повесть» Нидзё. Я только успел заглянуть, говорит — интереснее «Записок у изголовья». А вот попив его, можно подумать и о том, чтобы прилечь. Ведь не трястись же вместе с холодильником, обнаруживая у себя все новые симптомы простуды. Хочется подвигаться и согреться, но не возле Веры. Кроме шороха шагов ничего не слышно. Мерещатся какие-то пространства, проходимые мной по одному месту. Что, если б целый день пришлось шагать от Ленина до Зеленина, не сдвигаясь с места. Это еще от расхodka. Я ошущаю себя в другом месте, чем то, в котором я нахожусь, где-то на Глухой Зелениной, среди заводов. Вот где одиночество нам гарантируется. Мысленно я попадаю под разъезд. Работницы переполняют трамваи, на углах скапливается народ, да и на улицах много прохожих. Наполняются магазины. Час, когда обилие людей так же неспособно помешать переживать чувство одиночества. В эти часы, утром и вечером, среди мимолетных реплик и разговоров, я стараюсь и не бывать. Как-то ото всего этого становишься без вина пьян, моложе и взрослее одновременно. И ни с кем не можешь познакомиться.

На снежной тропинке талая вода, в лужице красиво лежат балластные камни. Делают попытку засыпать эту ямку. Озерцо стоит, лужица и все ясно — ноль градусов. Здесь не считаются с газонами, дорожка проложена прямо наискосок. Если бы только зимой так — но и летом ее протоптали намертво. Я догадываюсь, что здесь проходит тепловая магистраль. Пойма реки Волковки это там, где деревья расступаются в перспективе, создавая и на кладбище своеобразные просеки, как линии на скалах в Перу. Затиснутая между шоссе и железнодорожной насыпью, речка тут делает изгиб и уходит под шоссе. На этом месте построен Белградский мост. По-видимому, вот здесь она перестает быть каналом. Я вижу, что можно пейзаж написать, так картинно раздались деревья вдоль по ее течению. Здесь не хватает хорошей

охоты. А свободные участки загораживаются. Я читал, что милиция тут строит для себя ипподром или школу верховой езды. Поить своих коней им из Волковки не придется. Что-то будет с новым кладбищем? Дух Тургенева витает над естественными перелесками Камчатской улицы. Как свечечка, руками укрытая от ветра, церковь. Заброшенность старого кладбища, и так до самой до Растанной с ее музейным безлюдьем. А бывшая церковь, без главы, как храм погибшей цивилизации миражирует за деревьями. Храм был большой. Вот зеленый заповедник пока стоит, а нам уже пишут о других речках, больших и малых, на других концах города. Начинаясь где-то под Шушарами, наша речка пробивает себе путь, теперь уже в пределах города и вливается в Обводный канал. На месте их слияния я что-то никогда не был. Надо спросить у Веры. Тихая у выезда из Волковой деревни, она совсем не похожа на себя. У города есть резерв. Как он поступит с этой территорией между Волковкой и Обводным?

Опять дует ветер. С пьяных глаз я этого не замечаю сначала. На Финском волны опять под два метра. Где-то вдаль слышно непрерывное гудение, а у нас ветер налетает порывами.

Я, вспоминая, ходил выше по течению, там у станции метро есть место, где речка разливается по лужайкам, затапливает деревья, но и там у нее есть речной напор и какое-то подобие русла, поросшего камышом не очень чахлым. Но сам ли это исток, и откуда она там берется, я не знаю. Там, где она становится шире и глубже, на кладбищах, мы имеем естественно-исторический музей-заповедник в духе Федорова — «Философии общего дела». О да, это не каток в городской черте. Над кладбищенскими зарослями сгущается не электрический туман на закате. И в соединении с этой обильной по руслу реки растительностью, своеобразно подчеркивающей неровности рельефа местности, закаты производят неповторимое впечатление. А в остальном своем течении она неотделима от железнодорожного мира и местами напоминает какой-о подсобный канал или даже большую канаву, правда, в этих местах уже забранную в железобетонные берега. Паровозный дым над Волковкой так же естествен, как розовеющая сумрачная мгла над кладбищами. Как мы оказались связанными с этим местом, просто поразительно. Это судьба. Надо больше бы читать Федорова об этом. Как-то ускользает от внимания, что в общем-то все это уже кем-то и когда-то говорилось. Это рассказ о другом годе, вот в основе его и лежат другие события, а антураж, весь жизненный фон переходит из предыдущих лет. Но на самом деле повторений недостаточно и повтор выдуман уже, как искусственный прием. И потом, какие-то вещи нельзя не повторять, а описание все же развивается и в чем-то совершенствуется. И не пытаться воспроизвести эту картину поймы, как я ее вижу, я не мог

бы. Я повторяю, что я ее действительно не знаю, а только вижу, да и то с колес большей частью. Мне кажется, что речка заходит куда-нибудь на запретную территорию, но я сам слышал, как говорилось о строительстве, кажется, жилищном, в пойме Волковки, а это где-то здесь, она ведь совсем небольшая, но где же здесь строить? Ипподром что ли они имеют в виду?

С утра был туман и метель. Вера говорит, что не хотела выходить у своих из дома.

Воскресенье пятнадцатое. В ночь на понедельник началась оттепель, слышно как капает с крыши. Мы подражаем тем, у кого запруды прямо в крови и во плоти. Я имею в виду эту дамбу через Финский залив. Но мы совсем не голландцы и у нас от тихих деревенских уголков, в каждом из которых было что-то свое особенное в смысле ландшафта и местоположения, пригородных — ничего не остается. На всех этих местах вырастают огромные серые районы, одинаковые на вид и которые никак нельзя представить у голландского живописца. Когда мы переехали жить сюда, еще капустные поля простирались между кладбищами и новой застройкой, был и совхоз. Теперь дома подходят почти вплотную к кладбищу и деревянные постройки снесли. Во многом этих мест уже не узнать. В особенности изменились маршруты. Новые улицы. Мы можем теперь двояким способом ездить хоть в Веселый пос<елок>. Получается, что мы только немножко земли под ногами и видим в садике или на пустырях, сохранившихся еще вдоль дорог, а так только на небе удастся наблюдать что-то картинное, а у нас все от погоды и часто посмотреть не на что. Вот я побывал на днях и на Петроградской, а внимание привлекли только наши пустыри и замерзший разлив Волковки. Я совсем не бываю в книжных магазинах, даже здесь, сравнительно недалеко от дома, не говоря уже о более дальних «Старых книгах» или «Академиях». Ничего, кроме того, что узнаю от Киры и Эллы, не знаю о выходе новых книг. Мне и на Невском-то, где есть ларек, делать нечего, выбирать раз в год по обещанию. Раньше я чаще бывал на Литейном, но я привык жить не зная об этом. Просто скорей трудно совсем новых книг не видеть, чем обходиться без них. Совсем не бываю и в промтоварных, ничего не знаю, что где продается и почему, слышу что только если от Веры или по радио. Информация неполная, Вера сама нигде не бывает, и неживая какая-то по радио. Никаких рекламных приложений мы не получаем, даже «Книжное обозрение» второй год не получаем. Только Кира и Элла что-то показывают. Вдруг обнаруживаем, что что-то пропустили, это неприятно и как-то так действует. Дунхуанские документы еще может быть попадутся, но я ничего не знаю и о планах издательств. Обещания, что печатаются в «Памятниках письменности Востока», так неточны. Пока новостей нет,

кажется купили «Лес начертаний», перевод с тангутского. Я не видел. Теперь сижу дома и слушаю ночную капель, ночной холодильник. Совсем не могу спать. Лежать лежу, а уснуть никак не удается. Ну и в сердцах встаешь, начинаешь пить чай, курить, ходить или записывать, что на ум придет. Так ночи проходят. А днем, если все же утром усну, по привычке просыпаюсь в одиннадцать и дальше ближайшего винного и не хожу, и не дерзаю. Изредка, когда тут ничего нет, приходится пройтись куда-нибудь подальше, и это уже чуть ли не целое приключение.

Долго нет мамы, начинаем скучать и беспокоиться, но оснований нет, слава богу. Хоть бы письмо от нее получить. Чай кончился. Хорошо пожили. Посидели на азербайджане перед Новым годом, но зато пятнадцать дней потом горя и забот не знали. Может быть, Мише удастся что-нибудь достать. У Киры с чаем тоже плохо. Подарили что-то на праздники, но этого хватило не надолго. Тихо, очень тихо и спокойно. К нам никто не приходит. Накануне старого Нового года позвонила из Новосибирска Танечка, долго разговаривали, она почему-то была проинформирована, что я умер. Но это не так. Я не ожидал звонка. Больше всего она поздравляла меня и рассказывала о сыне, которому уже одиннадцать лет.

Слушаю Эллингтона, смотрю передачу про Веллингтон. По всей стране нетрудно проверить, кто чем занят. В «Известиях», в статье, отрывок из «1984». Надо вырезать. Уже с неделю нет новостей от сейсмологов. Сегодня, говорят, умер майор Хаддад и его место займет какой-то Халиль, кажется. Я об этом очень мало знаю и понимаю. Неделя прошла совсем спокойно, без потрясений. Мы уже запели было хвалу или «песнь о благодарении». Завтра надо выйти в магазин, пожалуй, надо лечь. Придумал, что забыл, и очень жалко, спросить у Галецкого, что значит по-французски — ФЬЕ* — из Монгольфе. Никто, как он, не ответит. Утром говорят, что рухнула дамба золотоотстойника на Дальневосточном проспекте и маршруты изменяют на ходу. Связь Веселого поселка с Малой Охтой.

Как разноцветные камешки все эти соринки, что мы выбираем из риса. Рис и чай, и наша действительность становится такой же дальневосточной. В другом месте, на буфете, я наливаю себе чифир. Я не знаю, что значит рис необрушенный. Может быть, эта грязь — это рис в шелухе? Некоторые зерна, просяные, напоминают коноплю, но они гораздо мельче. Все это вместе, это обточенные морем полудрагоценности, такие разнообразные и неповторимые. Почему-то слабый чай, в котором видна тень на дне пиалы, а не чифир, ассоциируется с Востоком. Оля говорит, что мама уже стала забывать про

* Фьюнерал — похороны.

палку и ходит так. Мечтаю ночью о ее готовке. Приедет, сварит борщ или щи, а сами мы не умеем. Что-то часто тошнит, перекуриваю, перепиваю. Раньше как-то реже это случалось. Вера нашла под лифтом перстенок и повесила объявление. Я говорю, давай пропьем или носи сама. Посмотрим, откликнется ли кто? Перстень так себе — серебряный с зеленым камушком, но аккуратный. Но она не может присвоить себе чужого, спросила у А. А., назвав его Александром Алексеевичем. Он, конечно, не знает ничего, а М. Л. дома нет. Маленький такой, едва ей на палец налезит. Ей не нравится, дешевый. Крещенские морозы так и не начались, хотя говорили, что будет ночью и пятнадцать и двадцать, но ничего подобного. Я не спал. А днем на улице было так тепло, что, наверное, можно без шапки ходить. В Крещение буду один — у Веры опять лекция — о Брюсове. Пусть послушает. Кто был обделен этим в детстве — полезно и интересно. Сдал посуды на червонец, взял Балтийского. Этот аперитив еще ничего. Хватит денег и на завтра. Оказывается, завтра крещенский сочельник.

Сегодня не слышал даже последних новостей, в газете ничего нового, и по себе не могу сказать, случилось ли что. Аперитив-то в общем хороший. Дома все спокойно, ни звонков, ни писем нет. Как-то дожидаться одиннадцати и придется поискать вино подешевле, нужно кое-что еще купить. Снова испытываю какое-то подобие удовлетворения жизнью. Пока все хорошо. Я вспоминаю, что и раньше у меня на руках случались свободные копейки и я мог покупать что угодно, хоть репродукции, и потом их раздаривать. Но бывали и такие дни, что за грош продавалось все, от тувлей или бушлатика до японского издания Сессю. Книг и не перечечь, сколько я продавал. И у меня появилась какая-то новая осторожность, так я проходил мимо и не брал, хотя мог, книгу с репродукциями Вёльса, которая мне была бы нужна и сейчас, лишь бы потом не пропивать. Раз на Сенной, я ехал в метро, в вагон вошел человек с книгой, только что купленной, по-видимому, «Землетрясения, тайфуны, цунами» Болга, и, хотя у меня был трюльник, я не пересел и не вышел, и не купил. Я заглянул, когда он ее открыл, но там сразу же пошли какие-то диаграммы, может быть, это специальное издание. Супер черно-белый, ташистский. Не могу не пожалеть об этом. А так-то, конечно, я массу соблазнительных вещей перевидал, но как-то нет у меня стремления все заполучить. Давно прошло или и не было никогда. До одиннадцати не досидеть, сейчас ночь, пятый час. Придется ставить на то, что инстинктивно проснусь вовремя. Куда пойти, магазины так разбросаны, важно угадать, где будут давать бормоту. Сам-то думал взять на эти дни три фунфюра, да купил шоколадку, как Вера просила, по рубль восемьдесят, а вина второй день нет, на Бухарестскую сходить поленился, и вот выходит, что еще и сэкономил,

беря тут подороже. Значит, если будет Агдам, хватит и на чай, и на беломор. Да, так вот раз тут в Купчине, я набрел на немецкий атлас мира, за семь с полтиной, я взял глянул, но немецкие географические названия до того путаные и сложные, что охота брать его прошла сама собой. Неужели что-нибудь в этом роде мне может быть вменено. Издан-то он, конечно, получше наших, карты качественные, но ведь в этих их названиях черт ногу сломит. Христос спаси от такой идентификации, ведь эти холуи могут зацепиться за то, что я был в Германии и чего-нибудь должен сознавать в связи с этим. Меня не купишь.

Встретил котика, в точности как на картине у Герты Михайловны. Треть морды рыжая, остальное — черное и два ярко-зеленых глаза. На теле есть и белые пятна. Шерсть лоснится, и весь он очень раскормленный, сидит рядом с голубями, и они друг на друга не обращают ни малейшего внимания. Но у Герты Михайловны эта животина миниатюрная и написана матовым маслом, а этот будет покрупнее. Фосфоресцирующие глаза, и хочется его прямо украсть. Много кошек выпускают сегодня погулять. Тепло, а они далеко от своих дверей не отходят, сидят на снежку. Продается ром кубинский по четыре двадцать полбанки, но я беру портвейна по два семьдесят. Как и предполагал — хватает на все, кроме сушек. Вот на сушки у меня почему-то никогда не хватает. Включаю магнитофон наудачу, поет Отис Раш. Как давно я не слышал этого блюза — «Вся твоя любовь». Слушаю всю кассету, доколе можно. Тут, на другой стороне, и Джанис с Фул Тилт Буги. Слушаю английские новости: похищение, убийство, самолет сел в Карачи — взрыв, никто не пострадал. День напряженный. Уже не секрет, что Перу и Эквадор вновь начинают военные действия в Кондор-Кордильерах. К вечеру что-нибудь случится еще.

Нашлась хозяйка перстня.

Двадцатого января в десять часов двадцать четыре минуты произошло землетрясение в Румынии. У нас сила его была четыре с половиной балла в районах южной Молдавии, а в Кишиневе — четыре. Жертв и разрушений нет. После полумесячного перерыва это первое сообщение о подземных толчках. Вообще там они бывают и катастрофические, как бухарестское.

Похолодало не сильно, но люди замерзают. Понадобится несколько морозных дней, чтобы привыкли. К счастью, ветер утих. «Известия» снова интересно читать. Сообщается, что одна американская газета писала, что атомоход «Ленин» продали на металлолом Южной Корее. Было это в семьдесят девятом году. Вышла книга переводов с пушту стихов одного поэта, афганского или пакистанского, Михаила Еремина. Ее продают только по заказу. Достали и чая, говорят, более дорогого, как в Англии. Не отражать

мне свойственно так же, как видеть сны и потом их помнить. «Знать» — по-моему значит что-то другое, чем по принятому значению. Давать всплыть воспоминанию во всю ширь, до содрогания. Не в спекуляциях на почве этого дело. Я признаю автономию подсознательной деятельности. Такое же чувство испытываешь, когда видишь и понимаешь, что что-то из кажущейся обыденной жизни оказывается внедренным в твое сознание. А без этого живешь как бы без оглядки, и вот на этом себя ловя, испытываешь то же. В этом и сам смысл жизни растворяется. Сознание разумности и неразумности, заложенных в основе сложных ситуаций и их уразумения, вот что это такое. Происходит, кажется, вне меня, но это со мной, и только, связано. Этим трудно поделиться. Все немного знакомы друг с другом, как признак зрелого возраста. Знаю, но мало, но и совсем не знать не могу. Раз, да другой и что-то откладывается навсегда. Как бы я ни замкнут был, но какое-то подобие общения я поддерживаю бессознательно почти всегда. За пределами этого область уже нирванического покоя и безличности, то, что существует уже не сжимаясь и не расширяясь, третья форма жизнедеятельности. А вот в чем сущность поэтической переводческой деятельности — не могу сказать, да это и не моя обязанность пока, кажется. Все в сравнении и приходится подбирать для сравнения параллели к тому, к этому. Все полно этим, и медленно и без сомнения это доходит до моего сознания. А еще есть ночь, чай, курение в процессе работы. По слову о каждом из этих компонентов — и мы имеем дневник, точнее уже ночник, какой-то настой всяких мелких дел, которых и замечать-то не стоит. Но иногда фиксировать и их подряд необходимо для уяснения себе того, что все, что мы ощущаем личным своим или нам принадлежащим, и то, что, являясь самостоятельными вещами, входит во взаимодействие с нами, создано по одному образу и подобию, как бывают ткани разные по качеству и расцветке, но в сущности являются просто тканью. А самой по себе идеей о сотканности мира всего не увлекаться. Хоть и злишься, бывает, но не вынашиваешь в себе другого человека. Есть будничность и в субботних и в воскресных делах, нескончаемая повторяемость одного и того же. Находясь в области психологии, оказываешься в области фонетики.

Жена сидит напротив и делает лечебную ванну для ног и одновременно читает, потом отвлекается — необходимо ухаживать на ногами. Возможно, ей лучше бы здесь меня не видеть, но я занят интересным наблюдением за ней. Мы обмениваемся привычными репликами, но большую часть времени проводим молча, не мешая друг другу, и каждый занят своим делом. Я сегодня подумал, что диалог мог бы состоять и из совершенно несравнимых по объему частей, например: один говорит одно слово, другой ему в ответ две тысячи

слов. Мне пришло в голову, что это нечто о формотворчестве и вспомнился один мой совсем старый натюрморт, где на веснушчатом фоне красном и рыжем в крапинку были изображены два бумажных пакетика с сахарным песком, с остатками, точнее, сахарного песка. Не могу понять, куда он девался. Он был на картоне написан маслом, которое я тогда разводил до консистенции лаков, и, нанося на грунт, снимал бритвой краску, оставляя только яркие пятнышки. Мне казалось, что он был прост и неплох. Потом мне знакомые однажды принесли с улицы дощечку, кусок фанеры, весь испещренный следами каких-то красок, почти повторяющую гамму моего натюрморта. Но на ней я ничего не нарисовал. Со временем и она исчезла. Скорее всего, что и ее приняли за мою продукцию. Много только позже я увидел дом с вкраплениями красного кирпича в качестве декоративного рисунка, который я должен был сравнить с отбросами, с выплеснутыми в унитаз чайниками, а я старался подобрать какое-то другое сравнение. Как перечисления мест изготовления разных пищевых продуктов в надписях на консервах или на упаковке, могут быть интересны и эти, с позволения сказать, воспоминания. Как что-то говорил — бесконечная их длина уже является литературным приемом. Но как же быть, если второго лица в них вообще нет, и диалог происходит если, то как бы между разными половинами меня? Так же и со сходством — вещи, схожие между собой, схожи внешне и внутренне. Я кладу книгу на табурет, а они одинакового цвета, и за счет этого они кажутся и из одного материала сделанными. Я думаю, эти восточные сборники, это «Солнце в зените», выпуск десятый, это настоящая табуретка для сидения, так же примитивно сколочен. Это, наверно, вообще можно сказать об их характере. Или, например: кофейная чашечка и блюдец одного цвета со сборником китайских новелл. Я кофе не пью и вижу сервиз редко, использую не по назначению — храню в ней мед. И китайский сборник с глянцевой, темно-глиняного цвета, глянцевой обложкой, достойно сравним и с кофе, и с медом. Какой-то человек бродит у нашей остановки перед магазином в пятом часу ночи. Видно, что тихо и холодно. А жизнь в домах, как бы разделенная на мужскую и женскую половины, тут как бы вся оказывается сосредоточена на женской половине — весь город спит, только я да еще считанные люди в нашем дворе и на всем обозримом пространстве, которое охватывает не один, а несколько дворов по обе стороны улицы наш взгляд, только считанные окна освещены в нашем углу двора. Пусть говорят обо мне, что я художник чая и его принадлежностей, живописавший в тревожный век успокоение чайных обрядов и церемоний, любящий только предметы, имеющие отношение к чаю, хотя бы и не прямое, как алкоголь и фрукты, книги и курево, и про себя добавляющий еще иконы ко всему этому. И вот сюда

вводящий еще что-то, в свой натюрморт, что-то, гармонично сочетающееся с чайной утварью — огонь или хлеб, или, наконец, облака, озаренные не вечерним светом за окном, всему этому старающийся придать простую, но граничащую с хитростью, крепкую конструкцию хорошо поставленного натюрморта. И в жизни старающийся усматривать красоту явственных взаимоотношений вещей, законы красоты приравнивающий к всеобъемлющим понятиям, с бесконечным количеством значений. Художник семиташистский по методу, в смысле — полуташистский, дитя или продукт эпохи знаковых систем.

Это было в то время, когда, случайно зайдя в магазин, можно было купить и масляную красную краску, и сборник стихов Саят-Новы в малой серии «Библиотеки поэта». Я поздно возвращался домой и, положив рюкзак с этими предметами под сидение автобуса, потому что он был пуст совсем, задремал от усталости, которую я испытывал, и, задремав, сошел на своей дальней гаванской остановке, забыв все это там. А я только успел где-то заглянуть в сборник. Мне показалось, что перевод очень качественный, прямо по-праздничному хороший, и мне было потом жаль этой пропажи и не хватало чего-то в связи с этим постоянно, как не хватило тогда красной краски для работы, не помню какой; пока я не посмотрел в кино «Цвет граната» и не понял, что в подобных приключениях граничат книга и кино и им названия-то не подобрать. Если это называется быть обокраденным, то я и был обокраден. При этом рюкзак с книжкой и тюбиком стоили какие-то копейки, но ущерб состоял не в стоимости их, а в другом. Мне кажется, что я раньше бы обратил внимание на искусство Кавказа и гораздо лучше бы знал, скажем, легенды о Пиросманишвили и мог более целенаправленно расспрашивать своего отца. Он говорил мне сам то, что считал нужным из своих воспоминаний о кавказской жизни, и о том, что выставку Пиросманишвили он видел еще в Москве, т. е. он сообщил мне какое-то отношение к этому лично, но я был приговорен знать об этом заочно. Я помню, как один человек смотрел толстый новый том «Грузинского искусства» в старой книге, в Академкниге, и было его не перекупить. Он стоит, что-то, пять рублей. И получалось, что мне предстоит узнавать об жизни этих людей из кино и книг со значительным запозданием. Фильм об Нико Пиросманишвили я посмотрел сидя в сумасшедшем доме, а выставку его и вообще впервые его живую живопись, уже по освобождению. А так я знал только, что не обладаю таким точным глазомером в выборе формата и размера своих натюрмортов, принципиально по-другому выбираю.

23 января 1984 года. Мы живем в таком мире, где помимо непрерывной встряски и ее последствий, мук, имеем, почему-то, еще разговоры о живописи, как особый предмет. Даже «Известия» сегодня напечатали статью о покраже

из Будапештского музея шести холстов Рафаэля, Тьеполо и Тинторетто итальянской мафией. Независимо от этого кажется, что уже есть искусствоведы, следящие за судьбой похищенных и исчезнувших произведений (если им о ней что-нибудь известно, то это их самих заставляет подозревать в причастности к похищению), и недостает только описания приключений, переживаемых шедеврами, как самостоятельного жанра. Это с утра так представляется. Но вот красть произведения в зародыше что-то особенное и отличное от разговоров об искусстве.

Сегодня в девять утра по московскому времени, в тридцати километрах от Пржевальска, на границе с Киргизией произошло землетрясение. Ну и, как обычно: по предварительным данным жертв . . . и т. д. Вот образец оперативной информации сегодняшнего дня, а в остальном мы имеем дело с мыслями и новостями вчерашними, о которых только сегодня что-то сообщается по телевидению. Говорят еще о циклоне на Сахалине и показывают город, весь заваленный снегом. Также показывают испаряющиеся на сильном морозе реки в Соединенных Штатах, говорят о сорокаградусных морозах. Крещенские морозы.

Чайник закипает и некоторое время шумит пар, пока не выключают газ. Простой трехсотый чай распускается как будто необычайным букетом с вкусом и ароматом, затмевающим все. Ночь. Сегодня я погружаюсь в забытие, соответствующее состоянию сна без сновидения, и так провожу все то время дня, когда идут телевизионные передачи, более-менее сносные. Они повторяются на неделе. И вот состояние сна без сновидений устанавливается в одной сфере, а состояние забытия — в другой. А на другой руке негативизм всеотрицания, отталкивающихся выходы, каких-то крайне своеобразных привычек. Это сердцевина мудрости, пустота. А судить обо всем остальном надо по полутону, по тону и по полутону, по оттенкам.

В то время я еще не мог быть знан по городу за красный Псков, и мне пришлось добраться до Ташкента, чтобы немного разобратсья в правовой стороне этого дела. Там с нами поступили по-каракалпакски. Мы добирались до студеной горной струи, чтобы немного придти в себя после ленинградской пьянки, а нас посадили к плану в спецприемник и мы вышли оттуда перерожденными. У нас были с собой книги, которые привязывали нас к родным краям, а нам нужно было сидеть в подвале с загородкой и ждать дня отправки на север. У нас был альбом Феофана Грека и книга по священной истории, о первых христианских подвижниках в Святой земле. Так тогда были раздвоены наши помыслы и мы не представляли себе, что один грек прошел перед нами этим путем задолго и навсегда. Зато я ясно сознавал, что мы там попали в период полного спокойствия. До уничтожительного ташкент-

ского землетрясения оставалось года три или четыре. И я помню, что мы на все, окружающее нас, могли смотреть прямо. Несмотря на ранний месяц, март, уже днем хорошо припекало и, по-нашему, мы могли раздетыми быть по-летнему, а ночами дышалось свободней под синим небом или не спалось на нарах. Вот какие есть законы в Узбекистане, позволяющие приезжего упрятать в спецприемник. Такой профилактикой жизни там, должно быть, занимаются и сейчас. Я думаю, что вся эта эпопея с планом не слишком дорогая цена за номер Туркестанских ведомостей, который мне попался позже. Настолько интереснее он по содержанию современной газеты. Теперь, когда говорят или передают телевизионную передачу о Ташкенте и я вижу, что там ничего старого и не сохранилось, и все заменяют современные здания с обилием, как кажется, стекла, я вижу, что мне в новом Ташкенте не бывать, так все изменилось. И мы должны понять, насколько более живучи привычки у людей, поскольку только они сохранили и пронесли дух, связующий несоединимое, и не перестали быть такими, какие они и есть, соединением Востока с Западом, на деле, в человеке.

Особенно поблуждать по городу не удалось, но мы побывали в картинной галерее и музее современного народного искусства. Сходили в русский храм, где обилие прихожан было необычайное. Побывали на городском базаре, где все продавалось, все осенние плоды, фрукты, виноград; на барахолке на окраине мы уже продавали с себя шмутки и передевались в ватники и переобувались в сапоги для поездки в горы. Кому-то я продал свитер, хотя он бы мне не помешал, пожалуй, а вот со своей меховой шубой я так и не расстался там. И вот все эти переходы по городу, особенно долгий путь в церковь и на барахолку за город почти, потом прогулки по дороге к дому, в котором мы обитали, а главное, конечно, трехдневная поездка в горы через Чирчик в Бричмуллу, созерцание гор по дороге оттуда, когда мы шли долго пешком по шоссе, ночью, и вечером, и утром. Я составил себе какое-то представление об этом крае, хотя чего-то непохожего на перечисленное выше не увидел совсем. Юра был любопытнее меня и совершил вылазку из приемника и говорит, что повидал район совсем не похожий на то, что нам довелось повидать вместе. И путь из приемника на вокзал, когда нас выпустили с билетами до Куйбышева, а мы еще думали, не продать ли их и не махнуть ли в Чаткальский хребет, где, говорили, можно было просуществовать, собирая грибы. Интересно знать, как бы нам это удалось, путь вдоль глубочайшей песчаной канавы, на противоположном берегу которой уже цвели деревья персиковые или абрикосовые, мы не знали, но видели, как они прекрасны.

Сейчас счищают снег на улице и машины идут одна за другой с небольшим интервалом на маленькой скорости, слегка притушив свет, и их тяжелое и долго слышимое гудение вызывает представление о перевозимом нестандартном грузе, который ночью тащат по нашей улице тягачи.

23 января.

Произошла путаница с числами. Оказывается, я писал на день раньше, чем помечал числа. Все еще двадцать третье. Первое, что я сегодня узнаю, так это то, что картины, украденные в Будапеште, нашлись и вчера их передала греческая полиция. Вот и вся история. Сегодня говорят, то есть пишут, о Кипре, о воссоединении его частей. Как я заторчал, что уже числа переставил местами. Я бы мог еще вспоминать о Ташкенте, но боюсь, что это будут одни мои воспоминания, кажется ничего из этого не уцелело, все было разрушено. Обжигающий горло глоток. Когда мы узнаём о смерти Лени Аронсона, мы пьем «Узбекистон» на улице. Наши семиградусные морозы никого не останавливают; делают вид, что их не замечают. Но в жизни природы они заметны и оставляют свои следы. Вода, стоящая над канализационными люками, испаряется на воздухе и не видно птиц и животных. Голуби, правда, получают свою порцию зерна у торгового центра, но приснившееся нашествие синиц остается сладким сном. Тогда-то Юра и написал свою серую книгу, и по приезде в Москву мы ее уже продолжали пристраивать, но никто не хотел брать. Мы прожили в Москве месяц, все не ехали домой. Может быть, это было главное. Я видел, как он ее уничтожал потом, хотя она едва ли не вся была еще нами перепечатана в Измайловском. Но и потом мы с нею носились. А внезапно оказывается, что никто не забыт и ничто не забыто, и что прекрасно знали этого человека с другой стороны. Это был еще один портрет Хлебникова, но в форме.

Но выше варить кашу, слышать этот шум закипающей воды. Я должен готовить нам поесть и мне приходится изобретать блюда для наших обедов и самому их готовить и самому и есть. Варится гречка, будут на обед сардельки с кашей, и я должен быть успокоен насчет своего будущего. После того, как вышел Артемий Богданов Араратский, ничего удивительного нет, что мы торчим на простейших отправлениях. Мое дело не дать ей убежать, но она и не бежит. Нужно будет еще отварить сардельки, а кашу спрятать под одеяло, в газетах, во всем, что греет. Посолив кашу, я заглядываю в чайник. Осталось два глотка чая.

Мороз ослаб, и пошел густой снег, полегчало. Я думаю, что ветер не стихал и что при выходе на открытые пространства он подхватывает человека и заставляет сопротивляться ему. Со всех карнизов веет снежком, когда налетает порыв ветра. Слышно, как, несмотря на низкую и плотную облач-

ность, в небе ходят самолеты. Передают, что в Москве сегодня была гроза, якобы оттепель на почве и при этом сильный мороз на высоте пять километров создали условия для зимней грозы, и что за последние десять лет это не то пятый, не то седьмой случай подобный. Идет дождь. Никаких вестей оттуда, от мамы, мы не имеем, наверное сегодня Верочка будет звонить. Оля обещала разузнать подробности ее жизни. Мама поехала, когда бабушка еще была жива, и успела побыть с ней недельку с живой, попрощаться. Уже месяца два прошло с тех пор. А у нас туман и все падает косою мелкий снежок. Уже занес все крыши, припорошил следы, разровнял поверхность участков, занес автомобили. Детские площадки, как небольшие репродукции с малых голландцев. Миниатюрные постройки для детей передают некую уникальность каждого отдельного вида на участках, разгороженных неодинаково подстриженными кустами. Детей сейчас нет, они чем-то заняты в детском саду, и под падающим снегом никто здесь не гуляет, не видно ни кошек, ни собак, ни птиц. Хотя мороз и отпустил, утром было градусов двенадцать, но погода, как видно, не из приятных. Я часто смотрю на площадки детского сада в ночное время и вижу их в ином освещении. Они среди кустов и сугробов, в темноте, рассеиваемой или сгущаемой одинокой голый лампочкой у здания, напоминают замерзшие голландские пруды при луне или в непогоду. Тени подчеркивают эту пропорцию и она хорошо передана в архитектуре беседки, очень тесной и покосившейся, столов со скамейками, песочниц, каких-то навесов и фантастических лесенок и каких-то кувыркалок, сваренных из трубок. Как на картинах, иногда детского народа становится вдруг много-много среди всего этого. Купил вчера бутылку «Стрелецкой» в ближайших «Крепких напитках», но пошла плохо под усиливающийся мороз, спал, отсыпался, как-то и день и ночь и утро и вечер. Просыпался, конечно, но выпью и засыпаю снова, отчего-то так устал, или это только от погоды зависит? Болели ноги, я пытался что-то посмотреть по телевизору, пьесу Горького, но сам переключался на «Международную панораму», а потом и засыпал вовсе. Пишут о комете и специальных кораблях, для обследования ее, об затоплении двух станций московского метро, об урагане в Шотландии и о пожарах в Южной Африке, о железнодорожной катастрофе под Бомбеем, во время которой погибло более тридцати человек. Регулярно сообщают о подземных толчках, но не прогнозируют этих явлений. Столкновения в Марокко не стихают. Пятки все еще ноют, в пятницу, по-видимому, будем ночевать на Петроградской. Как-то получается даже лучше не пить, но трудно удержаться, когда есть возможность. У меня там столько бутылок несданных, что можно висеть дня три на той квартире и пить, да у меня одного сил не хватит своротить эту гору пустой посуды. Я успеваю взглянуть

в Федорова, пожалуй, его нужно перевезти сюда. Или пусть там хранится? Ждет, пока мы опять придем туда пожить. Тут ведь, в связи с переломом у мамы, очень долго пришлось прожить там. Я читал Федорова по утрам, когда Вера уходила на работу, понемногу. Я не далеко продвинулся. Еще там есть номер «Часов» с моими записками и со стихами Ю. Галецкого. В один день всего не пересмотришь. Пожалуй Федорова нужно забрать. Ну а что делать с Федоровой? С «Мифами острова Пасхи». Там таких книг нет, а здесь сказок и легенд очень много. Еще несколько книжек там сложено, в частности «Происхождение славянской письменности» — нечитанная, а несколько книжек моих. Кара-тепе с описанием одного сосуда и надписи на нем. Шидфар об исламском влиянии. О реке Великой есть место в одной смешной брошюре «По Псково-Чудскому водоему».

Мне нужно разогревать обед к определенному часу и я готовлюсь к этому нехитрому делу целыми днями, не могу быть спокоен пока все каши и сардельки и бульоны и чай уже не разогреваются потихоньку, дожидаясь только прихода Веры. Пока я успеваю смести крошки со стола, подивиться на буфет и подмести и протереть мокрой тряпкой пол. Каждый день одно и то же, пыль, волосы, песок, табак, пепел, крошки, чайники. Пятна, капли, подтеки. Я забываю о газовой плите, за чистотой которой должен следить, и она, как и всегда, облита чаем.

Свет фар прорезывает туман на несколько метров впереди, яркие красные задние огни горят в темноте. Чья-то машина ночью выбирается со двора. Противоположная сторона улицы тонет в темноте, у дорожного фонаря дрожащий ореол. Он только подсвечивает туман. Зеленый немеркнущий глаз говорит, что путь свободен. Через полчаса, когда я выглядываю случайно в окно, туман сгущается настолько, что двор начинает плыть и его очертания теряются за пределами круга видимого. А на улице нечего и смотреть — там такая темень, ни фонарей, ни светофора. Во тьме начинают переключаться гудками какие-то заводы. Сначала они. Надсадный рев моторов доносится со стороны улицы, но не видно ничего. Ничего абсолютно не видеть, такого не запомню. Вот и хочется просто сказать, что от каких-то мыслей не надо и пытаться меня отвлечь. Почему не сегодня? Эти мысли сегодняшние. К утру прояснилось. Тумана осталось ровно столько, чтобы на небо не смотреть. Город весь запорошен свежим снежком. Девять градусов. Обещают к вечеру повышение температуры. Улицы вынырнули из тумана тщательно подметенные, а на небе, конечно, никто не разгреб дорожки.

Наступает тишина и ночь завладевает своими правами. Серия последовательных тихих звуков, сопровождающих приготовление чая, завершена. Может быть в последний раз срабатывает лифт. После всех этих манипуляций

большой чайник запекает свою песню. Только работает холодильник, да шумит зуммер на дверном звонке. Зуммер можно выключить, а холодильник выключается сам. Ничего нет сильнее, здесь это скажу, ночных приемов чая. Выпить чашку густого, такого, что вторую не скоро захочешь, тридцать шестого, закурить, глянуть на часы — начало ночи. Испытать удовлетворение от той самой позы, в которой ты сидишь. Будет тишина во всю ночь. Не видно уже на улице прохожих и городской транспорт не ходит. Такси да грузовики еще пробегают изредка по улице. Общее впечатление сырой оттепели прекрасно передано состоянием улицы. Хоть утром и был мороз, к двенадцати, когда я поднялся, началась капель, оживленный стук по карнизам и на улице было затишье, я не попал нигде на ветер. Было не меньше нуля и совсем тихо. Я хожу в магазин дворами и если вижу что, так из дворовой жизни. Дорожки подтаяли, снег стал скользкий, и в тех местах, во дворах, где асфальт подогревается, очень быстро начинает таять. Темные круглые лужи на месте люков, откуда-то из-за мусорного сарая валит пар. Люди гуляют с детскими колясками, здесь всегда утром и днем много молодых матерей с детьми, так как в соседнем доме детская поликлиника. А вообще гуляющих в этот час не видно. Немного народа в очереди, можно бы пива выпить, как раз по погоде, но у меня расходятся все деньги. Кроме «Стрелецкой», у меня ни на что не хватает, а мелочь приходится отдать за беломор. Вера ругается, когда я покупаю «Стрелецкую», и мне приходится объяснять ей, что на кубинский ром не хватает, а «Стрелецкая» то же, что раньше «Перцовая» была, и у нас к ней привычка. Кое-как она соглашается выпить эту, как она говорит, траву. Мне просто очень не хочется далеко отходить от дома и долго оставаться на улице, я спешу со своей авоськой домой, забыв о пиве. Ничего примечательного по дороге не попадается, да и потом тут так близко, но все же встречаю Алексея Александровича, здороваемся. Скорей, скорей, выпивка, закуска, газета, все занимает понемногу времени. Мне скоро начинает хотеться спать. Обед готов, можно лечь.

Чай чуть теплый, комнатной температуры, он остыл, пока я исписал страницу. А я и всего-то хотел сказать, что чайник заварочный и пиала, очень точно расположенные на столе и относительно друг друга как-то белой ночью, произвели на меня неизгладимое впечатление. Почему-то в полумраке возникла иллюзия, что стол за этими предметами полукруглый, хотя он прямоугольный. И сколько я ни курил всякой всячины, чайный приход, позволяющий созерцать гармонию, сильнее всего прочего. Конечно, когда одно идет в сочетании с другим, еще сильнее, но м. б. и нет. В белые ночи у меня появилась привычка оставлять с треть бутылки вина на ночь. И, конечно, ночная тишина, вино и чай создают предпосылки для обострения видения.

Я нарисовал на серой бумаге такой натюрморт, но он является скорее знаком, чем адекватной передачей состояния. Тогда чайничек был еще старый. Вот ничего не видишь, не ищи, не подбирай, а чайнички знай. Сейчас у нас чайник очень обычный, или я к нему еще не привык? Он больше по объему и устойчивее. Достаточно поместительный. Говорят, что в Москве к утру мороз достигнет семнадцати градусов, у нас нет как будто. Не хочется застыть у окна. Мне случалось простужаться, сидя так у окна, и я стал гораздо внимательнее к погоде. Раньше, бывало, что-нибудь выдающееся привлекало внимание — неслыханный дождь, ветер, наводнение . . . Но однажды я шел по Большому, мы жили еще в Гавани, нужно было в больницу Ленина. Погода, зимой, предположим, что в такое же время, как сейчас, была абсолютно тихой, всё до последней веточки, а там ведь сплошь деревья, было покрыто роскошными кристаллами снежинок, которые совсем ничем не были тревожимы. И я понял относительность разницы между внутренним и внешним, между домом и улицей. Я, конечно, и мечтать не мечтал о том, чтобы это состояние природы перевоссоздать дома, но я был так им захвачен, что как бы слился с этим состоянием. Конечно, чудеса редки, и я редко теперь выхожу из дома.

. . . Почти пьяный должен был встретить Таню в глухом углу Петроградской, как-то осенью. Вот, пожалуй, еще раз тогда, вид осенней листвы в садике или рощице, место-то это по виду совсем загородное, я почувствовал гармонию природы, которая сильнее меня. Да как-то осенью, в другой раз, залюбовался деревьями до того, что можно сказать навсегда, здесь, в Купчине. Но охватывает подобное состояние редко. Ничто так не возвышает души. Только любованье весенним цветением деревьев сравнимо с этим. Зрелость осени, особая спелость впечатления была проявлена полностью. И мне кажется, что каждое это впечатление, это прямо марка амриты, как бывают марки чая. Даже так можно сказать, что я и пью нечто вот этих марок: зима, да две осени, да весенний цвет, пожалуй.

Выгляни в окно. Почти все спят. Автобус не останавливаясь проезжает по улице. Где-нибудь во дворе должна дежурить скорая помощь. Может быть, зима будет такой мягкой. Впереди февраль, самый холодный месяц. Какой-то он будет? Так надо понимать, что от Москвы на нас движутся холода, но балтийский воздух не вытесняется, не уступает морозному московскому. Это обычно зимой. В пятницу надо ехать на укол и к врачу. У меня теперь новый врач. Как-то так перераспределили участки, что мой он, где я и не бываю, достался другому врачу. Теперь нужно снова знакомиться.

Как-то тут мне очень понравилась музыка Гагаку, слушал ее после большого перерыва. Особенно первое произведение, которое, как мне показало-

лось, занимает целую сторону пластинки или кассеты? Я дал себе слово устроить еще раз такое прослушивание, но пока что-то от этого удерживает. Еще живо то впечатление. Получилось, что из всех кассет лучше всего записана эта, да Rare Hendrix. Вот и слушаю их по очереди, иногда вставляю блюзы. Есть еще опера «Иисус Христос» — ее тоже громко и хорошо слышно, а остальные кассеты погублены или до того неинтересны, что я их никогда и не слушаю.

В такой день лучше бы было слушать птиц. Солнце еще не село, но птички больше не поют. Медленно летают вороны по одной, по две. Ветра нет. На небе мелкие орнаментальные облачка, сквозь которые видно голубое. Они вызывают представление о молодом льде. В такой день очень четко различаешь музыкальное от немзыкального. Отсюда из дома, по виду, прямо день весны.

В этот час оживление на улице утихает, только школьники расходятся по домам группами и поодиночке. В доме то же, что и всегда: работает лифт, выносят отбросы, гудят какие-то тяги, шумит вода, воют трубы, хлопают двери, слышны шаги и голоса. Во всем этом ничего музыкального нет, как нет его и в последних известиях. Весь этот набор шумов способствует утомлению.

Люди видны только на остановках, там развешаны флаги, но отсюда они не очень-то видны. Сегодня шестидесятилетие переименования города. У нас все тихо, хотя мы слышали о праздниках по радио и телевизору. Это, наверное, где-то там в городе, наши же пространства растворяют всё, все призраки праздников. По ассоциации, когда мы говорим о пейзаже, то имеем в виду пейзаж малых голландцев, пишут в газете о традиционных швейцарских праздниках, одному из которых триста лет. Ничего более непохожего на наши праздники я представить себе не могу. Пишут о деревеньке, не признающей григорианского календаря и празднующей Новый год по старому стилю. Это наша зависть к чужой упорядоченности проявляется в таком подходе. Кончаются вести из дальних стран, и начинаются объявления. Это то еще, что я слушаю. На этих же днях празднуется сорокалетие снятия блокады, так что праздник вдвойне. К сожалению, сегодня никуда не надо, у меня совершенно нет денег. Уже двадцать шестое. Весной не пахнет, но что-то в такой тихий и теплый день напоминает о весне, когда начнут раскрываться окна и двери. Сейчас новостей никаких нет, перечисление мест на карте. В Калининграде открылось новое здание университета, все в этом роде.

Мать, безусловно, думает о нас перед сном и вот ночи у меня, выходит, молёные. Тут я чувствую себя вправе на все это. Три часа и я напился уже чая. Чая идет так много, что все чаще мне хочется докупить на свои копейки лишнюю пачку. Присылали два раза посылки с чаем из Москвы, тем только

и спасаемся. Верина мама, когда делает закупки в своем «Универсаме» и дают тридцать шестой, всегда берет нам побольше, пачек по десять. Обещал Кирюша большую пачку Индии, да сгинул. Вот за всех этих людей мы и молимся Богу, в каком-то тайном родстве чайном состоим. Надо дожидаться, по возможности, спокойнее утра и ехать в город. Я думаю, что визит к врачу стоит того, чтобы здесь чая быть набуханным, укуренным, от чая сытым. Мне и остается исповедовать эту успокоенную чайную сытость в ночные часы, когда легче сосредоточиваться. Мама вымолила мне покой. А в утренние часы — спать. Раньше так не было. Я просыпался рано — в пять, в шесть, и, вот, не продравший глаз, готовил себе чай. Теперь я делаю это в более успокоенном состоянии духа. Отвариваю и переливаю в джезvu вторяк, споласкиваю чайник и выплескиваю старую заварку, засыпаю новую, помногу, вы даже не представляете, какой крепости у меня утром чай. Заливаю заварку вторяком и прокипячиваю все это обязательно под присмотром. Конечно я привык все это делать автоматически. Итак, чай идет у нас первым, а бублики — вместо всего остального. На столе рассыпаны аккуратные папиросы. При ближайшем рассмотрении оказывается, что они обильно крошатся. Я выбрасываю пачку раньше, чем окончится содержимое. Почти все окна погашены. Темный, почти неразличимый стоит за светофором автобус. Потом он медленно, едва слышно, трогается и скрывается. Сейчас спят все привыкшие к совершенно другому ритму. В самом деле, чем хуже спать утром, когда люди больше всего приходят и уходят из домов? Этот новый ритм выработался сам. Все время я могу прилечь, полежать, но спать мне не хочется, а часто хочется курить и я встаю, а перекуры затягиваются до утра.

Так я сам врач (и в первую очередь сам себе), но я своих пациентов не вижу и вот в это верую, что своих видеть и не надо, важно только, чтобы они были своими. Эта уверенность развивается сейчас, я позже приведу какой-нибудь другой пример из того же ряда.

Я верю в то, что со своими встреча нас ждет, если мы были праведны. Эта вера как-то всколыхивается повременно и закрадывается сомнение, не сменится ли она жутким каким-нибудь безверием. И вот в это вот верю. Так я могу это повторять за каждой мыслью, но дух этой спонтанной веры отрывочных убеждений передан верно. Даже не важно, кто вселил в меня эту уверенность, можно сказать, что она мне свойственна. Кто-то поддержал меня и прежние разочарования кажутся не захватывающими самого ядра существования. Эта вера какого-то сердечного восклицания, но как ее ни называй, ни характеризуй, дела это не меняет. Я верю в то, что вот тут что-то не подведет, т. е. в то, что все состоит из уверенности, в то, что каждая вещь

уже есть вера, и что, поэтому, вера во всем. Короче всего можно так сказать, что тот, кто находится на этом пути, с настоящим безверием и не сталкивается, а то бы его шарахало так, что никакое бы лечение не помогло, и вот это-то существование в сфере веры постоянное и доказывает существование Бога . . . Здесь начинают зажигаться окна, когда я еще и не думал ложиться. Боже, как рано встают люди. В четыре утра начинают подниматься, они работают, наверное, так далеко. Вот это приходит на ум особенно часто. А уже почти пять. Время пролетело незаметно. Надо довершить эти записи до утра. Просто и не быть и не казаться вором. Просто не быть среди людей. Есть соблазн зайти в метро в академический ларек. Я изображаю человека, у которого на уме текущие хозяйственные заботы на первом месте, в день, когда продают «Курьер» с Борободуром, я обхожу журнальный киоск так, чтобы этого не видеть. Якобы у меня все сосчитано: три беломора, хлеб такой-этакий, чай, не знаю, что там еще — вино, думаю довольно.

Этот молитвослов посвящен той, что сейчас сидит, и слово бы себе дал из дома не выходить, не попадаться ни при каких беспорядках, лишь бы так не попадаться. Я последние десять лет только и делал что пил, да курил, да писал еще в «Часы», да рисовал. Тонна чая небось и была отпущена. Это я все о матери, но вот на что-то такое, как «все пройдет, сын мой, все пройдет» отца, дважды напарывался и верю, что и не избег. Я верю, в то что постулаты отца выдавали гораздо большую человеческую твердость, но как знать, если бы мне пришлось учить сына . . . А так учишь самого себя. Я верю, что тот сам дитя, у кого нет детей. Даже не десять, пожалуй, уже больше лет, я так рассеянно провел за питьем чая, нигде не бывая, кроме как у Эллы, много было и вина. Я не только не прав был, но и этого чая он больше не пил — модель его высказывания такова сейчас. С изучением себя и сталкиваешься. Ночь на дворе — какая темень. Начинается слабое движение. Как-то там? Там все не так — чая никто не дает, а надо вставать, соблюдать режим. Там еще строже, нельзя быть за вора даже приняту. Может быть все же что-то попадает на глаза и составляет опыт? Редко памяти нет настолько, что я ничего не замечаю. Как же плохо ей должно быть сейчас, там даже и не покуришь. Я хорошо знаю порядки психиатрических лечебниц, но вот специально на принудке никогда не был. Может быть в этом и вера. Она такого огромного срока не заслуживает. И все переделав, и повеситься и видим. Так, кажется, говорится, но я повторяю, что это только модель высказывания, калька. Что способен человек, он способен годами копить усталость, никак, фактически, не отдыхать. Как это может быть? Я даже представить себе не могу ничего подобного. И вот у человека накапливается ощущение, что достаточно память изгнать и пройдет с ней вместе всё.

Сегодня мне и стоит встать пораньше. Я побрился вечером и никак особенно готовиться не надо. Не забыть захватить лекарство, может быть, в диспансере его и нет, такое бывает. Но перед тем, как вставать и собираться, я могу еще немного расслабиться.

Сборник «Традиционная культура Китая» весь посвящен памяти академика Алексева. Мне не по карману. Выбросили в продажу «Фламенку». Её разбирают очень охотно и быстро. Книги по русскому говору, исторические словари продаются свободно. Иметь бы побольше денег . . . Таким образом усталость до беспамятства является для меня непреодолимой вещью. Но я долго не понимал, что всецело подчинился ей. Даже теперь мне не представить во всем истинном размере, до каких же пределов распространяется её власть. И сейчас я ловлю себя на том, что совершаю нечто под влиянием усталости, и мне приходится побыстрее сматываться. Успев до трех переделать дела в диспансере, я делаю необходимые по дому покупки. Поскольку на Звездной вермут сегодня дешевый, по два сорок, азербайджанский, у меня на руках оказывается немного денег. Я покупаю два пакетика молока, кажется, Вере оно сегодня не положено. День сегодня выдался как раз темный и пасмурный. В центре так много народа, а на Петроградской нет. Пивное заведение заперто на всячий замок, в розливе бутылку портвейна подешевле сегодня не купишь. Удар ситечком по чайнику, чтобы стряхнуть нифеля, как удар гонга, привлекающий внимание к чаю. Пусть дольше служат обувь и верхняя одежда, и даже то рубище, в котором я хожу дома, залитое чаем и рваное, пусть дольше прослужат, это теперь я так молюсь, прежде чем выпить чая. Мне хочется и из этих, кажущихся в чем-то окончательными, заметок сделать свои выводы. Кажется, я успеваю в этом. Помнишь еще? «Из всех страстей апатия — самая возвышенная страсть, и в самом деле нет страсти более возвышенной, чем она . . .» Беккет. Мое условие, чтобы за деланием выводов мне не надо было уставать от беспокойства, мной принято. Я волен в своем распорядке дня; рыбный суп не успел сегодня приготовить. В такие дни, когда мне надо ездить в город, Вера дает мне всякие поблажки. Сама моет полы, не печатает, только вечером, почти ночью, просит приготовить чая со сливовым джемом и тихонько сидит, читая свою нескончаемую фантастику. Вот и все дела за день, не считая её работы.

В газетах от двадцать седьмого сообщается о сильном землетрясении в ста километрах от Лимы, имеются разрушения и в других городах, и о подземных толчках в Таджикистане, эпицентр находился на территории Афганистана. Здесь жертв и разрушений нет. Вчера ничего об этом было не слышать. Вот и польза от газет. Может, прослушал сообщения по радио.

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

СУВОРОВ

Композиция в 2-х частях

Часть 1.

Российский Марс.

Больной орел. Огромен.

Водитель масс. Культурфеномен.

Полночных стран герой. Находка для фрейдиستا.

Он ждет, когда труба горниста

Подымет мир на бой.

«Вперед, вперед, за мной,

к вершинам Альп, к победе!

Суворов светом божьим осиян»

Идет на бой страна больных медведей,

Поет ей славу новый Оссиан.

Но вождь филистимлян Костюшко

Воскликнул: «О, братья, смелей

Пойдем на штыки и на пушки

Сибирских лесов дикарей

И Польша печальной игрушкой

Не будет у пьяных царей.

И будет повержен уродец,

Державная кукла, палач,

Орд татарских полководцев,

В лаврах временных удач».

А воитель ответил:

«Неужто не справимся с норовом
Филистимлян?

Кто может тягаться с Суворовым?

Я — червь, я — раб, я — бог штыков.

Я знаю: плоть грешна и тленна,

Но узрит пусть, дрожа, Вселенна

Ахиллов Волжских берегов.

Я — божий сор. Но словно Навин

Движенье солнц остановлю,

И Пиндар северный — Державин

Прославит лирой жизнь мою,

И помолитесь за меня,

как я молюсь за иноверцев,

Я их гублю, но тайным сердцем

Любовь к поверженным храня».

О, вера русская! Христос — работник бедный,

Больной пастух, что крестит скот,

И вдруг при музыке победной

Знамена славы развернет.

И россы — воины Христовы

За веру жизнь отдать готовы.

В единоверии — сила нации.

Это принцип империи

и принцип администрации.

Россия древняя, Россия молодая —

Корабль серебряный, бабуся золотая.

Есть академия, есть тихий сад для муз,

Мечей, наук, искусств —

здесь просиял союз.

Есть дух Суворова —

надмирный дух игры,

Игры с судьбой в бою суровом

Когда знамена как миры

Шумят над воинством Христовым.

О, мощь империи,

политика барокко:

На иноверие косясь косматым оком

Мятежникам крича:

Изи воинои крестя,
Мятежникам крича:
Назад, назад, не сметь
в безумие и смерть.

Часть 2.

О, мятежей болван,
тот, коему поляки,

Всегда охочие до драки,
Свои сердца как богу принесли
Со всех концов своей больной земли.
Что мятежей болван?

Французская забава.

А россов истина двуглава:

Двоится русский дух,
и правда их двоится,

Но не поймет и удивится
такому западный петух.

Суворов в деле рьян.

Он — богатырь, Самсон,

Он — не тамбур-болван
и не парадный сор

На поле брани — львом,
в штабах — разумной птицей

И пред полнощныя царицей —

юродивым рабом.

Пред ним травой дрожала Порта

И Понт от ужаса бледнел,

И вот огнем летя от Понта

На берег Вислы сел.

Был выбит из седла

Костюшко — рыцарь славный.

И Польша замерла,

когда рукой державной

Схватил татаро-волк

И в рабство поволок.

«Виват, светлейший князь!—

Ура!—

писал Суворов,—

К нам прибыли вчера для мирных договоров

Послы мятежников — сыны сего народа,

Их вероломная порода

Смятенью предалась».

Что мятежей кумир?—

нелепость их гордыни.

Агрессор любит мир.

Он угощает ныне

Трепещущих врагов.

Он гибель Праги читит

Слезой, что краше слов

и горячей обид.

Греми восторженная лира,

У россов помыслы чисты,

И пьют из грязной чаши мира

Россия с Польшей — две больных сестры.

Так плачь и радуйся, орел,

Слезливый кат и витязь века,

Но если гром побед обрел,

Что пользы в том для человека?

Он для грядущих поколений

Лишь сором будет, палачом,

Суровый воин, страшный гений,

На кляче с огненным мечом.

За то, что царства покорял

Во всеоружии жестоком

Осудит гневный либерал,

Ославит фрейдович намеком.

Суворов спит в могиле бранных снов

В сиянии покоя,

А дух его парит, преступный дух героя

И кавалера многих орденов.

ГАЙДАМАКИ

(Композиция в 3-х частях по мотивам
одноименной поэмы Т. Г. Шевченко)

1.

Ну, по чарочке, певцы,
Чтоб сияли струны
И дрожали словно псы
В Умани драгуны.

Ты, земля моя, гори
Как цветок кровавый,
Чтобы вспомнил Чигирин
Гетманову славу.

Чтобы мерзости полна
Пала перед нами
Вавилонская жена
С пьяными панами.

Море, море мертвых тел
Кровь течет ручьями,
Чтобы Киев поглядел
Новыми очами.

Не созреет мирный злак
В степи, за холмами,
Где заплакал Зализняк
Страшными слезами.

И ножом как мир немилым,
Убив сыновей,
Сотник Гонта рыл могилу
Для души своей.

Мечь и злоба застыт свет

Почве слезливой.
Плугом Каиновым смерть
Распахала нивы.

Авель, Авель — ясный пан
С пухлыми руками.
А мужик, что с горя пьян
Каин, Каин, Каин!

2.

Льется месяц чист и пуст
На бахчи родные.
Вынул нож малыш Иус
В хате у Марии.

Вынул нож и стал точить
Чтоб зарезать волка,
И багряный свет в ночи
Озарил светелку.

О, родимая земля
Вся в цвету багряном
Мщенье Иродам суля
За Христовы раны.

О, народный кипяток
Ярости и муки
Нож Иусов прямо в бок
Вавилонской суке.

3.

О, бесовская земля
Черна, виновата
Не наследуют тебя
Божие ягнята.

УРАЛЬСК

Чагано-набережная, волк углов
Грузовики в буран
не отправляются из Уральска

По щиколотку и пьян . . .
Чагано-нож, кровь . . .
Батюшка наш, Волк Углович
скушай из барских голов
варево с топором

Заячьей чарочкой чокнись с Уралом,
чокнись с Чаганом,
розовый мальчик Гринев.

1975

БРАЦЛАВСКОЕ ВОЕВОДСТВО

Золотистое лето.
В шинке малоросский Диднис
В красных как пекло штанах
хлещет горилку бранясь.
Рядом таинственный сад,
сад фонтанов и мраморных ваз,
Замок магната, где пан величавый как вяз
Корни пустивший
на варварской жаркой земле
Пишет меморию в пепельно-рыцарской мгле.
Пишет меморию: тени охот и пиров,
Тени латинских божеств,
Отблеск сабель, знамена,

корзины казацких голов.
В тихом прохладном саду
 нерейды запятнаны кровью.
Вязы бормочут в бреду
 и склоняют листву к изголовью
Умирающей Польши, заброшенной в Скифо-восток,
Где народ непокорен, могуч и жесток
И гуляет казацкий Дионис в шинке,
Сыплет проклятьями,
 саблю сжимает в руке.

1979

КНЯЗЬ ХВОРОСТИН

Б. Рохлину

Первый голос

Не лучше ли в Литву, чем в терем, в темь горошью
Чем в тараканстве жить и княжить во грибах
Трухоголовых, трусостью и ложью
Живущих на земле, где царь — Горох и Страх

Не лучше ль, князь Иван, нам хворостинкой сорной
Сгореть у Господа в карающей руке
Чем в чернецах чернеть, чем изменить лице
Чем тихо кончиться в немотствии соборном

1981

Второй голос

Но быть еретиком,
 от древа отщепенцем
Дыре молящимся, неужто лучше, князь
Чем в будущий Собор
 поверя тихим сердцем
И разумом смирясь,
 включиться в общий хор?

1981-1982

НОЧНОЙ ВАХТЕР

Пассеизм и гуманность
 меня не спасут, не спасут
Фонд любви опечатан
 стреляет с луны биопушка
Все мертвы соловьи
 и на речке гнилой Оккервиль
Бродят лунные кошки.
Здесь окраина жизни —
 ремонтный заводик старья
(Смело внедряй в производство,
 смело внедряй в производство,
Смело овладевай
Помни о Рыбоосновах
 и Гниющебагровую Книгу
Впрок изучай по параграфам
 в кровь-уголке заводском)

Где-то здесь стрельбище рядом
 (Помнишь учебные стрельбы?)
Стрельбище там, на луне
 целятся лунные люди
Целятся, целятся в нас . . .
«Слушай,— сказал Верещагин,—
 слушай меня, англичанин,
Пушечным кормом считающий
 непокорных как духи индусов
Слушай, мы шли по пустыне
 под лучами нещадного солнца
Доброе войско царево
 Скобелев — наш генерал
Сила российская шла
 против силы поганых агарян
Флаг водрузить православный
 над хиреющей в хищности Хивой
Флаг водрузить . . . водрузить . . .»

«Слушай,— сказал англичанин,—
я солдат, солдат королевы
Добрый солдат королевы,
на расстрел выводивший сипаев
Выпьем за право сильнейших»
«Выпьем,— сказал Верещагин,—
Славно хлебнуть на луне»

Жухлых батальных полотен,
давних пехотных походов
Призраки, лунные тени
воинов чуждых вины.
Что они мне? Я — не воин.
Я — вахтер стерегущий заводик
На ночь чаек заварю
и червивую, алую книжку
Буду читать до утра.

Евг. ХАРИТОНОВ

ДУХОВКА

Во вторник шел в поселок за хлебом, вижу на пригорке со спины, я еще Лене заметил — вот, мальчик кого-то дожидается, фигурка запала сразу, гитара на шнурке через шею, как он ногу выставил. И неожиданно, назад идем, он еще не ушел, здесь вижу в лицо. Я спросил спички, он не ответил пошел на меня, я еще не понял, почему идет не отвечает, или уличная манера; он просто идет протянуть спички и сам спросил закурить. Сейчас, думаю, разойдемся, не увижу никогда. Разошлись, дальше что делать не знаю; и простая мысль, вернуться попросить на гитаре поиграть, и хорошо, я не один. Он начал сразу, голос только установился, песни, как они во дворах поют. Весь запас спел, больше задержать нечем. Я как-то дошел до дома, но когда один остался и поделиться не с кем, думаю в Радугу, так, лишь бы идти не сидеть на месте; прошел половину поселка и встречаю. Удивительно, хотел увидеть и увидел, хотя, раз он недалеко попался, почему здесь и не жить. Я как будто гулял от нечего делать и думаю присоединиться, ясно что он просто так стоит. Он кивнул, я как будто хочу присмотреться к его игре, какие места зажимать на струнах. Долго ходим, разговора немного; узнал что учится, пойдет в десятый класс, и учится в школе для математиков на несколько человек со всего края; не просто уличный мальчик; каста. Он на пригорке стоял, ждал приятеля Сережу, чемпиона по самбо, тот хотел вернуться из города. Пока мы как будто бесцельно слоняемся вдоль фанерных домиков, попадаются девочки его лет, о чем-то обмолвятся с ним, я в стороне не мешаю. Стемнело, он говорит пойдём к спортсменам?— Пойдем; но говорю, конечно, что не знаю спортсменов и никого здесь. Затруднения с разговором когда о машинах или о песне, которую они все знают. У него разряд по плаванию. Тут я и понял, что когда недели три назад увидел, здесь по дачной улице шел мальчик с аквалангом

и ластами под мышкой, ровесники шли с ним, девочки, или дети, я поразился тогда, как он красив, и во взгляде бессердечность, от красоты, видел всего мгновенье, только прошли мимо,— тут я понимаю, это он и был. Стемнело, сидим на скамейке у одного домика, он все время перебирает струны и напевает уличным голосом эти песни, блатные, жалостливые про любовь. Из домика женщина попросила не петь. Мы пошли к открытой веранде столовой, там дежурная лампочка посередине невысоко, такой тусклый свет с большими тенями; старуха сторожит с папиросой и две девочки с парнем; а девочки попадались, и мальчик тоже, спрашивал у Миши — девок нет? и Миша засмеялся; Миша дал ему гитару, этот Толя, с малороссийским выговором, смешно, и с чувством, не как Миша, запел, с руганью через слово. Толя послал девочек за картами, я подумал, хорошо, их четверо и я лишний, не выяснится, что я не играю; эти девочки живут в домике рядом, дочери, что ли, заведующей столовой; когда они вернулись, Толя увлекся пением, девочки одни со сторожкой сели в угол напротив в пасьянсом, а мы с Мишей слушали Толю и смеялись, уже объединены вниманием к пению; песни у Толи были такие: беспризорник подходит к кассе, хочет украсть билет, его забирают, он говорит — Граждане, как вы жестоки, граждане, сердца у вас нет, вы забыли что я беспризорник, зачем же меня обижать; или в притоне оборванец убил моряка из-за пары распущенных кос, наклонился над трупом, узнал в нем родного брата и ее убил тоже; или школьные про любовь, с красотами слога, и как он их серьезно задушевно пел, так они до вас и доходят. Кончилось пение, мы пошли провожать Толика к палаткам. Он сразу стал рассказывать непринужденно свои похождения, как он сломал четыре целки в свои годы, а другие всю жизнь хотят жениться на девушке, не найдут, и как они к нему привязываются. Говорил он больше мне, Миша занимался гитарой, возможно, Миша привык к рассказам, а я хорошо слушал. Дальше путь с Мишей, и он рассказал об убийстве, к тому, что мне через лес идти; на днях в этом месте убили парня цепями от мотоцикла. Дальше в разные стороны — ну, до свидания — до свидания; и сам говорит, форма, но все равно,— завтра увидимся. После встречи на пригорке я думал, что и простое знакомство невозможно, а оказалось возможным, столько были вместе, говорили, он здесь живет, знает теперь, как меня зовут, я знаю, что он Миша, и завтра увидимся.

Назавтра, в среду, с утра в поселок к палаткам, вижу Толика, хохла, один на обрыве,— здравствуй — здравствуй — Миши не видел? — Нет, не видел. Хорошо, думаю, когда он будет здесь проходить, попадусь на пути, он не увидит, что я его искал, да я еще с Толиком, как будто и с Толиком познакомились, не будет для него одинокой фигуры, подкарауливающей его.

Спортсмены ложатся рядом в карты играть, к ним подошел старший или тренер с витаминами, мне отсыпали. Вижу, идет — здравствуй — здравствуй; на речку идем. Толя хохол не пошел из-за дел; и по дороге он рассказал случай: сидит он в общежитии, ногу втиснул между столом и стеной; вдруг боль ниже колена, боль все сильнее, он понял в чем дело: за стеной гудит сверло, с той стороны сверлится дыра там, где у него колено, он никак не вытащит ногу, сверло уже в ней, а нога вплотную между тумбой и стеной, и он в таком положении, что стол не отодвинуть; он закричал в стену, только тогда остановились, вошел рабочий, Миша вытащил ногу, сверло уже вошло в кость. Сам Миша как математик сказал, что вероятность попасть сверлу в его колено по отношению к стене равнялась нулю. Пришли на их место купания, плавки на нем коричневые с желтыми полосками по бокам. След от сверла показал. Красоты своей не сознает, может быть, говорили девочки, но сам в зеркало посмотрится, не поймет, и товарищи не понимают, конечно, товарищ для них, и все. Предложил сплавить на остров, для меня будет пределом туда и обратно. Я вида не показал, там посидели немного, он сразу хотел назад, я предложил посушиться, последние метры я с большим трудом, вылезли, надо прийти в себя, дальше с разговором неплохо — есть гитара, а я хочу научиться и запомнить песни. Он показал бой и аккорды. Сестра у него в институте, поет в клубе Жданова перед сеансами; или сестру упомянул вчера. Пришел Толя хохол, вместе обучение бою — восьмерка, семерка, такие названия; Толя предложил осваивать на голове щелчками, так, говорят, лучше запоминаются. Они еще хотят купаться, я говорю — лучше так позагораю; так выдохся. Вот еще, например: Толя пришел с обеда; значит, когда Мише идти обедать, Толя с ним не пойдет; чтобы мне пойти с Мишей и вышло непреднамеренно, я заранее говорю — ну, мне скоро обедать; так что, когда Миша хочет идти, мне уже можно с ним; а не так, чтобы он встал, и я за ним увязался, не подготовив заранее. Вместе весь путь до его поворота, спрашиваю, даже не спрашиваю, так, — снова купаться придешь; — ага. Уже буду знать, где его увидеть, и примерно через час; и на время обеда он дает гитару поучиться. Домой ко мне Ваня приехал: а я ему и про стихи хотел сказать, и Мишу сейчас увидит, мне интересно, сможет и он понять, когда перед ним мальчик один на десять тысяч. Пошли на речку, Миша пришел через полчаса; тут все удобство положения с собеседником твоего круга. Для Миши одного не выйдет оживления и занимательного разговора, а через Ваню и Миша послушает, засмеется, вовлечется, проникнется ко мне немного. И важно, я не один в глазах Миши, и у меня есть приятели. Часа три так пробыли, Ваня хочет в город, я пошел проводить до автобуса. Миша спрашивает — потом придешь? Форма, но все же; вот мы знакомы уже,

можем вместе идти по улице, во вторник после пригорка не помышлял. По дороге разговор с Ваней — человек не моих страстей все подтвердил о Мише. Я устал, остров и столько за день ходил, больше решил туда не идти. И хорошо лишний раз не показаться, пусть думает, и у меня своя жизнь, а не так, что один как перст и все время караулю. Тут гитара к месту, все мой интерес к гитаре и песням. Еще, в первый же вечер он сказал, тем летом поедет в Москву поступать; а зимой едет в Москву на каникулы; еще, думаю, запишу ему адрес.

В четверг просыпаюсь, как хорошо, думаю, вчера лишний раз не надоедал; хотя, тут не ошибусь; но лучше иметь в виду. Весь длинный путь, полтора километра до столовой, полтора километра до его купания, не вижу. Хочу в домик к нему зайти, он вчера сказал тридцать два, и когда я шел с обеда с Ваней, я еще крикнул — Миша; я подумал тогда, он на речке, но, выяснилось, он просто не слышал; но раз я кричал тогда, а главное, раз меня вчера вечером не было, а собирался, сейчас, думаю, можно. Вижу, его бабушка с посудой, а домик определил прежде чем по номеру, по ластам и аквалангу в дверях. Миша, спрашиваю, на речке? Спит, говорит, только завтрак готовлю; приветливости не было, всегда подозрение к знакомствам детей, и человек зашел старше Миши. Тут я увидел в открытую дверь край раскладушки и ноги под простыней за край зашли. Иду пока на речку час поспать на лужайке, чтобы время пробежало, где накануне с утра лежал, чтобы он проходя сам наткнулся. Час прошел, может быть полчаса показались за час, терпения нет, пошел к домику, и все время чувствуешь, кому-то из соседних домиков уж стал любопытен. Наконец, выходит, рубашка узлом на животе. Я к тебе, говорю, пошли на речку; сказал обязательно, что один раз заходил, бабушка наверняка ему сообщала; чтобы не вышло, что я почему-то не признаюсь. Он берет гитару в домике напротив, отдавал вчера, тут на середине пути еще окликает в тельняшке некрасивый крепкий, Сережа, как я и понял, кого он ждал в первый вечер из города; знакомить не принято, правильно, мы лишь два дня на речку попутчики, а с Сергеем сами познакомимся, если нужно будет; тут лишних церемоний нет. А с Мишей был договор, что он у Сергея тетрадь, с песнями. Дальше втроем на реке, они сплавали на остров; нет, Сергей не раздевался, сидел одетый. Миша научился на гитаре от него. Сергей может над ним посмеиваться, например, над его игрой; хотя сам умеет кое-как, только чтобы гитару держать для нормы. Возня между ними, когда Сергей, играя, может обнять, прижать. В этот день или накануне я спросил, много ли мне времени на учение; он сказал, уедет числа двадцатого; а этот день восьмое. У них жаргон: путевый — хороший; жена — девочка, с которой спал; шура — пиджак; нельзя поддаваться соблазну спросить Мишу с

ласковой улыбкой старшего человека, обняв за плечи, что значит жена или поролся — сразу человек из другого общества, а так равный со всеми преимуществами знакомства на равных. У домика Сергея, где они остались на перевернутой лодке, даже не дойдя, Миша спросил у Сергея тетрадь; не в том дело, что помнит и приятно что помнит, а моим прогулкам у него есть объяснение. Сергей вынес тетрадь с ошибками, прошу, до вечера, но излишняя вежливость опять ни к чему, лишь отдалит, и я чувствую меру, не подделываться и не слишком отличать. Спечатал, скорей опять к ним, при расставании они приглашали — ну, мы тут будем, приходи. Опять весь путь до купания, нет, иду назад, вижу вдаль, идет; я показываю тетрадку, чтобы видел, что с делом, — вот, говорю, перепечатал, забыл, где Сергей живет. Подошли к его домику, вызов свистом, сели все на лодку как будто сучая заодно. Он все с гитарой, Сережка ему говорит — голова от твоей музыки заболела, играть ни хера не умеешь. Я вниз на траву сел напротив, чтобы лучше видеть. Когда мне уходить, Миша сказал — мы у костра будем, где спортсмены. И в третий раз пришел к ночи, нашел по гитаре в домике у столовой, куда девочки уходили за картами в первый вечер; в окне те две девочки и Миша с Сергеем. Еще думаю, может быть, мне не стоит, раз двое на двое, но все же заметно, они просто так сидят; открыли — ты по гитаре нашел? — по гитаре; с Мишей вместе сидим на койке без матраца, он все играет и напевает. Приходит мама девочек или одной из них и без обиняков просит идти по домам. Пошли к костру, спортсмены пьяные слегка, один позвал — эй, давай сюда, спой что-нибудь; и вот его особенная ясность, он сразу начал им петь, а поет он на здоровый вкус неумело, хочет походить на вчерашнего Толю хойда, ему его акцент понравился. Когда нам уходить, говорит — наверное, завтра в город поеду; ты не собираешься — меня спрашивает; да, говорю, надо бы; договорились вместе. Втроем назад, глубокая ночь; как удачно: Сергей живет на середине пути, дальше вдвоем; вот тут я рассказал ему об убийстве; во вторник мне Миша сам рассказал, убили цепями, потом в среду мне Леня сказал повесили на цепях, и теперь передаю, как рассказал Леня, смеется — кто что говорит; и договорились, что завтра с утра зайдет за мной, раз мимо меня на автобус; и дал гитару — хочешь, говорит, пока? Иду учу по дороге его бой, завтра вместе в город.

Завтра пятница, проснулся часов в семь, он в начале десятого зайдет, сижу пока на крыльце с гитарой. Идет в белой рубашке, говорит, издали услышал по гитаре. Я захватил переводы, ничего, конечно, они ему не говорят, разговора в дороге нет, он и в автобусе слегка перебирает гитару, вначале оба стоим, потом я сижу, он стоит, на свободное место сесть не захотел. Дальше ему на свой автобус. Говорит, назад поедет, может быть сегодня вечером,

может быть, завтра утром; а ехал он в школу для математиков; я думаю — похвалиться хочет, чему научился; а может быть, не так представляю. Но договариваться созвониться, когда назад будет ехать, теперь нельзя, он слышал, как я уходя с дачи крикнул, в четыре вернусь; когда он, допустим, позвонит, получится для него, я нарочно его ждал неизвестно зачем. Может быть, он и не слышал, когда я сказал вернусь, или забыл; но уж нельзя, выйдет преднамеренно. А я со вчерашнего вечера рассчитывал и назад вместе. Пятница, день танцев; пятница, суббота, воскресенье. Вернулся в деревню и сразу к Сергею. Тут планы быть ближе к нему, чтобы когда я хожу с ними, Мише преждевременно не пришло в голову, и Сергею тоже, и Сергей обратил бы внимание Миши, что я хожу с ними из-за Миши. Прохладно, Сергей в плавках, а все гуляющие одеты, посматривают на него, я спрашиваю — не холодно, он смеется — я спортсмен. Разговора мало, молчание заполняю свистом; он крепкий, неказистый, но это я в среду отметил около Миши. Неловкости в разговоре, когда коснется бадминтона или тенниса; на мне в этот раз не было плавков, подходящий предлог не лезть в воду; но ведь я сам зашел за ним звать на речку, иду и думаю, придется купаться. Он еще взял ласты, хочешь, говорит, и ты в ластах попробуешь. Не доходя до купания, видим пьяный спортсмен бьет громко палкой по сосне, эй ты, приказывает, наступи на конец, но мы вдвоем, и у Сергея сложение борца; когда я не говоря ничего прошел мимо, спортсмен не прицепился, дальше, слышим, упал велосипед, он подставил палку мальчику лет пятнадцати, тот упал, поднял велосипед не огрызаясь, зная, что за это будет, а спортсмен веселится. А когда мы по этому крутому спуску сбегали, Сергей сказал — что же не разулся, в сандалии наберется; я отмечал про себя промахи; мне тоже надо бы в воду, ведь это я его и позвал, он дома с книжкой сидел, а я теперь не иду, говорю — так посижу; хотя, купаться пошли в ластах, а ласты одни, значит, он, потом я. Он еще звал на остров, но у меня память свежа, как я тогда устал; и там был подъем, а тут холодно; он думает, я как он, пусть без разрядов. Он сплавал на остров, потом и мне надо бы в воду, и я не знаю, так или не так: я ноги вначале от песка обмываю, чтобы ласты ему не выпачкать; на ходу вижу бессмыслицу, раз все равно в воду, но он мог не заметить или принять за привычку, и ему же семнадцать лет, а я столичный человек, может быть, так нужно. Трудно зайти в воду в ластах; а перед этим, забавно, Сергей сказал, в ластах больше всего тонут, говорит, надо идти спиной. Сергей еще окунулся, пошли назад под обрывом; а когда я за ним заходил, я был с сообщением, что Миша вернется сегодня вечером, или, верней всего, завтра утром. Идем низом, он рассказал, как в прошлом году в такую погоду — он заметил еще, когда мы шли туда над обрывом, что вода прибыла, или наоборот, убыла, по границе

островка напротив,— в эту погоду две девочки позвали нарочно моряка, знали, что он не плавает, хотели посмеяться; моряк не пошел, девочки пошли и утонули: когда вода прибывает, образуются водовороты. Еще рассказал, они с мальчиками, когда у пионеров был родительский день, плавали в лодке и нарочно, один нырнет, как будто что-то ищет, другой кричит — ну как? тот в ответ — не нашел, чтобы с берега их спросили — чего ищете? а они отвечают — утонул какой-то пионер. А здесь было два лагеря, и на следующий день в каждом лагере говорили про другой, что там утонул один пионер. И опять вернулись к убийству; я, чтобы разговор поддержать, начал про этот случай; не только, говорю, убили цепями, но и повесили на цепях; так слышал от соседского мальчика Лени, но Леня сказал, в двух километрах отсюда и ночью, а Сергей говорит днем, среди деревни. Я попал впросак, спросил а за что.— Как за что, как всегда, ни за что, пьяные были, и Сергей знает, кто. Двое мальчиков из города, и убили городского, семнадцати лет. Милиция не найдет. Дошли до него — до свидания; спросил, приду ли на танцы, договорились на десять часов. Вначале мы договаривались, на пути к речке, что я за Сергеем зайду, не помню, сказал я, что не знаю, где танцы; сейчас он хотел объяснить, я говорю, знаю, чтобы не было у него впечатления, что человек здесь живет и не знает, где танцы; и я мысленно знаю, по музыке. Вечером пошел только показаться; а дома хорошо, пироги поспевали в духовке. На танцплощадку пришел в разгар, и вижу, Миша приехал; в сером свитере, в котором ходит в холод,— о, приехал, когда?— да тогда-то, а ты когда (я)?— я днем. Сергей сказал, думал, что я не приду. Все возбуждены. А вокруг страшные подростки, ищут кого избить. С девушками надо шутить. Миша с Сергеем так и делают. Грустно от музыки, и что все веселятся, а ты не в жизни, они танцуют, ты нет, и в голове убийство. В кожаной куртке его двоюродная сестра лет четырнадцати, с ней жена, девочка, с которой он спал; может быть, сочиняет, хотя, год общежития. Сергей подталкивает меня — иди потанцуй, а то замерз, покажи, как надо в Москве. Разговор, искать им девочек или нет. Мальчики прыгают с мальчиками, Миша меня зовет — нет, говорю, Миша, так постою. Оторван от них, и от музыки грусть. Делаем вид, как будто интересно, как танцуют или как Миша играет; и подходящий повод, пришла одна Ольга с молодым человеком, я понял, это сестра, как будто нашел занятие, хочу послушать. Ее окружили, девочки, официантка Люся, Миша как у себя дома, и понятно, ему нужен такой друг как Сережа, за его спиной лучше. Но семейство — Миша, сестра, и двоюродная в кожаной куртке, сестра певица очень красивая, хотя лицо не Мишино, и сразу ее окружили, муж еврей красивый, правда не так. Но сами сестры и брат —! младшую двоюродную, тогда думал, она родная, почти не разглядел, но Оля

и Миша —. Что она сестра, сразу понял, когда уверенно запела. Тут Миша спрашивает того, кого я считаю ее мужем,— как тебя зовут? не для знакомства, с какой-то просьбой, тот назвался, Слава, и позже выясняется, Сергей сказал, что он не муж. А муж на соревнования уехал. Еще Сергей показал на двух преступного вида подростков — один из них убил, кого ищут и не найдут. Может быть, и не так, но картина — и эти принцы крови здесь, легко себя чувствуют, королевские дети среди разбойников не знают, кто они сами такие. Как Миша танцевал: конечно, он не умеет, но что он не стесняется, как пел вчера перед спортсменами. Сестра с любовником собрались уходить, еще думаю, будут спать дома при бабушке. Миша с Сергеем никого не ищут, это больше так говорилось. Втроем, Миша, Сережа, я, пошли лесом, народу много, в обнимку, под кустами. Один старик, даже и не старик, мне сказал, сорок семь лет, живой, идет со всеми, послушать и погреться с молодежью. Он помогает, послал ребят за дровами, подсмеивается над собой, что старик, а туда же со всеми, и они над ним посмеиваются беззлобно. Но он старше меня на девятнадцать лет, старик среди них и так себя и ведет, а я старше Миши тоже на двенадцать лет. Костер, хорошо, тепло стало, на земле сыро, я стоять устал, нашел полено, Миша с другом не устали, стоят. Я у Мишиных ног получаюсь. Миша отдал гитару до завтра, тут еще у кого-то гитара, старик веселится, и ничего, что старик хочет быть с молодыми как они. Один певец высоким почти детским жалобным голосом пел, сам с виду мальчик с маленьким лицом, голос слабый, пел напряженно на пределе высоты и с переливами, и песня длинная, сейчас, кажется, кончится, а он опять. Когда ему другие подпевали и чуть иначе, у него в припеве была синкопа, его нельзя было сбить, так он уверен был в своем пении. У него забрали гитару другие ребята, Миша с Сережей собрались домой. А во время пения я посматривал на Мишу и смеялся — как певец хорошо поет, и Мише мое мнение передалось; и вот, это на следующий день, когда я похвалил Мише сестру, а про певца сказал он ни на кого не похож, Миша потом о нем моими словами сказал. Они пошли, позвали меня, а мне в другую сторону, и если бы я пошел с ними, опять я провожаю Мишу, и если бы поднялся пошел домой, опять получилось бы, сидел, только пока был Миша,— и я сказал, еще посмотрю. Они отошли, я пошел тоже.

Суббота, хочу в поселок за сигаретами, еще думаю взять про запас, понедельник и вторник у них выходной; что завтра воскресенье, я забыл, думал, сегодня воскресенье. Его там не вижу, вижу Ольгу, сестру певицу, с младшей сестрой, вчера была в кожаной куртке; мелькнули в деревьях ограды. Опять этот путь до купания, нет; может; может быть, спит. И знаю, чего хочу; хочу достать денег выпить с ребятами. Все будет живее, и легче

поступки, а лишнее спишется на опьянение. Давно надо бы что-то выкинуть как-то завоевать. Сумку белую увезли, я спросил денег у Ани. Я раньше хотел с ними выпить, но продают в розлив, и пусть я буду весел слегка и попадусь им на глаза. Взял вина, свежий огурец заесть вкус, и на ступеньках сел смотреть, не пройдет ли мимо; нет. Допил, ухожу, ах, вот где я увидел Ольгу позади себя с сестрой у ограды; потому что оборачивался все время. И намеренье пойти к Ане просить еще денег, когда от этого опьянею, будет чуть-чуть, чувствую. У Ани подготовка, разговариваю, разговорить себя хочу, и таким пошел в столовую; полчаса до перерыва. У столовой тот Слава, любовник, киваем. И вот когда стоя пью на веранде, разгуливая, народу почти нет, в одной руке стакан в другой огурец, хорошо так на ходу, вот тут вижу, едет на велосипеде — не хочешь вина, спрашиваю, отказывается; долго ли, спрашивает, я вчера оставался, здесь и вспомнил певца в моих выражениях; и хочет на час пойти учить химию, он не сдал ее, один день был перерыв между химией и предыдущим экзаменом, многие не пошли сдавать; я, правда, уже мог сказать, упростилось,— ну, суббота, в субботу отдохни, он говорит все равно надо, зарок дал. Я напутал, это было при первом стакане, я просидел у Ани полчаса и полчаса дорога, потому что этот час он учил химию; а после второго стакана надеюсь его встретить на улице или на реке и Сергея зову составить компанию. Два стакана, правда, между ними час перерыва, на меня мало действовали; а денег, всего по стакану Сергею и мне. Но привезли пиво; я занял за Славой любовником, он модник и не побрит с умыслом, помнит, конечно, как я сидел с ними на танцах, когда Ольга пела и внимательно слушал. А здесь я в ботинках и совсем другое ощущение телу. Слава, Миша его так называл, мы пока не знакомы, мне по виду ровесник и по манерам видно, круг ближе, чем хоть Сергей, относительно. Слава начал с другим человеком из очереди разгружать ящики с пивом, я тоже помог и Сергей, перед носом продавец закрыла окна на пересчет, вам, говорит, мальчики, отпущу; а за мной человек просит ему тоже, я дал рубль Славе взять на меня, сам отошел пока попросить у Люси стаканы, тоже мне ново назвать ее на ты, как все посетители просто с официантками или кассирами, она сидит в кассе. Взял бутылки от Славы и вижу Мишу на улице; показал ему на Сережу — здесь Сережа, иди к нам. Пива не хочет, не любит, говорит, горькое. Мы выпили с Сережей, а со дна Миша допил. Совсем мальчик домашний, он и когда отказывался, сказал, стакана нет, а все равно, можно из одного, он, возможно, даже сообразил, что не так сказал. Химию он этот час не учил, возился с велосипедом, пойдет учить сейчас. Мы его отговариваем, кажется, решил не учить, но зайдет по делу домой, потом нас найдет. Потом мы с Сергеем позади ограды шагах в тридцати от Миши, через

кусты не видно. Сергей полез на черемуху, сказал, тут еще дикая малина; я лежу на земле, недалеко за кустами пьяный давно лежал и женщина проходила, спрашивала, не наш ли друг.

Раз я в траве, то и он наш знакомый. Вскоре условленный свист, Миша. Когда Миша шел, он видел только Сережу на дереве, спросил его обо мне. Втроем недолго, потом не могу вспомнить как расстаемся; мы ведь еще идем в сторону купания, где теннисный столик у палаток, там они станут играть с большим счетом в пользу Сергея, а по дороге я вспомнил про Ольгу, сестру, мне нужно Мише через нее сказать, как он красив. Их партия в теннис, я как будто слежу на траве, ничего не разбираю и мысли текут о Мише; только слышу из разговора, что счет двадцать к трем, почти совсем сухую в пользу Сергея. Подобрал, в траве валялись погнувшиеся шарики, не помню, Сергей или Миша спросил — что, жечь собираешься? Они любят их жечь, Миша подсел зажег, и они горели хорошо. Я не вспомню, как расстаемся; как обычно, идем втроем, Сергей свернул к себе, а мы с Мишей дальше до нашей развилки; но вот: к теннисному столу пошли, там спортсмены и тот, кому Миша оставил вчера гитару, сейчас ходили гитару забрать и спортсмена не было. Еще Сергей рассказал, когда шли втроем, как в прошлом году однажды нечего было курить и они с Мишей видят здесь в окне блок сигарет. Миша надавил, стекло треснуло, а дело было среди дня, я еще спросил, разве рука так не поранится, они сказали нет, как нажимать, они вытащили осколки, Миша тонкий, пролез, Сергей на страже слышит Миша в домике смеется, оказывается, он коробки открыл, а там во всех гвозди. Еще, когда с Мишей вдвоем идем, он сказал у него одна сестренка умерла до его рождения, я говорю, хорошо, иначе родители не позаботились бы тебя произвести, и у меня та же история. Значит, игра, жгли шарики, эти рассказы, расходимся как не помню, здесь выпало место и дальше слепое пятно. Дома наши вернулись, вот где я надел ботинки, я просил привезти; но что там ходил хорошо по веранде с вином в одной руке с огурцом в другой и присаживался за пустой стол, это так. Нет слепого пятна, потому что точно с Мишей до развилки доходили; расставаясь, я сказал — ну, на танцах встретимся, а он говорит приходи раньше. Значит, иду, до танцев далеко, светло пока, путь до теннисного стола, не вижу, иду назад, поляна где волейбол, здесь и решила судьба этой вещи. Еще думал лучше, чтобы ребята меня здесь застали, но их нет, зашел к Сергею рядом с поляной, он в рубашке, встречаем Мишу или заходим, или Сергей свистом; заходим, был такой случай, заходили вдвоем, я зашел, Сергей стоял рядом, Миша с гитарой, прошли немного, он сказал я пойду гитару оставляю, еще Сергей его отговаривал, а он пошел, потом Миша нас нагнал и Сергей в моем пиджаке до колен, и он спросил Мишу, как ему

пиджак; на танцы рано, но все равно пошли, уже скоро. И совсем по другому танцы, так немного надо, и уже свой. Мы пришли, никого не было, и для тех, кто подходит, мы первые; а по дороге у них разговор, что всегда, когда им на танцы, их встречает одна пластинка, а сегодня встретила другая, смеются, Сергея в моем пиджаке не узнали. Сидим, подходит народ, и подходит Ольга с этим Славой и еще каким-то приятелем и двоюродной сестрой четырнадцати лет, все знакомо, и сестра садится со мной, явно, я ее занимаю, у нас нечего курить, и этот Слава находит нам сигареты, Ольга, покурив, каждый раз делится со мной, а потанцевав, садится рядом; и ясно, разузнала обо мне у Миши. Я попросил спеть, поет, глядит мне в глаза; затем разговоры молодых людей, Славы с приятелем, и перебрасывания названиями книг не к месту, но это знакомый круг людей. И эти ботинки с опорой ноге, и что я присмотрелся, как здесь танцуют,— пошли с Ольгой танцевать. Она только и ждала, когда приглашу. Еще я ей сказал,— когда заиграют в ритме — а уверенность у меня появилась, когда мы перед этим втроем стояли, Сергей с Мишей и я, я без пиджака мерз, и чтобы сдержать дрожь, больше от возбуждения, я вспомнил надо напрячься и кровь побежит скорей,— так вот, Миша коленями перебирал в музыку просто так, я от нечего делать начал тоже, и Сергей, он все время просил показать, как там в Москве танцуют, потому что все время ждал от меня что-нибудь, сразу обратил внимание и даже сказал — смотри, Миша, как хорошо; я отчетливо перенял от возбуждения его перебор; и вот он у меня остался в ногах, я все время его про себя держал, и в плече; я сказал Ольге — что-нибудь в ритме начнется, мы с тобой пойдем; правда, я не мог понять, то или не то начинают, вступления дают медленные, а потом переход в шейк; а пока я раздумываю, Ольгу уже пригласят. Во время одного вступления Ольга протягивает в мою сторону папиросу, я подумал, дает докурить, а она хочет сбросить ее, а руку протягивает позвать на танец; еще я назвал остаток папиросы чинариком, они не поняли — что? и изумленно смотрят, смеются; у них говорится бычок; но им понравилось, столичный житель, и слова у него другие. Мы с Ольгой танцуем и я свободно, а когда танцевали медленное до этого, когда просто переступают с ноги на ногу, я ей сказал, что ей лучше бросить все и ехать в Москву петь. Она, правда, сказала — какая я певица, и зря, не вязалось с ее уверенностью и азартом. Она при удачных обстоятельствах могла бы быть в звездах, и сразу окружают мальчики-приятели и совсем маленькие другие девочки, с восхищением смотрят на такие прихоти и огонь. А Слава, возможно, и не любовник, ей нужно проверенное окружение производить эффект, Сережа с Мишей, конечно, не уловили. Это Миша сказал Сергею, что любовник, а Сергей засмеялся — только муж уехал на соревнования. Любов-

ник или нет, ей прежде нужны знакомые, чтобы могли восхищаться ею, а через них и незнакомым передастся. Потом Ольга, этот Слава, второй приятель, двоюродная маленькая сестренка хотят идти, Ольга спрашивает меня — вы нас проводите? и по дороге то обнимется со Славой евреем, то с приятелем, игра, и для двоюродной сестренки, и взгляд на меня, чтобы не отставал, а я без вина не переступлю грань. То меня под руку возьмет, боится оступиться, то подбежит к еврею Славе, поцелует, или просит приятеля, чтобы он ее целовал. А молодые люди отвечали так: приятель, его звали Шурик, просит, чтобы его поцеловала маленькая сестра и показывает, как ему сладко, потом его поцелует Ольга, он нарочно сплюнет после нее, и все смеются. Дошли до палаток, с нами шла Люся, в каске в столовой сидит, и мы с ней вальс танцевали, а она так серьезно сказала — лучше меня придержи-вай, когда закружимся, я руку отпущу; эта Люся плакала в начале вечера, а Ольга отводила ее, что-то говорила как девочке, утешала, и видно было, что Ольге нравилась такая роль. Дошли мы до палаток, до маленькой на двух человек палатки, где, оказывается, расположились Слава еврей с этим Шуриком, а Ольга пойдет к бабушке и все. У палатки продолжился Ольгин концерт. Она пела много из Пиковой Дамы за всех героев и за оркестр; и видно, что все дети из состоятельных семей. И вот этот Шурик, приятель, говорит лежа у Ольги на коленях — Ольга, когда такая-то девочка узнала, кто я такой? О боже мой, так вот он кто. И по голосу видно. А Слава еврей не похож. Совсем другая картина в сравнении со вчерашней. Ольгу все время зовут, пойдем домой, мне поздно, эта Люся, и не дождавшись пошла через лес, никто не встал ее проводить. Ольга с маленькой сестренкой тоже поднялась идти, а вы пойдете, Ольга меня спросила, на вы, — я рядом сидел, ни разу не обнял ее, не взял за руку, и потом по дороге. На прощание пригласила завтра к палатке. Я от нее прошел проверить друзей и заблудился, громко зову — Слава, не слышат, и вижу, палатка, они на второй раз откликнулись, а я в первый раз звал в двух шагах; когда мы прощались с ними, когда я пошел с Ольгой и двоюродной сестренкой, Слава весело сказал: нам с Шуриком тоже пора спать, будем любить друг друга; может быть, он в шутку сказал, — я думал, они еще не легли, посижу, послушаю разговоры, они держались учтиво, интересовались, что в Москве; но я их нашел, а Слава говорит из палатки — а мы уже спим, ты дорогу найдешь? — А, спите? да-да, конечно; так и ушел.

В воскресенье с утра дождь впервые за это время. Опять не найду палатку, а звать громко не хочется; пошел к домику, открывают, бабушка лепешки печет, Миша провел в комнатку, накурено, сидят все четверо, Ольга с двумя молодыми людьми в карты играют, и двоюродная сестренка в кровати. Я еще с ночи придумал занять их стихами, как император содрогался и близился его

конец и не сводя с Авроры глаза себя в руках держал боец, как будто вчера им приготовил; посмеялись. Ночью я строил планы, как Ольга в Москву устраиваться поедет и Мишу уговорю, договор о зиме на каникулы само собой. Приходит маленькая сестричка, родная, много Мишиного, обещает быть красивой, зубки съедены конфетами; Ольга стала ее целовать приговаривать, как она любит братьев и сестер — красивые, говорит, они у меня? Тут и Слава еврей спрашивает меня, не поехать ли ему поступать в Москву. А вчера, когда Олю провожал, она сказала, что Слава журналист, а Саша учится на врача. Слава, значит, не учился на журналиста, так в газете подвизается; но тоже, вижу, моложе меня и на семь лет; а по виду ровесник. Но готовый журналист, в курсе всего, что делается на свете, все по верхам. Миша стал мне показывать книги, химию, еще научное о натяжении жидкостей, начал об их достоинствах. И тут новый поворот картины. Ольга назвала их фамилию, и как все тесно: это же их отец профессор, и как все приблизилось, были неведомые дети, я их бабушке за занавеску громко сказал, вот как мы через родителей знакомы, чтобы одобрительней относилась, когда захожу за Мишей. А отец Лев Моисеевич; я Мишу спрашиваю — как же ты о евреях говоришь как-то со стороны, а Миша объяснил — отец не еврей, он русский, только на четверть еврей, но мне все равно, я не разбираю евреи или русские: значит, у них мама русская, а отец, я потом узнал, русский наполовину, а наполовину еврей. Они собираются в город, Миша тоже. Миша хочет на три дня ехать с химией, и я с ними. У Ольги дома муж, соберемся у одного из друзей, у Саши медика. Бабушка из-за занавески Мише сказала, чтобы он не ездил, ну, действует наоборот. Еще по дороге он скажет жестокие слова — надоели мне дедушка с бабушкой, хоть бы умерли скорей. Я предложил по дороге к автобусу небольшой крюк ко мне, я перекусить хочу, а они здесь отказались, когда бабушка предлагала. А дома, когда я их рассадил с чаем и мне некуда сесть, Слава или Саша хотели стул высвободить из-под чашек, я отказался, сел на пол, и Миша сказал — пускай, так ему лучше; и мне сказал — я заметил, ты так любишь сидеть; и сам точно так же сел. Они по дороге передумали собираться сегодня. Слава тогда предложил, может быть, мне стоит вернуться, завтра к их обеду приехать. Я сказал нет, поеду, дела в городе, и то с Ольгой иду, то все же с Мишей, раз все равно приятели с нею обнимаются, а идти далеко, сорок шестой прошел на наших глазах, мы пошли на двадцать шестой. На конечной стоянке там была большая лужа, в середине пень, я перебрался на пень, Миша встал с краю лужи, а остальные пошли к скамейке. Мне бы надо пойти к ним, ясно, что Миша не будет долго стоять с краю лужи и мы тогда бы рядом с ним там сидели; но вот Миша пошел к скамейке и сел с ними, а мне уж поздно к ним идти, они отметили бы, что

пришел за Мишей. Так и сидел отдельно до автобуса. В автобус набралось много народу, я так угадал, чтобы с Ольгой места не было, она с двумя приятелями, а мы с Мишей вперед сели вдвоем. Вдруг он забеспокоился, сумку оставил, автобус еще не тронулся, а в сумке там редкая переводная химия. Он стал пробираться к выходу, я держу место, боюсь, как бы не заняли и автобус не тронулся, двоюродная сестренка кричит из-за пассажиров — Миша, нашлась сумка; Миша вернулся и мы поехали. Я предложил давай отвернемся к окну, чтобы мест не уступать, а Миша говорит — я не могу, всегда уступаю; я еще не расслышал — не уступаешь? Он говорит — наоборот, уступаю; и я говорю — ну и конечно, правильно делаешь. А ему предлагал, думал, ему понравится. Но около нас пожилых не было. Ближе к городу меньше народа стало в проходе, я иногда оглядывался на Ольгу, чтобы не почувствовала, что я с Мишей сел и мне ничего не нужно. Приехали, выходим втроем, Ольга, Миша и я, приятелям дальше. Миша меня перед выходом спросил — ты дальше едешь? мне лучше дальше, я сказал — да нет, выйду с вами, пройду. Возможно, Миша думал, я из-за Ольги. Вышли втроем и не знаю, как с ней разговаривать, она все что-то ждет от меня, ничего не поймет; ну, отменилось сегодня, и думаю, спишет мое молчание на то, что ей к мужу, с приятелями по дороге обнималась и меня это омрачило. Так тягостно дошли до их остановки, пойду, говорю; завтра с утра съезжу в деревню, к вечеру к сбору вернусь; хотя, думал, и не надо возвращаться, так лучше, чем прийти к ним и молчать. А когда мы в деревне к автобусу шли, Ольга сказала я вам позвоню в городе, и я ей свой телефон сказал, она повторяла, а медик Саша, у кого собираемся, мне свой телефон начертил на дороге, показал, как запомнить, симметричные цифры по бокам, — так сейчас прощаясь мой телефон не вспомнила. Я из дома ей решил позвонить в опьянении, чтобы она поняла, что я пил, и без вина я бы не знал, что сказать. Позвонил, Ольга, давайте сегодня увидимся; она говорит нельзя, у меня Аркаша дома, до завтра. Я набрал еще раза четыре, и то никто не подходит, то другой голос говорит нет дома, то вы не туда попали; я дальше прямо Мишу спрашивал, как будто через него хочу позвать Ольгу, так и он и Ольга могли бы подумать.

На следующий день, понедельник, приехал в деревню поздно, если к вечеру опять в город. Ясно, Мишу они с собой не возьмут. Для Ольги он младший брат, и гораздо младше, чем для меня. И вижу, погода переменялась окончательно, впервые за все время, и беспросветно. Я собираюсь к Мише в домик за гитарой, я у него вчера просил на эти два-три дня поучиться, пока он в городе, он с собой не брал, чтобы не мешала заниматься. И вдруг вижу его спину в сером свитере, он идет от домика вглубь, значит, он вернулся, но

одновременно я увидел и уже начал спрашивать в открытую дверь — можно? Дедушка его ответил — да-да, Аркадий? думал, муж Ольги; видит меня — в чем дело? Мне, говорю, Мишу; уже вижу, где Миша, но поздно, уже спросил; Миша, говорит, грузит вещи в машину и они сейчас уезжают. Я нагоняю Мишу, он как раз с другими вещами гитару несет — все, говорю, уже знаю, а я приходил, как у тебя просил, взять гитару. Машина синяя за заборчиком и там отец; и я для отца впервые приятель его детей; здороваясь, он отвечает сухо — здравствуйте — и поворачивается к багажнику. А всегда здоровался доброжелательно с улыбкой. Он идет к домику, Миша говорит они забирают все вещи и уезжают, потому что погода вот так переменялась, меня еще спрашивает не холодно мне; дождик льет, хотя как раз в этот момент не сильно. Я говорю — так все; он говорит — да нет, может быть, вернемся, но понятно, погода переменялась совсем, и ей давно полагалось, и ведь это и подготавливалось в последние дни, а вчерашний дождь был началом. И как-то еще понятно, и раньше было понятно, но здесь наглядно, что Миша еще ребенок, он ничего не решает, все взрослые, вот как отец с Мишей разговаривает, ведь для отца нет Антиной одного на сто тысяч мальчиков, а просто шестнадцатилетний сын, с которым надо построже. Я говорю Мише — как отец со мной поздоровался сухо; а Миша говорит он торопится просто; я и сам вижу, что торопится, но нет, мне ничего никогда не кажется. Не знаю, бабушка с дедушкой сказали ему, что Ольга эти два дня провела с молодыми людьми и приходила домой в два часа ночи и что я был вчера, я же назвался и бабушка это связала со мной, и может быть, эти вчерашние звонки, может быть, он слышал, что Ольге звонят, И Мише тоже, и настойчиво, четыре раза, конечно, ему неизвестно кто, но я оказался в числе тех молодых людей, с кем Ольга проводила время, это-то ему бабушка сказала, она меня теперь знает, и что вот я к Мише пришел, нашел себе друга шестнадцати лет; может быть, этого было и вполтину меньше, но все же все это мне в этом его здравствуйте показалось. Пока мы с Мишей стоим, отец несет вещи к забору со стороны домика, там просит Мишу принять, так раза два, я каждый раз как будто хочу подойти помочь, но Миша опережает; не как будто хочу, а выходит как будто. И вот еще: я Мише говорю, что я здесь потому, что думал гитару взять, чтобы он не чувствовал проводов, так он протягивает мне гитару, — на; чтобы я поиграл, пока они грузятся. Мишенька. Потом, например, вышла бабушка, и так получается, что я не смог с ней поздороваться, она на таком расстоянии, что для того, чтобы услышала, надо было громко и вышло бы слишком нелепо мое старание; но кажется, она и нарочно не смотрит в мою сторону, и у нее ко мне особое отношение, может быть, после того, как она отцу рассказала про Ольгу, и хоть вчера со мной

разговаривала, сегодня уже дело другое, у них с отцом теперь отношение новое. Они, конечно, торопятся, но все же; потом мы наедине с маленькой сестренкой, у которой зубы съедены конфетами, все отошли за вещами, я, чтобы не молчать, улыбнулся ей, заинтересовался какой-то медалью, и надпись читаю Будни-Радости; оказывается, Будни-Радуга, все равно непонятно; говорит, она чемпионка здесь, детские соревнования, бегала что ли; я ничего не понимаю, улыбаюсь ей, Миша подходит с вещами — вот, говорит, она у нас чемпионка. — Да я уже знаю. — Нахвасталась, на нее посмотрел. — Да нет, это я у нее спросил, откуда медаль; и еще остаюсь с Мишей недолго; или это до этого, раз бабушка прошла; он спрашивает — ты телефон мой знаешь? я говорю — знаю; Миша, говорю, ты лучше сам позвони, нечем записать? — Бумага есть, карандаша нет; — Ну, посмотришь в телефонной книге; он математик, надо бы сказать, он бы запомнил. Еще думаю, надо сказать, что я вчера звонил, он наверняка был дома и слышал все звонки; может быть, и не слышал, но все равно, выяснится, — вот, говорю, вчера звонил вам, только пьяный был, Ольгу спрашивал, потом тебя. — Пьяный был? — он переспросил так, наверное, знает об этих звонках, и ему объяснилась нелепость четырех или пяти звонков подряд; а может быть, так спросил. Они садятся, отец говорит, правда, не глядя в мою сторону — до свидания; я говорю до свидания, с большим почтением, и стою смотрю, как поедут. Миша на переднем сиденье с отцом, машина долго разворачивается, я еще думаю, зря иду домой, им по дороге мимо ехать, эта фигура под дождем, ясно, иду домой и только к Мише приходил, не стоило бы, уж очень печально будет, но повернуть поздно, а хорошо бы, что я от машины в другую сторону, как будто обедать шел, но машина, вижу, разворачивается, чтобы выехать назад за забор, по дачной дороге, так не попадусь. Еще, когда мы с Мишей разговаривали, он спросил, поеду ли в город сегодня, я говорю наверное, поеду, сегодня договаривались встретиться с ребятами, не знаю, ехать, нет. Он говорит, Аркадий не хочет идти. И когда они отъехали, я пошел тоже по их дороге к автобусу, опять сорок шестой прошел на моих глазах, и как вчера я пошел к двадцать шестому на дальнюю стоянку. Встреча вечером отменилась, я позвонил Саше, он сказал Ольга не приедет, из-за мужа, значит; и я просто так спросил, где как встретиться, не собираясь к ним.

Мы не виделись неделю, он, конечно, не звонил, я, пока занимался, тоже старался не звонить, чтобы ничего не менять из того, что вышло; и другое, я думал, позвонить можно будет только после того, как все закончу, и все письмо будет оттяжкой и средством удержаться от излишней поспешности. Я позвонил два раза и за это время, но один раз, кажется, никого не было, а один раз сказали Миши нет дома, может быть, что-нибудь передать?

я сказал нет, спасибо, позвоню еще; когда же положил трубку, понял, что была Ольга и она мой голос узнала, для того и спросила с заминкой — может быть, что-нибудь передать; чтобы разговор продолжить. Но я сразу не понял и разговора не продолжил, теперь было поздно. А не понял я, я звонил в первой половине дня, она в это время, я думал, на работе. Но я письмом удержал себя на неделю от действий, теперь звоню прошу Мишу, и женский голос, не Ольга, не старый голос, не бабушка, мама, думаю, ответила, мне показалось,— сейчас; отошла звать Мишу, и тут же повесили трубку. Мне от нетерпения уже все равно, я снова набрал. Опять мама подошла и сказала — Миши нет, я ответила, кто его просит? Я назвал, объяснил, что в первый раз не расслышал и показалось, вы пошли его звать. Нет, говорит, я так вам и ответила, что его нет. Я правильно сделал, что перезвонил, а то так бы и думал, что нарочно повесили трубку, и может быть, он даже сам так попросил. А этот день пятница, день танцев, и хорошая погода, думаю, он в деревне. Я скорей туда, к домику — все закрыто, занавески спущены, только банка пустая от чая на подоконнике с той стороны и у двери старые ботинки, и щетка на длинной палке. Все как было, когда они уехали. Я в эти три дня один раз приезжал сюда и видел эту картину, значит, он еще не приезжал. И завтра в субботу Миша не приехал, и в воскресенье не приехал тоже. В понедельник рано утром я, конечно, в городе, звоню ему, дождался десяти утра. Раньше может спать, позже уйдет. В первый раз никто не подошел. Во второй раз подошел сам, еще думаю, первые звонки услышал сквозь сон, и может быть связал, что это я звонил, но все равно. Когда, говорю, в деревню едешь?— Да вот, завтра, или вернее всего, послезавтра, в среду. Я говорю — сейчас буду в твоём районе, надо по делу, выходи на улицу, если ничего не собираешься делать. Ладно, говорит, буду во дворе, объяснил, какой дом, назвал номер и приметы. Я говорю, буду минут через сорок на обратном пути. На пути туда зашел к нему во двор, хорошо бы, думаю, вместе с ним пройти по моему поручению, так бы наглядней было, что я в его районе по делам. Но его нет, я пошел ключи взял, опять к нему, и он свистом окликает со второго этажа. А за эту неделю, ровно неделю не виделись, я, закрывая глаза, не мог в точности его представить, вдруг он стал у меня расплываться, и теперь я его увидел как после большой разлуки. Выходит, говорит — Аркадия видел? как раз за тобой шел; муж Ольги. Нет, говорю, и про себя пожалел, что не обратил внимания, интересно посмотреть, что за муж у Ольги. В кино, спрашивает, пойдем? Да, говорю, только давай лучше в центр; ну как, спрашиваю, твоя химия, выучил? то есть освободился или нет;— нет, говорит, не садился, вчера ездил на дачу, где Ольга с Аркадием, и как там веселей, чем у нас, а в деревне скучно; что там что дачных домиков, а где он был, тысяча. То, что было мне

многолюдной жизнью, ему глухой угол. Стал вспоминать, какие в городе фильмы, этот видел, вот, кажется, Опротечивый брак, можно пойти. В автобусе разговора нет, выходим, пошли ко мне. Ты иди, говорит, я подожду. У них принято видется на улице, и вся жизнь на улице подальше от глаз родителей, потому так хотят в общежитие или в Москву уехать учиться. Все же зашли ко мне, посмотрели расписание в газете, и в основном идет то, что он видел, а что не видел, неудобно, часа два до начала, я боюсь, он раздумает, и когда вышли, сказал, что газета воскресная, а в понедельник меняют программу, хотя наверняка знаю, смена программы там тоже была, и ее он и читал. Все хорошо, только он по дороге звонит из автомата предупредить о себе, еще ни у меня ни у него монеты не было и он хотел звонить без монеты, предложил зайти в будку посмотреть его способ; жаль, автомат, не работал, и я не послушал, как и с кем бы он дома говорил; когда разменяли, идти с ним в исправный автомат уже неуместно. Еще он рассказал по дороге, у Аркадия, муж Ольги, крест в ладонь величиной на цепи до пояса из чистого золота, он взял у своей бабушки, у нее много драгоценностей и живет одна в большой квартире, никто, мол, не догадается ее обокрасть; и в нашей картине опять золото, человек потонул в рюкзаке с золотом, у старухи золотые запасы в бутылках, и он ее хотел обокрасть. Но вот Аркадий мог занять его такой редкой вещью. И за час до сеанса и после, когда гуляли по центру, ясно, что я ничем его не займу, ничего не знаю, и приятельству совсем не на чем держаться. Незачем ему было звонить мне, у него полно удовольствий, а что я ему предложу. Вот они с приятелем ехали на Яве, перевернулись в кювет, потому что асфальтовая дорога внезапно переходила в песчаную, и многие кувыркались так же, а до них даже кто-то насмерть разбился. Я ему на Яве не предложу покататься. В среду или даже во вторник он сказал, приедет в деревню, и я не сделал того, о чем всю неделю думал, записать ему московский адрес, и у меня не было карандаша и бумаги, и если бы я у него попросил, у него точно бы не оказалось, он был в рубашке, приглашение повисло бы в воздухе, пришлось бы в другой раз повторять. А надо в один раз, неназойливо. Я с утра выходил из дому, помнил, что нет с собой карандаша, но думал, возьму предусмотрительно, и за расчетливость буду наказан, не дозвонюсь. Все, как в первый день — стоит на пригорке совсем незнакомый мальчик редкой красоты на гитаре играет, я для него просто прохожий, и ему наше знакомство ни к чему, ничего для него нет в моих поступках и разговорах, как бы я ни приноравливался.

Во вторник еду в деревню, он сказал, приедет во вторник или в среду. Теперь только бы дать ему адрес, иначе нить упущена навсегда. В домике по-прежнему, спущенные занавески, банка чая с той стороны, щетка на

длинной палке и старые башмаки у входа. Это я зашел часов в семь вечера, потом еще заходил, осталась среда. В среду с утра заходил, и днем, и вечером часов в восемь, вечером дошел до Сергея, он выглянул в возбуждении, я говорю, обедаю, ко мне друг приехал, сейчас пойдем на поляну в бадминтон играть; даже, пожалуй, в смущении, что я зашел, а он не составит мне компанию в прогулке. Я пошел назад под обрывом, чтобы он не видел, что домой иду и только к нему заходил, прошла среда, Миша уже не придет. А завтра я на всякий случай пошел взглянуть в его домик. И вот от забора вижу его черное окно, а оно было белым из-за занавески, я даже глазам не поверил, подошел ближе — ни щетки, ни ботинок, ни банки с чаем, у меня сердце забилось, подумал, приехал, спит еще, или в домике кто-нибудь из родных, а он гуляет, я заглянул в окна — никого нет, все уехали насовсем, сезон закончился, в домике пусто и все видно из окна в окно. Значит, вчера, когда я поленился поздно пойти вечером, он был здесь, может быть, сегодня утром уехали, с отцом, машиной, раз ни занавесок ни матрацев, не в руках же он повез. Значит, они насовсем уехали, и адрес не смогу записать, звонить предлагать нельзя, произведет только обратное действие. И три дня осталось до моего отъезда, а они сюда не придут. И вот ведь, опять как в то прощание после солнечных дней лил дождь, как будто нарочно для грусти — после того прощания все дни было солнечно, в понедельник, когда в кино ходили, жарко было, а тут дождь и я один стою, народу нет в поселке, не попрятались даже, совсем разъехались. Когда мы с Мишей раньше здесь проходили, был один пустой домик, я всегда смотрелся в стекло, и Миша тоже останавливался посмотреться, я думал, в такое темное зеркало не так видны двенадцать лет нашей разницы. В такое черное зеркало не так видны тринадцать лет разницы. Так теперь, я подумал, тот домик был предвестник. Во всех них живут только до осени, все станут пустыми по очереди, а теперь пришла очередь Мишиного домика. Я еще прошелся по всей дачной улице, до самого их купания, даже надежда недолго была вдруг он здесь. Вчера почти все равно было, а сегодня, из-за того, что так нелепо упустил, ходил-ходил, а когда он приехал, упустил, сегодня опять как тогда. Вечером в городе опять напоминание: один молодой человек вызывал с балкона приятеля точно тем же свистом, как Миша и Сергей, из какой-то известной им западной песни позывные.

Лев РУБИНШТЕЙН

ШЕСТИКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ

1984

-
1. И ангелы бывают разные.
-
2. Ну и семейка!
-
3. Серьезный разговор.
-
4. Серьезный разговор (продолжение).
-
5. Да или нет?
-
6. Георгий Назарыч.
-
7. Тревога не бывает напрасной.
-
8. Долгие провода — лишние слезы.
-
9. Непредвиденные обстоятельства.
-

10. В Москве.

11. Вот это встреча!

12. Перстами легкими как сон...

13. Попытка не пытка.

14. Да и вы не Пушкин.

15. Опять проклятые вопросы.

16. Тень отца Гамлета.

17. Прощай, свободная стихия.

18. Отец.

19. Новое лицо.

20. Сенька-Самурай.

21. Приливы и отливы.

22. Есть шанс.

23. Так близко и так далеко.

24. Ночной переполох.

25. На кладбище.

-
26. Песня без слов.
-
-
27. Запутался, совсем запутался.
-
-
28. Пусть он уйдет.
-
-
29. Перемирие.
-
-
30. Смотри откуда посмотреть.
-
-
31. Еще одно испытание.
-
-
32. Потею, сил моих нет!
-
-
33. Неудачное сватовство или любовь к кукурузным палочкам.
-
-
34. Сто восемьдесят на девяносто.
-
-
35. Мама! Он пришел!
-
-
36. Не уходи — мне страшно.
-
-
37. Еще трое — и все с засученными рукавами.
-
-
38. И утро не принесло облегчения.
-
-
39. Рассказ лодочника.
-
-
40. Рассказ лодочника (продолжение).
-

41. И смех, и грех (Окончание рас-
сказа лодочника).

42. Не удивляйтесь, это я.

43. Как пробиться в одиночку?

44. Сын своих родителей.

45. Намечаются перемены.

46. Что с нами со всеми будет?

47. Если сможешь, забудь.

48. Vox clamantis in deserto.

49. Человек с секретом.

50. Лёвушка, иди к нам!

51. Ожидание.

52. По самому краю.

53. Разлука ты, разлука.

54. Вполне обычный визит.

55. Ничего, кроме усталости.

-
56. Опять мимо!
-
-
57. О неприятном — потом.
-
-
58. Чудак-человек.
-
-
59. Миша, ужин на столе.
-
-
60. Внезапные откровения Игоря Андреевича.
-
-
61. Что сделано, то сделано.
-
-
62. Устройте так, чтобы я его больше не видел.
-
-
63. Томление духа или погоня за ветром.
-
-
64. Снова реплики и умолчания.
-
-
65. Снова бессонница и тревога.
-
-
66. Заманчивое предложение.
-
-
67. От пятницы до воскресенья.
-
-
68. Нет, вы уж теперь, пожалуйста, помолчите.
-
-
69. Одно неприятное поручение.
-
-

70. Александр Маркович, а мы к
Вам!

71. Вечер телефонных звонков.

72. Нас счастье ищет, а найти не
может.

73. Жан-Пьер делает выбор.

74. Алексеев волновался не зря.

75. Анна Арнольдовна предостере-
гает.

76. И в Париже люди живут.

77. И хочется, и колется...

78. Не провожайте, мне не далеко.

79. Неужели наступит лето?

80. Вопрос лишь в том, кто выпил
молоко.

81. Крадемся на кошачьих лапах,
распространяя трупный запах.

82. Не по чину берешь, Розвальнев.

83. Дедушке стало хуже.

-
84. Поэзия — она, брат, повсюду.
-
-
85. Не то свадьба, не то поминки.
-
-
86. Ох уж эти противоречия.
-
-
87. Пока сам не убедишься, помалкивай.
-
-
88. Устами младенца.
-
-
89. Мисюсь, не Мисюсь — но что-то есть.
-
-
90. Как будто ветер с четырех сторон.
-
-
91. Не уследишь — обязательно вляпается.
-
-
92. Есть много, друг Гораций, различных ситуаций.
-
-
93. В этом же месте и в это же время.
-
-
94. И виждь, и внемли.
-
-
95. — Неправда, Вы не любите и никогда не любили его, — неожиданно произнес всё это время молчавший Кузьмин, — Вы

выдумали это, чтобы только мучить и себя, и его . . .

96. — Катитесь вы все с вашими утешениями знаете куда!— вспыхнула Надя, и было видно, что вся горечь и боль, всё страшное напряжение последних дней . . .

97. — Вам некуда торопиться. Вас там ждут меньше всего, можете мне поверить.— Микки встал, закурил, подошел к окну, не оборачиваясь, повторил:— Вам некуда торопиться.

98. — Олег, я давно ищу случая поговорить с тобой. Скажи мне, что произошло? Ты стал какой-то . . . Ну, какой-то . . . Не знаю — какой-то не такой.

О чём ты всё время думаешь?

Я всё время ловлю себя на ощущении, что вот ты здесь, и тебя нет.

Что с тобой? Я измучилась. Я теряюсь в догадках. Ты что-то от меня скрываешь. Ты думаешь, я не вижу?

Что случилось? Ну что случилось?

Света подошла к нему вплотную, положила руки ему на плечи, заглянула в глаза.

99. — Пацаны! Айда раков ловить!— звонко закричал Вадька, самый младший из Веденяпиных.

— Хорош орать-то! Не видишь, что ли?— строго осадил его рассудительный Славик, который хотя и был всего на полтора года старше брата, но уже чувствовал себя взрослым и степенным мужиком и хозяином в доме.

100. — Верк, а Верк!

— Ну чего тебе?

— Верк, давай, а?

— Вот дурак-то!

— А чего, Верк?

— Да отстань ты. Не видишь что ли — все руки в мыле?

Вера отвернулась, пряча улыбку.

— Вот дурак-то,— ласково повторила она. Но уже тихо.

101. — А не потрафишь чем — опять ногой в зубы. Всё тело, бывало, исщиплет. Озорная была, царствие ей небесное. Баба Катя перекрестилась, захотела еще что-то добавить, но передумала и надолго замолчала.

102. Через несколько дней между нами установился тот особый уровень взаимопонимания, когда и вопросы казались излишними, и молчание казалось многозначным и нисколько не тягостным.

103. Невольно вскрикнув от внезапной боли, Он повернулся на спину, затих . . .

И всё вокруг затихло. Тишину
Ничто не нарушало, кроме капель
Дождя и голосов на переправе,
Торгующихся с лодочником. Тот,
Ссылаясь, очевидно, на погоду,
Накинуть требовал. Другие голоса
С ним спорили. И эта перебранка
Не кончится, казалось, никогда.
Потом он снова потерял сознание.
И сколько так он пролежал — минуту,
Неделю, год, столетие — никто
Сказать не может. Но сияло солнце,
Когда он вновь открыл глаза и понял,
Что вновь родился...

ПОЭТ И ТОЛПА

1985

- Вода камень точит, но она об этом даже и не знает: точит и молчит...
- Мы не знаем, кто мы. Мы не знаем, где мы. Если кто и знает, то забыть спешит...
- Ни поднять, ни бросить. Ни войти, ни выйти. Только неподвижность полная вокруг...
- А мы что-то ищем, что-то размышляем, ведем разговоры — и всё невпопад...
- Пусть нас положили на обе лопатки. Но мы видим небо, звезды, облака...
- Так что нам давно уж пора примириться с той простою мыслью, что всё хорошо.

— Что кричишь, как будто что-то изменилось? Всё осталось прежним.
Ты — уж не тот...

— Если что и будет, мы уж не увидим. Нам хотя б до смерти собственной дожить.

— Дмитрий Александрыч, я с Вами согласен: есть еще на свете дружба и любовь...

— Тогда отчего же счастье нас всё ищет, а найти не может? Ведь мы где-то тут...

— Всё на свете ново. И ничто не ново. Всё зависит только от того, кто ты...

— Вот так же и в жизни: утекают реки, моря высыхают, а мы всё живём...

— Все умрут. И этот... И его схоронят... И его забудут, как и остальных...

— Вот так же и в жизни: нельзя строить планов. Лучше сразу пусти всё на самотёк...

— Насмешливый демон, кто тобой прельстился, тот пропал бесследно — его не спасти...

— Вот так же и в жизни: захотим подняться, а уже не сможем — годы уж не те...

— Секундою раньше всё было иначе. Секундою позже всё будет не так...

— Вот так же и в жизни: только начинаешь понимать в чём дело — пора уходить...

— Даже если туча с рваными краями что-то и напомнит, всё равно молчи...

— Вот так же и в жизни: птицы улетают, потом прилетают, и так без конца . . .

— Какие-то мысли бегают за нами, разные идеи носятся вокруг . . .

— Не спеши, читатель, высказать сужденье. Подожди немного, не гони волну . . .

— Прожит день, за ним другой . . . Сколько дней нам жить осталось? Всё куда-то утекает. Все уходят — кто куда . . .

— Мы одни среди геенны остаемся, не уходим, чтоб свидетельствовать дальше, если надо — до конца . . .

—«Все оправдывает пафос свидетельствования, преданность культуре, доверие к звучащему слову . . .»

—«Всё освещается мистическим светом от одного лишь прикосновения мастера-творца . . .»

—«Один раз поймут как-нибудь не так, да так и пойдет . . .»

—«Пока глаза не привыкли к темноте, выходили какие-то чудовищные каракули. Потом стало лучше. Почерк выровнялся. Появились даже этикие игривые завитки. Однако смысл по какой-то парадоксальной закономерности стал затемняться, и последние фразы . . .»

—«Милый заяц, здравствуй.

Со дня нашей первой встречи прошло уже довольно много времени. А я часто спрашиваю себя: а что было бы, если бы мы так и не встретились? Если бы так и не заметили бы друг друга в суетливой столичной толпе?

Но к черту банальности! Мне хочется говорить совсем о другом. Это неправильно, что мы сейчас не вместе. И что какие-то глупые раздоры сильнее нашего взаимного тяготения. Ты извини, что я говорю «взаимного». Это, наверное, самоуверенность. Мне следовало бы говорить только о себе и за себя. Но я чувствую, знаю, верю, что и ты тоже . . . Что мое имя для тебя тоже не пустой звук.

Извини... То, что я пишу, наверное выглядит глупо. Но уже третий час ночи, и в голове до звона пусто.

Завтра продолжу...»

— Ты в праздники-то где?

— Не знаю ещё... Может, дома... Не знаю...

— Ты как, шестого-то будешь?

— А как же!

— Интересно, тепло-то когда-нибудь будет?

— Ой, не говори!

☾

— Интересно, жене-то кто сообщит?

— Да уж сообщили небось...

— Дома-то не будут волноваться?

— Да привыкли уже...

— Он в рифму-то небось и не умеет?

— Да небось...

— А кричать-то зачем?

— Ну если не понимает иначе!

— А сценарий-то кто написал?

— Какая-то незнакомая фамилия...

— Без меня-то как там, не орала больше?

- Да нет, молчит...
- Что хоть было-то?
- Да ничего: поели, попили...
- Но хоть что-нибудь-то с тех пор изменилось?
- Конечно, и очень многое.
- Диагноз-то хоть поставили?
- Да диагноз-то поставили...
- Веласкеса-то привезли на этот раз?
- Да, две... Нет... Да... Две... Точно, две работы...
- Этот засранец-то не звонил больше?
- Как же — вчера звонил...
- На свадьбу-то хоть позовешь?
- Да ладно тебе болтать-то...
- Приставать-то они не начнут?
- Вроде не должны. Хотя кто их знает?
- Ну что, получил свои тридцать сребреников, сука продажная?
- Я не понимаю такого тона.
- Что ж в понедельник-то не был?
- Да как-то не выбрался...

— Зря языком-то болтать не надоело?

— А я не болтаю, а говорю...

— За стол-то скоро позовут?

— Что, бедненький, проголодался?

— Настроение-то как, ничего?

— Ничего, нормально...

— Как назвали-то?

— Ой, мне сказали, а я забыл...

Борис ДЫШЛЕНКО

КРОМКА

Я не сразу понял, что произошло, и, придя в себя, удивился тому, что пристально вглядываюсь в окно на противоположной стороне улицы и как бы стараюсь понять.

«Не надо мыслить штампами,— попытался я себя успокоить,— все оттого, что я мыслю штампами. Вон окно. Очень большое окно в этом кафе. Оно начинается от самого тротуара и высотой около двух с половиной метров. В ширину и того больше. На прозрачном стекле белая надпись «Кафе», и та девушка в брюках, глядя на меня, видит меня сквозь надпись, которая с той стороны читается «ефак». В этом есть что-то турецкое, так что во мнении этой девушки я могу быть турком. Это уже не так плохо, то есть не то, что я турок, а то, что я перестаю мыслить штампами. Вот теперь, когда я не мыслю штампами, я смогу разрешить задачу, и все придет в норму».

Но это я только успокаивал себя. Там, за окном кафе, действительно стояла девушка в серых брюках и еще не ясно кто. У девушки было очень хорошее грустное лицо, и в глазах ее была жалость ко мне, так, как будто я был обречен. Вот тогда я и сам осознал свою обреченность и теперь уже окончательно очнулся.

Было пасмурно, а поодаль стоял маленький светло-голубой автобус. Дверца его была открыта и еще, кажется, покачивалась; а здесь, перед автобусом, на асфальте лежало что-то, покрытое брезентом, но пока я стоял здесь, глядя, как два человека, один из которых был в черном пиджаке, сидят на корточках перед колесом автобуса, еще двое подошли и, о чем-то негромко между собой разговаривая, остановились слева и чуть сзади от меня. Из третьей по улице парадной вышел еще один человек и тоже направился сюда; еще двое стояли вдалеке, на углу, и один из них был в синем берете, а второй держал в руке

трость или зонт — мне этого издали было не разглядеть, да и вообще это меня не очень интересовало, поскольку я больше был занят своим положением, я только отметил их неподвижное стояние там и сейчас же отвлекся, так как увидел, что справа, в двух шагах от меня, стоит еще один человек и с отчужденным видом смотрит через мою голову как бы на окна дома. Те двое разогнулись, и один, смотав в растопыренных пальцах веревочку, положил ее в карман черного пиджака, поправил платочек в нагрудном кармане и что-то сказал второму, на что тот с деланным равнодушием пожал плечами и остался стоять, как стоял. Вот тогда я и посмотрел на окна кафе, пытаюсь найти всему этому оправдание, то есть зацепиться за какой-нибудь предмет и потом, отвлекшись, спокойно оценить ситуацию. Но когда я попытался это сделать, то увидел, что все гораздо хуже, чем на самом деле, то есть хуже, чем до сих пор мне казалось — я прочел это в сострадаельных глазах девушки, которая впрочем безучастно стояла за окном кафе.

Я осторожно, чтобы никто не заметил, скосил глаза на брезент, и в голове у меня собрались пузырьки.

«Не может быть,— подумал я,— не может быть! Неужели это так!..»

Я снова глядел улицу: люди, которые были здесь, по-прежнему оставались на своих местах, но теперь еще двое оказались неподалеку от меня, и один передал другому какую-то вещь, а тот положил это в карман. На тротуаре, прислонясь спиной к стене, стоял один в шляпе и задумчиво курил сигарету в очень длинном мундштуке. Из открытых дверей кафе вышел человек со стулом и поставил его прямо возле водосточной трубы. Человек в темных очках неподвижно стоял на том же тротуаре, и неясно было, куда он смотрел. Туча разрасталась и уже покрыла все небо над кварталом. Она светлела и как будто постепенно накалялась, и откуда-то без ветра пахнуло холодом, но все равно никто не уходил.

«Нет,— подумал я,— ни в коем случае!»

Было тихо, буднично, обыкновенно, но все как будто шуршало вокруг, как будто стоял какой-то неопределенный шорох, только на самом деле все это шуршание приходило во мне, то есть мне от шороха, производимого моими оцепеневшими мыслями, все казалось, что шуршит.

«Нет, все это, в принципе, не должно меня касаться,— подумал я,— совершенно не должно меня касаться. Да оно и не касается меня, абсолютно не касается. Да с чего это я взял? Почему я, собственно, решил, что кто-то может что-то с чем-то связать? Разумеется, кому угодно можно задавать какие угодно вопросы — как говорится, вольному воля,— но только при чем же здесь я? А если... Ведь если они меня о чем-нибудь спросят, что я отвечу на это? Но вообще, о чем, собственно, разговор? Что я такое знаю? Ничего

я не знаю. Так... А кто мне поверит?— подумал я.— Кто поверит? Как я докажу? Я ведь даже и приготовиться не могу, потому что просто не представляю себе вопроса, который мне могут задать. А ведь бывают такие каверзные вопросы — только держись. Вот каким-нибудь таким вопросом ошарашат, собьют с ног, и я даже не знаю, что ответить. Как же я тогда объясню, что ничего не знаю, и чем докажу?»

Помедлив еще мгновение, я перешел улицу и вошел в подъезд рядом с кафе. Я оглянулся, но не так, как если бы я естественно оглядывался, а вполоборота, даже, может быть, в профиль. Так, повел в ту сторону лицом, не более, как будто мне воротничок мешал или что-нибудь, и одновременно я скосил глаза через открытую дверь подъезда на улицу, где по-прежнему стоял этот маленький автобус и люди. Таким образом я оглянулся и, держась рукой за перила, стал подниматься по лестнице, чувствуя, как от моей осторожности меня не вполне слушаются собственные ноги.

«Поскорей бы добраться!— думал я.— Поскорей бы добраться до квартиры! Они там все заняты, они хлопочут. Пусть хлопочут. Может быть, они забудут обо мне, а может быть, они вообще не обратили на меня никакого внимания, потому что — что я им? Зачем я им? В конце концов, у меня имеется оправдание, есть отговорка. И это даже не отговорка, а правда: я действительно здесь живу, я здесь прописан и могу доказать это хотя бы при помощи того же паспорта. Да ведь меня же и видели многие люди: например, та девушка из кафе и еще там кто-то. Неясно кто, но видел же... Да, все меня видели».

И я продолжал подтягиваться по ускользящим перилам, понимая, что мои рассуждения ничего не стоят и выпутаться из этого трудного положения мне не удастся, а на самом деле я хочу только одного: минуту передохнуть. Минуту, не больше, и только за этим я туда стремился. Только за этим — ни за чем другим. Добраться до квартиры, до своей комнаты, даже не запереться, только минуту передохнуть, расслабиться.

— Смешно!— сказал я себе и почувствовал себя совсем безнадежно.

Антон Иванович в своей черной фуражке, расставив ноги, стоял в дверях. Он с недоброй улыбкой посмотрел на меня. Мое безразличие и усталость куда-то исчезли, и снова страх, холодный и напряженный, вошел и наполнил меня. Желтая стена лестницы, дверной косяк, сам Антон Иванович, посторонившийся, чтобы дать мне пройти, его чисто выбритый подбородок над черным очень туго затянутым галстуком — бесшумно проплыли мимо меня, когда я, не чувствуя себя, прошел в коридор. Мне стоило это большого напряжения — пройти мимо Антона Ивановича, — мне хотелось уничтожиться, стать невидимкой и самому не видеть его, но, преодолев себя, я собрался

и сделал равнодушное лицо. Я прошел мимо него, и, хотя я не слышал его шагов, я знал, что он уже закрыл дверь и идет за мной.

«Он знает,— подумал я,— он видел меня из окна. Видел, как я стоял там, и все знает».

В большой квадратной хорошо выметенной кухне я подошел к раковине и пустил воду. Серое мыло плохо мылилось и долго не смывалось с рук.

«Надо как можно лучше вымыть руки,— подумал я,— как можно старательней. Всякая обстоятельность в действиях выглядит очень убедительно для соглядатая. Увидевший подумает: «Вот он моет руки — наверное, он ни в чем не виноват».

И опять, как там, на улице, пришла мысль, даже не мысль, а какое-то чувство, что надо за что-нибудь зацепиться, отвлечься, чтобы не мыслить штампами, а как-нибудь трезво. А кроме того мне показалось, что такая вещь, или предмет, или еще что-то, за что удастся зацепиться, тоже может создать иллюзию постороннего интереса и невинности, как будто я от равнодушия и от нечего делать разглядываю просто так вовсе не интересующие меня предметы и меня это ничуть не касается.

Оглянувшись тем же способом, что и в подъезде, то есть постепенно поворачивая шею, а вместе с ней и мое лицо, чуть поводя подбородком кверху, так, чтобы это казалось не специальным, а каким-то случайным или, вернее, невольным движением вроде нервного тика, или характерного для меня жеста, или чего-нибудь, оглянувшись таким образом, я никого ни на кухне, ни в дверях, открытых в коридор, потому что я и не закрывал их за собой, так как это не принято, не заметил. Но мимоходом и как бы в рассеянности я окинул незаинтересованным взглядом старый дощатый решетчатый рундук, стоявший по левой от раковины стене. Я окинул его снизу вверх, а также слева направо, как будто от рассеянности, просто оттого, что мне нечем занять мои собственные глаза и мысли, пока я вот так вытираю свои руки мокрым вафельным полотенцем, которое в силу своей мокроты плохо вытирает. Тот рундук, который я окидывал таким якобы равнодушным взглядом, был старый решетчатый рундук с покатой, тоже решетчатой, крышкой, с железной скобой, запертой на висячий замок, в прошлом вороненый, но истертый от неоднократного использования, с белой контрольной бумажкой, которую можно было увидеть, если отвести в сторону железную накладку, прикрывавшую его скважину,— сейчас накладку не была сдвинута и заслоняла собой бумажку,— просто я по опыту знал, что она есть. Сквозь решетчатую стенку рундука, на дне его, было видно два выцветших зеленоватых ватника и один железный лом, придавивший их там. Я делал вид, что осматриваю от нечего делать все эти давно знакомые мне предметы, но

они не давали никакого толчка моим неподвижным от страха мыслям, и мне не оставалось ничего другого, как потихоньку набираться мужества, необходимого мне для обуздания дрожи и слабости моих коленей. Наконец, убедившись, что и этого мне не обуздать, я повернулся так внезапно, что даже покачнулся при этом, и приготовился шагнуть.

Ударила и прошелестела капля по стеклу, и хотя я в тот же миг понял, что это первая капля начинающегося дождя, я, уже передвинув ногу по полу на какую-то часть шага, от неожиданности замер в этом неустойчивом положении, но сообразив, закончил этот шаг и, закончив, судорожно расслабился. Ударила вторая капля, за ней третья, а может быть, уже четвертая — я не считал, — а потом сразу обнаружился неистовый дождь и забарабанил по жестяному карнизу за окном. Эти звуки немного взбудрили меня и подтолкнули к действию. Перенеся тяжесть на предыдущую ногу, я сделал следующий шаг, а за ним еще и почувствовал, как твердеет сведенная от инстинктивно сдерживаемой готовности шея.

Из-за угла я увидел его, неподвижно стоявшим в глубине коридора, все на том же месте в дверях, не касаясь дверного косяка. Отсюда он выглядел еще более грозно, чем тогда, когда я проходил мимо него, и тогда я на него старался не смотреть, теперь же, направляясь в его сторону по длинному и узкому коридору, где смотреть больше было некуда, кроме как прямо перед собой, я никак не мог этого избежать. Высокий, широкоплечий и плоский, твердый в своем черном костюме и черной же морской фуражке, он имел в себе что-то справедливое и окончательное, и по мере того, как он в дополнение к своему высокому росту выростал от моего приближения, я чувствовал себя так, как будто каждый мой шаг уменьшал меня на какие-то сантиметры, и, поддаваясь этому чувству, я и в самом деле съеживался и сжимался и, проходя мимо него в дверях, уже не смел поднять глаз, а только искоса взглянул на его начищенные ботинки, которые широко и крепко стояли. Горбясь под его торжествующим взглядом, я вышел и стал спускаться по лестнице, но и спускаясь, не переставал чувствовать затылком его зоркие глаза.

Теперь надо было выбраться на перпендикулярную улицу, и я подумал, что для того, чтобы пробраться туда, мне нужно прежде пройти незамеченным до соседнего двора, — но страх и подозрение до такой степени сковывали мой ум, что мне понадобилось выразить мое намерение словами, чтобы понять его.

«Рядом угловой дом, — подумал я. — Если выйти из парадной и сразу же пройти во двор, я вторыми воротами смогу выйти уже за углом, а там . . .»

Однако я все не мог заставить себя выйти из подъезда, и не оттого, что боялся дождя, который теперь хлестал уже какими-то непрерывными всхли-

пывающими потоками, искажая, как неровное стекло, противоположную сторону улицы вместе с фонарным столбом и маленьким автобусом, все еще стоявшим там,— мне казалось, что на улице, едва только я выйду, они, притаившиеся на время в парадных, и сквозь низвергающуюся водяную толщу по движению моего силуэта, хоть и смутного, хоть и размываемого, ливнем, но узнают меня, узнают и придадут этому значение. И несмотря на то, что мне предстояло пройти всего несколько шагов до ворот, которые я наметил, я все еще медлил и не решался. Наконец неожиданно для себя рванулся и без воздуха шагнул, так что мне нечего даже оказалось выдохнуть, когда меня насквозь просеяли жесткие ледяные струи. Моя одежда сразу набрякла и облепила тело, а брюки стали такими твердыми, что, казалось, не гнулись, а ломались под коленками при каждом моем шаге, и только из-за производимого дождем шума я не слышал чавканья своих размокших ботинок. С трудом отклеивая подошвы от тротуара, я сделал несколько шагов в сторону намеченной цели, и сильная, тугая струя, бившая из водосточной трубы, хлестнув по обеим икрам, едва не сбила меня с ног. Я преодолел ее и еще через несколько шагов оказался у ворот, но здесь одно неожиданное и потому не предусмотренное мной препятствие на несколько секунд задержало меня. Прямо передо мной в узкую подворотню дома с нарочитой медлительностью стала въезжать карета скорой помощи, и мне пришлось остановиться.

«Это — потеря, — захлебываясь, подумал я. — Это непредвиденная задержка. Достаточно времени, чтобы увидеть меня. Так всегда случается, если очень чего-то нужно, черт подери!»

Еле дождавшись и почти наткаясь на задний бампер автомобиля, я ворвался под глубокую арку и после залитой, просто текущей улицы поразился сухости стен. Но у меня не было времени прятаться в подворотне — я сейчас же выскочил во двор и по пути увидел, как два санитары вынули из машины носилки, на которых целиком накрытый больничным одеялом кто-то неподвижно лежал, внесли их в одностворчатую дверь углового подъезда. Я только взглянул в ту сторону, но успел заметить прозрачно-серые ступени каменной или бетонной лестницы, поднимавшейся вверх. Я только взглянул и сразу же двинулся по двору, стараясь казаться равнодушным и спокойным, в то время как проклятые больные в своих одеяльных халатах из всех окон уставились на меня. Я, специально медленно, чтобы не подумали чего-нибудь, шел по двору и старался держаться прямо под неослабевающим ливнем, а вода стекала за воротник и по лицу захлеб, и мне казалось, что это никогда не кончится.

Но согнувшись, потому что арка второй подворотни показалась мне слишком низкой, хотя это было не так, а в самом деле, видимо, оттого, что калитка в обитых дюралюминием воротах в глубине этой арки была маленькой и создавала такое впечатление, я вошел туда и в относительной сухости, так как вода со двора все-таки текла мне под ноги, прислонился в углу у ворот, замер и закрыл глаза. Холодные струйки замедлили движение по мокрому лицу и повисли на опущенных ресницах. Слушая непрерывный шум дождя, я как будто на некоторое время забылся и сколько-то простоял так — не знаю. Наконец усилием воли или чего-то там, что у меня было, я заставил себя открыть глаза и, передвинувшись в другой угол ворот, толкнул дюралюминиевую калитку, перешагнул и остановился под балконом. Передо мной была пустая, холодная, ошетилившаяся фонтанчиками улица, но падавший с балкона неумовимо меняющийся поток уже как будто терял свою первоначальную силу, и дома через дорогу стали постепенно проявляться из льющейся воды, и ливень превращался в обыкновенный, хотя все еще сильный дождь. Я вышел из-под балкона и, не оглядываясь, быстро зашагал под этим все еще сильным дождем, спеша как можно скорей оказаться подальше, за углом этой улицы, и надеясь, что там я буду свободен от свидетелей, тем более, что на две трети этого квартала тянулась высокая стена, огораживающая какое-то учреждение или предприятие, недавно оштукатуренная и выкрашенная, мокрая в данный момент. Но когда я под льющимся по лицу дождем поднял голову, чтобы взглянуть, долго ли мне еще осталось идти, я увидел, как навстречу мне по безлюдной и металлически блестящей от воды улице приближается фигура.

«Так и есть,— с горечью подумал я.— Этот — крупный, он меня не поймет».

К тому же он был в промокшей морской фуражке. Я вспомнил Антона Ивановича и потерял всякую надежду. Я приостановился, вернее, даже не приостановился, а замедлил движение приподнятой и полусогнутой ноги, ожидая, что он сейчас остановится и окликнет меня, но он не окликнул и не остановился, и я поставил ногу и поднял другую, а поднимая, поставил ее и так продолжал идти под слабеющим дождем, миновав этого прохожего, который, не взглянув на меня,— я был уверен — отметил меня и уже сделал выводы на мой счет. Я прошел дальше, вперед, не глядя и не чувствуя дождя. Он не задержал меня — я же не посмел да, честно говоря, и не хотел оглядываться. Я чисто механически, как бы из чувства долга или по обязанности отмечать происходящее, подумал о том, что он, наверное, следит за мной; уже, наверное, повернул назад и идет на одном и том же расстоянии, зная, что я никуда от него не уйду и спешить ему незачем.

Я отодвинул со лба прилипшие к нему волосы и сквозь бегущую по лицу воду посмотрел на блестящую гаревую насыпь железной дороги, преградившей мне путь. По ней в обе стороны, на восток и на запад, по нескольку раз в день, как мне было известно, проходили длинные груженные чем-то товарные поезда, но сейчас насыпь была пустой и только односторонняя улица тянулась по правой от нее стороне. Длинная стена учреждения здесь кончалась, и за ее углом, еще метрах в ста, видны были какие-то кирпичные и железные сооружения, может быть, железнодорожные или, наоборот, относящиеся к тому учреждению, которое ограждалось стеной. Направо, до железнодорожного моста, построенного из ржавых ферм, и наверное, дальше — но там я уже не мог видеть — все продолжалась эта насыпь и больше ничего не было кроме бесконечного ряда разнообразной и сложной архитектуры, но ужасно закопченных и давно не отремонтированных домов. Я знал, что этот ряд домов делился на несколько кварталов, неоднократно пересекаясь перпендикулярными ему и параллельными между собой улицами, но отсюда мне этого не было видно, а за насыпь сейчас, постепенно светлея, с ощутимой медленностью уползала тяжелая дождевая. Стоя под убывающим дождем, я костенел на углу, вперившись взглядом в перспективу уходящей вдаль, хоть и односторонней улицы; думать я ни о чем не думал — просто стоял. В таком раздумье я оставался некоторое время на углу, потом еще раз отодвинул со лба слипшиеся волосы и, размазав воду по лицу, нерешительно двинулся в сторону улицы, не зная, для чего я туда иду, тем более, что там ввиду постепенного прекращения дождя в трех-четырех парадных уже начинали появляться любопытные лица прохожих, которые, очевидно, дожидались, когда совсем закончится дождь. Я механически отметил про себя их присутствие, уже не пытаюсь делать из этого никаких выводов, так как мое напряжение сменилось тупым и тяжелым безразличием. Я холодно понимал, что эти люди, будучи свидетелями, и опасны, и обличительны для меня, но я не испытывал от этого никакого страха, ни даже покорной обреченности, — я просто перестал учитывать их. Правда, где-то вдалеке, в сознании мелькнул какой-то отрывок мысли, что, может быть, мне не идти дальше, а вернуться назад, раз они уже и здесь, но я даже не стал думать об этом, продолжая по инерции идти по улице, пока и эта инерция не прекратилась, и тогда, остановившись, я увидел, что я не дошел до этих людей, а стою рядом с какой-то широкой, обрамленной рустованным наличником дверью. Не отдавая себе отчета, зачем я это делаю, я повернулся и, толкнув дверь, вошел в подъезд. Вряд ли я собирался спрятаться там, вернее всего, я просто хотел, чтобы хоть какое-то время меня никто не видел, — расслабиться, забыться на мгновение, — а может быть, я хотел покурить. Я оказался на широкой

выложенной выщербленным кафелем площадке, а для того, чтобы подняться по лестнице, ее нужно было обойти с той стороны. Мне некуда было подниматься по этой лестнице, но я зашел с той стороны и там увидел, что сбоку от нее существуют еще две ступеньки, ведущие вниз. Я спустился туда и оказался в каком-то закутке, небольшом, но в котором было достаточно места, чтобы там покурить. Но когда я с трудом вытащил из кармана размокшую пачку, в ней не нашлось ни одной пригодной для курения сигареты: вздувшиеся и грязно-желтые, они расплзались в пальцах, выворачивая пристающий табак; да и спичек я, поискав, не обнаружил. Скатав пачку в почти круглый комок, я выбросил ее подальше, в самый угол под лестницу, где уже было достаточно всякого сора. Я повертел головой, чтобы поправить натерший мне шею воротничок, подергал лопатками, потому что рубашка все никак не отлипала от спины — теперь, когда я находился в сухом, защищенном от дождя, который, правда, уже прошел, месте, я снова стал чувствовать всякие неудобства — и, готовый идти назад, повернулся.

Но я, видимо, еще не был готов идти назад, во всяком случае, не совсем, потому что что-то беспокоило меня: какое-то ощущение, возникшее недавно, только что, может быть, даже здесь, под лестницей, но о чем я забыл, собираясь закурить. Возможно, я что-то видел здесь, что-то, что показалось мне важным, и может быть, оно лежало на полу или еще где-нибудь. Я в рассеянности поискал глазами в углу, куда я минуту назад бросил смятую сигаретную пачку, потом по наклонному, образованному поднимающейся над моей головой лестницей потолку и наконец обнаружил ту вещь, которую я искал, на которую я незадолго до этого смотрел в упор и не замечал ее, собираясь заняться курением сигареты, и которая к тому же была не вещь, а совсем наоборот, была проломом, брешью в кирпичной кладке наружной стены, и эта стена выходила не на улицу, а во двор.

Когда я спустился сюда, под лестницу, в этот закуток, я как-то не заметил дыры в стене, не обратил на нее внимания, скрытый смысл этой дыры и сейчас не сразу дошел до меня. Несколько секунд я стоял, глядя в пролом, в котором кроме куска асфальта ничего не было видно, и пытался осмыслить его, пока мне не пришло в голову отдаленное соображение, что из этого пролома я, возможно, мог бы извлечь некоторые преимущества.

Наконец я подошел к пролому и заглянул туда. Я увидел перед собой обширный асфальтированный двор, в центре которого, окруженная низкими, реденькими кустами, располагалась небольшая детская площадка, как можно было сообразить по разным приспособлениям, возвышавшимся в ее четырех углах. Посередине площадки помещался четырехугольный барьер, вероятно загородка для песка, так как чьи-то малолетние и, наверное, только что

выпущенные дети передвигали по нему предметы: песочные формочки, как я мог предположить. Но я в данный момент не предполагал, я пока еще ничего не придумал о преимуществах, а только с интересом рассматривал во всех подробностях этот большой двор и детскую площадку посередине. По детским приспособлениям в виде жирафа, ракеты и еще чего-то, непонятного мне, ползали мальчики — дождь уже совершенно закончился — и я, глядя на все это, постепенно начинал осознавать преимущество, которое давал мне этот двор.

«Сомнения нет — это детская площадка,— прошептал я про себя.— Может быть, это возможность, а может быть, даже шанс. Что если попробовать? Попытка не пытка. Конечно, эта дыра слишком узка для такого взрослого человека, как я, но вот этот кирпич, который здесь торчит подобно зубу . . . Если выломать его из стены, тогда, пожалуй, можно будет протиснуться. Да, если немного расшатать его, то можно. А потом пролезть в дыру руками и головой, как нырнуть, и тогда дотянуться до земли и вывалиться. И все — я уже там. Вот только дети . . . Примут ли они меня? По идее, должны принять: ведь они ничего не знают . . . И если тот, крупный, придет сюда, если он даже догадается взглянуть в этот пролом, он увидит меня, играющего с ними, а ведь я могу отойти и подальше, выкладывать там эти песочные фигурки из формочек; я повернусь к нему спиной, и он не увидит выражения моего лица.

«Действуй,— сказал я себе,— скорей!»

Изогнувшись, я обеими руками ухватился за кирпич и стал изо всех сил расшатывать его — он почему-то не поддавался. Видно, что-то держало его там: может быть, затвердевший раствор или какая-нибудь штукатурка. Сколько я его ни тряс, только мои руки сгибались и разгибались, кирпич же абсолютно не качался, он только казался некрепким на вид, действительно, как одинокий зуб во рту — попробуй-ка выдери . . . Наконец, когда я уже отчаялся его вытащить, он вдруг сломался. От внезапности я сделал два шага назад, так, что чуть не ударился о поднимающуюся надо мной лестницу. Но и того, что получилось, было довольно: теперь я смог бы пролезть в этот пролом.

Но этот . . . Он, наверное, все-таки шел за мной, потому что я услышал над своей головой по лестнице шаги и какое-то покашливание. Шаги были неуверенные, как будто человек не шел, а топтался по лестнице, еще не решив, где меня искать, а о покашливании нечего и говорить, таким оно было многозначительным и тайным.

Сжимая обломок кирпича, я метнулся к дыре.

«Действуй!» — мысленно приказал я себе и высунул голову в пролом.

Две деловитые девочки (одна в белом пуховом берете) подошли и стали сосредоточенно смотреть на меня, но на их лицах не было ни осуждения, ни торжества — они обдумывали меня.

«Действуй!— еще раз подумал я.— Руки вперед и головой — туда!»

Я так и поступил: вытянув руки вперед так, что свело плечи от усилия, я протиснулся в пролом до половины и тогда, отогнув назад голову, посмотрел на стоящих детей. Я старался выражением лица показать им, что ничего необычного в моем появлении нет, и что когда я весь вылезу из кирпичной дыры, я не сделаю им ничего дурного. Я одновременно и улыбался, и делал виноватое лицо, для того, чтобы они не испугались, и правда, они ещё несколько секунд стояли спокойно, но потом их детские лица стали жалобно кривиться, они еще не плакали, и для того, чтобы они этого не сделали, я еще усилил свою улыбку и жесты. Я с ужасом видел, как их глаза постепенно наполняются слезами, как медленно и капризно открываются рты, и вдруг они обе сразу разразились громким, слышным во все концы двора и, наверное, на лестнице, плачем и одновременно просыпались крупными обильными слезами. Я отчаянной мимикой и жестами старался показать им, что не надо этого делать, что я не причиню им вреда, что я совершенно не страшен, но этим только больше напугал их. С громким криком они побежали от меня в глубь двора.

«Зачем они кричат!»— заглушая собственные мысли, подумал я, но мне еще пришлось сложить руки над головой, чтобы вытянуть себя из пролома назад.

Шум и топот раздалась где-то рядом. Не имея смелости даже оглянуться, я зажмурился и втянул голову в сведенные судорогой плечи. Я замер, ощущая лопатками и головой приближающуюся опасность. Я замер.

Так я сидел на корточках, пока существующая здесь тишина не привела меня в себя. Я посмотрел на свои руки, одна из которых все еще продолжала сжимать красноватый обломок кирпича, я уронил его. Медленно и осторожно я поднялся, выпрямился и почувствовал, как при этом заныли коленные чашечки. Напряженно слушая собственный шорох, я обернулся — никого не было под лестницей.

Прислушиваясь, я стоял в закутке, пока не стал чувствовать рубашку, приставшую к моему телу. Я повел плечами, чтобы она отстала от вспотевшей спины, или я просто был мокрым от дождя...

«Нет, здесь никого кроме меня нет,— подумал я.— Наверное, он ждет меня там. А может быть, это вообще случайность».

Я осторожно, бесшумно, всей стопой ставил ноги на ступеньки, когда выбирался из своего убежища или ловушки, из-под лестницы, чем бы она

в данный момент для меня ни была. Я вышел на площадку и увидел на кафельном полу только грязные мокрые следы, может быть, и свои в том числе, да несколько обгорелых спичек.

«Вероятно, он здесь прикуривал»,— отметил я и услышал, как где-то этажом или двумя надо мной щелкнул замок.

Я еще немного постоял на площадке и вышел из подъезда. Дождь уже совсем прекратился, и люди из парадных тоже куда-то исчезли — возможно, они просто разошлись по своим делам,— но мне теперь не было до этого никакого дела. Мне теперь и так все было ясно: понятно, например, было, почему тот прохожий не остановил меня и почему он не стал ждать меня на лестнице, понятная мне стала теперь и жалость той девушки, выражение ее лица,— все мне было понятно. Я стоял на каменной ступеньке парадной и не смотрел на тянущуюся передо мной железнодорожную насыпь, так как это было уже не нужно.

«Что ж,— подумал я холодно,— я вернусь. Конечно, пора. Дождь кончился, и ничто мне не поможет. Ну и хорошо,— даже с каким-то удовлетворением подумал я,— не поможет. Я вернусь. Но я не пойду больше в алюминиевые ворота — мне ни к чему скрываться, и так все всем известно. Я вернусь, но я еще раз, в последний раз пройду мимо окна кафе, чтобы та девушка в брюках... чтобы она запомнила меня навсегда. И проходя, я сделаю что-нибудь такое... что-нибудь... ну, например, прижму кулаки к глазам... чтобы она запомнила меня навсегда».

И я пошел. Не обращая внимания на железнодорожную насыпь, ни на стену того учреждения, я вернулся по длинной и все еще мокрой улице, безлюдной, как во время дождя, миновал алюминиевые ворота и даже не взглянул туда — я прошел мимо них до угла. Но когда я, нарочно не убавляя шага, искоса взглянул на широкое окно кафе и уже приготовился было дернуть заранее сжатые кулаки к глазам, я увидел, что девушки больше нет в этом окне — другие люди стояли там.

Обмякнув и опустив руки вдоль тела, я остановился на краю тротуара. Улица была пустой, и мне не на чем было остановить свой взгляд.

«Так. Значит, так,— подумал я.— Значит, нет девушки, и я один. Тогда — все, и если до сих пор еще длится ожидание, то это только потому, что они дают мне шанс: великодушно позволяют мне открыться самому. Эти, другие, они чувствуют себя вправе. И сейчас они вправе. И они в этом правы, потому что, если бы кто-нибудь из них смог проникнуть в меня... Нет, он ничего не увидел бы там, но он опознал бы меня. А тогда он разоблачил бы меня, он раздавил бы меня без всякого сожаления. И вот они, кажется, меня узнали. Антон Иванович, видимо, давно подозревал меня, только у него не было

доказательств — одни подозрения,— а теперь... Я выдал себя. В момент обострения, в момент особенного напряжения нервов, когда и в одиночестве чувствуешь себя так, как будто тебе заглянули в лицо...

А здесь, когда все они хлопочут, и это как будто не имеет прямого отношения к тебе, но само твое присутствие выдает тебя, и достаточно всего лишь подавить вздох, чтобы любой из них указал на тебя пальцем и крикнул: это он!

Ну что ж, пусть указывают, но мне не нужно их шанса. Своим великодушием они не купят моего признания. Какое признание! Нет, главное — никогда ни в чем не признаваться. Потому что это стыдно, просто нецеломудренно. Нет уж, пусть сами — я ничего не подтверждаю. Я уже давно понял: это — ловушка. Пусть великодушная, пусть благородная, но все равно ловушка, и потому самым достойным будет — изворачиваться до конца. Кто угодно, но не я сам. И теперь, пока меня еще не прижали к стене, пока пальцем еще не ткнули в меня, я лучше буду ждать и лучше я задохнусь от страха, но не ускорю их торжества. И когда они наконец сойдутся вокруг меня, когда сузится и сомкнется круг, когда сомкнется он до последнего предела, так что нечем уже станет дышать, я прижмусь вот к этой стене и буду шипеть на них».

Я почувствовал на своем лице какую-то новую, неприятную улыбку, почувствовал ее всей кожей лица, и глаза наполнились от горла кровью или желчью, но в общем теплой и тяжелой горечью, и сердце колотилось уже в голове. Но одновременно пришла и готовность стоять и готовность идти, и готовность смотреть на них, прямо на них, не таясь и не отрывая взгляда,— и может быть, это они отведут глаза.

Тяжелыми, но решительными шагами я поднялся по лестнице. Дверь была по-прежнему открыта, но Антон Иванович больше не стоял в дверях. Я прошел по коридору и вышел на кухню. Вот и он, Антон Иванович: он сидит на том самом рундуке, и вид у него усталый и несчастный. Справа и почти что у окна на трех деревянных табуретках, наклонившись в кружок сидят и о чем-то шепчутся две соседки и какая-то незнакомая мне женщина в черном кружевном платке. Никто из них не оглянулся, когда я вошел, и Антон Иванович не пошевелился. Я подошел к нему, остановился и посмотрел на него прямым взглядом, прямо ему в глаза. Он как будто выдержал мой взгляд, но я продолжал смотреть. Я смотрел в его глаза, светлые, выцветшие, с красноватыми отечными веками,— смотрел, пока не задрожали от неуверенности его напряженные зрачки. Я усмехнулся, но в моей улыбке не было ни удовлетворения, ни насмешки, и мне было жаль Антона Ивановича,— я просто устал и промок. Я взял со стола эмалирован-

ную кружку и налил из крана воды. Она была сырой и теплой на вкус. Отпив немного, я выплеснул ее в раковину.

Серый кот, спрыгнув с окна, подошел ко мне, я наклонился, и пот струйками побежал от ушей на лицо. Или я еще не просох...

— Ну не плачь, не плачь!— услышал я шепот Клавдии Михайловны.

— Так ведь единственный сын,— тихо прозвучал ответ.— А она живет и не вспоминает о нем.

Не переставая гладить кота, я прислушался. Говорила женщина в черном платке: тихо, но можно было услышать.

— Он как придет, а она ему: Здравствуй, Толя. Садись, Толя. Все, как придет, а она ему: садись. И все — так. Потом уж и я замечать стала — да что тут скажешь?

Я не понимал, о чем идет речь, а женщина говорила:

— И каждый день, чуть только он спустится, а она уже тут. И все: Толик, Толик, Толик... И все гладит, гладит, гладит...

— Ну не плачь, не плачь.

— Так ведь единственный сын, а она живет и не вспоминает о нем.

Я оставил кота и осторожно прошел мимо женщин в коридор, стараясь не глядеть на ту, в черном. Где-то на середине коридора меня догнала Клавдия Михайловна. Она ухватила за мое плечо и, когда я повернулся, с любопытством заглянула мне в глаза.

— Вы что?— прошептала она.— Не надо! Вы лучше посмотрите на меня: с меня берите пример. Главное, что вы не знаете. А я им говорила, я им уже про все говорила. И вы не расстраивайтесь: просто по улице шел человек, а навстречу ему — судья. И тот на него так посмотрел, что этот упал и у него стали резаться зубы, которые до этого тридцать один год не прорезались. Все,— сказала она и замолчала, жадно глядя мне в глаза.

Я смотрел на нее, ничего не отвечая. Она отпустила мое плечо и на цыпочках убежала назад, на кухню.

Я повернулся и пошел по коридору к себе. Было что-то в сообщении Клавдии Михайловны ненастоящее. Что-то было неискреннее. Было похоже, что она просто ждала ответа на свои слова, какой-то моей реакции: что я скажу, не проговорюсь ли. Но ей-то какое до всего этого дело? Уже когда я вставил в дверь ключ, меня окликнул Антон Иванович. Он теперь снова обрел уверенность в себе и держался с достоинством. Он взял меня за локоть и, пожевав губами, внушительно сказал:

— Не верьте ей, она — кликуша,— он указал большим пальцем через плечо вдоль коридора.— Ситуация на самом деле совершенно противоположная. Правда, не исключена возможность, что вы уже слышали об этом из

более достоверных источников. Но я лично считаю, что во избежание недоразумений нужно должным образом осветить этот факт,— он значительно посмотрел на меня и сказал:— В Красном море поймали говорящего дельфина. Вы понимаете значение этого факта?— он сделал паузу и продолжал:— Так вот. Теперь его транспортируют морским путем, и он скоро будет в Мадриде. Вот так.

Антон Иванович потрогал козырек своей черной фуражки, повернулся и ушел. Я смотрел, как он, прямой, в черном лоснящемся костюме, твердо уходит назад по коридору. Я отвернулся.

«Ах, все это не то, не то!— с тоской подумал я.— Все это только отговорки, так, чтобы заморочить голову. Они только притворяются, они все отлично понимают, но пока, до поры до времени, не касаются главного, не касаются существа. Нет, все это не то: это не на самом деле, а что на самом деле . . . просто ужас!»

Я вспомнил сказанные той женщиной на кухне слова:

«Там, если по лесенке спуститься, и все до кромки сплошь. У многих эти сумочки, все пестренькое было. Та парочка — тоже. Небо же исключительно чистое. Одно только облачко. Совсем маленькое. А по кромке все стоят. Стоят и смотрят. Некоторые кричат и руками показывают. А там чем дальше, тем гуще: сначала, от лесенки, не так, там — больше, а до кромки уже кишмя кишат, много-много и кто как. Погода же — я говорю — солнечная. И они плывут, плывут: то пяткой, то плашмя, то головой. Но ведь там не больно — вода. И вот они плывут, столкнутся — и в разные стороны, и опять плывут, а там снова столкнутся с кем-нибудь, на этот раз другим, — и дальше; и все плывут, плывут и сталкиваются, сталкиваются, как головастики, — и так до волнореза».

Алексей ШЕЛЬВАХ

* * *

Что, дружок, уже и ужас?
В красных перепонках клен-то?
Поперек души и горла
виноград Анакреонта!

Мы писали, мы устали.
Чепуха о вещих птицах.
Только буквы, как занозы,
как занозы во языцех.
1975

Уже болит в душе полип.
Зовите доктора Годо.
Кто в самом деле петь велит?
В самом дурацком деле,— кто?

Ну был бы я дежурный мэтр
и в жирном жанре (-жанр «виват»)
вещал куда подует ветер
и продавался нарасхват.

Или богемный был бы монстр,
стереотипно бородат
и лыжами на Запад востр
и бабам друг, и брат, и бард.

Но мне иначе повезло:
под эти дудки не пляшу.

Из двух я выбрал третье зло
и буквы никому пишу.

Как на скале — сто лучших лет!
Как в келье человек-паук!
И — клекот философских флейт!
Пир Балгазара — бисер букв!

До звона раковин ушных,—
Нарцисс чернильного ручья!
Но вспомни ближних и смешных —
и речь воистину ничья.

Ничья как воздух, если — вздох,
как современников судьба.
Ведь поэтический восторг
есть отрицание себя.

Уже и ужас? Да, уже.
Себя крошат карандаши.
Уже глагол болит в душе.
На всю Вселенную души!

1980

ЭКЛОГА

Одна из лучших, самых красных, зорь над лугом.
Вот ветер проносится с ему присущим звуком
над избытием зеленых, синих трав.
За горизонтом стадный топот крав.
Как метроном, попукивает кнут.

Как одуванчик, пролетает парашют.

Шпион, из рядовых, под номером трехзначным,
себя поздравил с приземлением удачным.

Вдруг, сердцем чувствуя наличие пропаж,
решил проверить недвусмысленный багаж.

На почву ставит, как зеницу, чемодан.
«О горе мне!— воскликнул, нервно щупает карман.—
Покуда, как паук, старательно парил,
я записную микрокнижку обронил!
Погибли адреса конспиративных явок!
В карманах ветра звук, от ветра и дырявых!
Мне страшно — башмаку готовит петлю знак!
И нос трепещет на лице как белый флаг!
За горизонтом возгласы домашней птицы!»

Шпион внезапно слышит свист цевницы.

Приблизился, развел кустарник, зрит:
как лампочка, на почве огонь горит;
перед пламенем младенец прыгает и видно, что — Ванятка;
за поясом кнута желтеет костяная рукоятка;
глаза стеклянные; как мокрый мел, волосы;
как медный бубенец, на шее прыгают часы:
в эмалевом кружке двенадцать числ,
но стрелок — нет! . .

«И в этом самый смысл?»—

Так размышлял шпион чрез решето куста,
покуда пастушок прикладывал уста
к семи,— и сладко,— гласному предмету всех эклог.

Шпион придумывал общению предлог.

Ванятка свистом инструмента упоен.
В коварные ладоши хлопает шпион.

Ванятка зраком как зверок сверкает.

Шпион тревогу пастушка опровергает
тем, что, ладонями всплеснув, сдается в плен!

Повинный вид! Дрожание колен!
И на лице что называется лица нет...
И непонятно иностранец восклицает:

«О детства изумруд, о Англия древес
в известняковых стенах,— помню сад!—
классический клочок лазури мне отверст.
И слезы по щекам пылают и скользят.

Вечное отрочество над листом бумаги —
до помрачения зениц!
Успел я только черновик отваги —
зачем секундные порхают стрелки птиц?
Из кроны каркал вран: «Родился он героем
глагола и тоски по идеалу смерти!»
Плачь,
 ангелоид!
Вот и не стало юности на свете!

Еще присутствует чернильная отвага,
но странен звукописи труд усердный.
Не много знал — состарился однако.
Не юноша,— и дышит некто смертный.

Дневные сумерки. Небесный свет
слюду напоминает или пламя.
Я врана выкликал, . . . Ан — отклика и нет
под изумрудными, как прежде, тополями».

Так восклицает иностранец, вовсе не шутя.
Во все лазурные глаза безмолвствует дитя.
1975

REQUIEM

Умер однажды советский поэт.
Образовался в шеренге просвет.

Умер от старости. Все же — увы.
Лучше б, наверное, я или вы.

Горестное триединство утрат —
член, председатель и лауреат!

Автор идеологических од,
как без тебя будет мыслить народ?

Гордым гуртом или грозной гурьбой
песня твоя нас вела на убой.

Благословляла египетский труд
дóббычи камня, и угля, и руд.

И хлебороб — тексты были твои —
пел в чистом поле успехи свои.

Юношество, воодушевлено,
как ты мечтал,— отупело оно.

Ты уложился в отпущенный срок
и натворил на столетие впрок.

Был безупречный работник пера.
В литературе зияет дыра.

1980

ПАМЯТИ БРИГАДЫ

shot the Albatross
Coleridge

Придя с мороза в помещенье цеха,
искала кошка теплый закуток,
и пьяный кто-то, может, я, (для смеха)
метнул в беднягу меткий молоток.

Конечно, кошка кое-как умчалась.
Ушибленную тварь всем стало жаль.
Но перед каждым и деталь вращалась,—
ответственная, срочная деталь.

Ответственные, срочные,— вращались.
Лиловыми носами токаря
в поверхностях зеркальных отражались,
самим себе чего-то говоря.

Да, выглядели мы не слишком бодро
и спецодежду леденил озноб,—
вчера по собственному недосмотру
убит был Иванов болванкой в лоб.

Пойдем впельменную после работы,—
там только материться не велят,—
нальем вино в стакан из-под компота
и вспомним Иванова глупый взгляд.

Впервые не от скуки, а от муки
нетрезвый недоумеваает ум,—
то языки зачешутся, то руки...
И обернулись граждане на шум.

Но появились милиционеры
в тулупах черных на меху седом,
предприняли предписанные меры
с немалым, но и не большим трудом.

На следующий день на производстве
партийные товарищи в цеху
нас обвиняли в скотстве, то есть сходстве
со свиньями. Мы каялись: «Угу».

Потом еще для нашего же блага,
чтоб стала совесть ну совсем чиста,
пришла из вытрезвителя бумага,
и высчитали с каждого полста.

Конечно, мы не подавали виду,
но и самих себя не обмануть:
нам кошка, кошка мстила за обиду!
Мы усекли случившегося суть.
1983

АНТОЛОГИЧЕСКОЕ

Повелитель букв,
бисера метатель
да и смертных мук
преодолеватель!

В мире тел и лет
дыры и пробелы,
но зато, атлет,—
стилос как пропеллер!

И таблицы из
мрамора и меди.

Но и жизнь как жизнь
и взыскует смерти.
1987

СТРАСТИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Однажды Александр стоял как Петр
на берегу от пены мраморного Понта.
И около царя стеклянная цистерна
еще стояла. И в научных целях.

И начинается поэма: Александр
внутри стекла прекрасно поместился.
Тростинку высунул и даже дышит.
Затем неграмотные негры-лаборанты
толкают в Понт научное стекло.

Присутствует в числе почетных лиц
с визитом из Палеолита вождь пигмеев.
В черной ручище верная дубинка
как кегля. Сам-то выпуклый как кукла.
Рот до ушей вооружен зубами.
И страшно среди взрослых и смешно.

Покуда все' не дышат, Александр
внутри стекла и Понта восторгался;
как лилии, раскрыты клешни крабов!
коралл — как пряник в пурпурных пупырышках!
бревно в броне из бронзовых зеркал —
и помавает плавником багряным!

И этим самым плавником как влепит
через стекло по морде Александру!
Вот негры слышат нервные гудки
в тростинку. Вот вытаскивают. Александр
свободен от стекла, но весь во власти страсти!
Одна алеет левая ланита!

С папирусными свитками, с вопросами
о впечатлениях толпятся летописцы...

Тут происшествие произошло:
протиснулся и встал перед царем
античный ротный прапорщик. Служака
и ветеран, грудь выпятив и зад,
протиснулся с узлом портянок, чтобы
на качество портянок указать,
заботу Александра о солдатах зная.

А то штабные греки, шибко грамотные,
гоняют в шею или по инстанциям,
а вверенная прапорщику рота
тем временем ходи в худых портянках.

Царь слушает. Но — как! Сквозь линзы слез!
И чувствует себя таким несчастным!
Еще после подводного позора
он трудно дышит, шумно не отдышится...

И с плачем на лице в сей страстный миг
как надавал по морде ветерану!
За что?

Потом за шиворот хватает!
Потом за шиворот как зашвырнет
обратно — в только ахнувшее войско!

И узел следом как кочан капусты!

Все пятятся. И только черный карла
и кеглю уронил, и сам упал,
и держится за выпуклый животик.

Покуда он хохочет, дурачок,
откроем Элиана.

Этот автор
правдоподобно и, пожалуй, кстати,
описывает страсти Александра
при чтении античных атомистов:

«Однажды Александр на бивуаке
от скуки или из любви к науке
взял в руки избранные сочиненья
античных атомистов — для прочтенья.
Итак, губами шевеля, как школьник,
читал. Внезапно побледнел как мельник.
Лик Александра — и мука, и маки.
Потом наоборот себя взял в руки,

а сочиненья с видом отвращенья
отшвыривает, не закончив чтенья».

И Элиан, пожалуй, справедливо
так объясняет проявленье страсти:

«Всю плоскую планету повсеместно
он проскакал, как хорошо известно,
и покори́л все населе́нья, или
они вольнолюбиво отступили
на брег в мерцанье мразного тумана
последнего под небом океана.
Под сенью скал ютились населе́нья
и начали испытывать лишенье,
скорбь выражая в жалком жанре крика.
И умерли от мала до велика».

Тут Элиан, нормальный современник
геоцентрического Птолемея,
почел излишним обсуждать возможность
через океан отправиться на поиск
всем Александрам недоступной суши,
когда бы на попытку таковую
отважились **безумцы** населений.

То есть тогда и самые безумцы
не хуже нашего (и лучше!) знали,
что за последним океаном только
стеклянная стена — тупик Вселенной,—
и никаких обетованных суш.

Иного мненья были атомисты.

Побег, побег осуществлен словами,
что и планета наша (наша с вами)
не что иное как банальный атом
в дыму ему подобных.

«И об этом-
то прочитав, царь и вскочил, и пылко

воскликнул: «Вот, извольте, предпосылка
материалистической науки!
Вот чепуха чернил и вовсе враки!
Трус, трус и трус истолковал пространство
так просто! Так просторно! Так пристрастно!
На дне единственного мироздания
давайте преисполнимся сознания
безвыходности судеб. С нами боги
недаром подают пример отваги
быть под стеклянным колоколом тверди
богами места, времени и смерти».

Закроем Элиана и вернемся
на берег Понта.

Звезды над шатрами.

И только трое бодрствуют из всех.

Вождю пигмеев отвели (ведь вождь)
отдельную палатку. Все удобства.
Что же ему не спится? Осознал
бестактность давешнего смеха своего!
Ручища стискивает кеглю. Ухо
улавливает шорохи извне!

Решает от греха уматывать до света.
И очень пригодится верблюжонок,
подаренный наместнику Александром.
И прапорщик обижен в честных чувствах.
Пришел на берег Понта отдышаться.
Фингал под глазом как фиалка. Звон
в ушах да и понятный лед в желудке.
Страшится прапорщик: «Сорвут погоны!»

А что поделывает Александр
тем временем не историческим, а личным?
Внутри шатра шатается как маятник.
Античным алкоголем обуян,

пинками кувыркает табуретки.
На что обиделся? На оплеуху?
О юноша,— совсем еще философ!

ЭПИЛОГ

Построены шеренги. Опоздавших
торопят прапорщики тумачами.

После вчерашнего употребления
сам Александр на розовом и резвом
коне

едва не падает с коня
и вообще имеет бледный вид.

И вообще заминка: Александр
как бы колеблется и недоумевает,
куда вести и войско и себя...

А никаким не временем — пустым
пространством (именно через пустыню)
на верблюжонке удирает карла,
В Палеолит обратно. Путь зернист.
Вселенная песка. Зияет воздух.
Температура воздуха — под сто.

Хотел завить верлибры... Не поется!
В пустыне пусто — глупо в голове.
И оробел. Не вырчит и кегля.
И верблюжонок тоже запыхался.

1975

ИЗ ЦИКЛА «САД»

1.

В саду папирус перепонок,
слюда чешуек, черепица.
В саду задумался ребенок,—
уже секунду не резвится.

Под ним геенна перегноя!
И червь из Тартара в траве!
А он осознает иное:
иное небо — в голове.

1977

2.

Столько ужаса в мозгу
да и на бумаге.
Буквы сызнава в снегу
и черны, и наги.
Здесь промчался бледный конь
после листопада,
и горит тлетворный огонь
в перегное сада.
Яблоко дырявит червь.
Свет слепит зеницы.
И ни разу пеплом жертв
воздух не затмится.
Вот и юноша-поэт,
в букваре повстанец,
стал через немного лет
над страницей — старец.
Эх ты вечный ученик,
труженик ты смертный,
рви на части черновик,
на себя и сетуй.
Как над буквами горбат,
мученик свободы!
Что же никому не брат
в бедствиях природы?
О индивидуалист,
место знай и время.
В пламя возвратился лист.
Возвращайся в племя.

1988

ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Нестерпимо, отвратительно розовая дверца такси с желтыми кубиками, хлопок, заставивший брезгливо сморщиться, долгое рытё по неприлично глубоким прохладным карманам долгополого английского пальто: Алексис никогда не расплачивался сидя.

— Спасибо, братец.

— Благодарствуйте.

Сиреневая пятирублевая бумажка с хрустом раздавленной ребенком жужелицы исчезла в анемичных пальцах водилы.

Отвернувшись, Алексис сделал несколько шагов, разглядывая открывшийся пригородный ландшафт, и тут же попал в холодные, бесстыжие лапы позднеоктябрьского ветра.

Сзади заурчал мотор, скрипнули шины.

«Стало быть, и впрямь нет ничего отвратительней нашего российского межсезонья», — морщась и кутаясь в серый велюровый шарф, подумал Алексис.

Вокруг было сумрачно, холодно и пустынно: слева остались серые изгибы кольцевой развязки с забрызганными грязью рекламными щитами, справа абрикосовое варенье заката остывало меж двух сорокаэтажных билдингов, впереди над полукруглой станционной крышей горела белая неоновая антиква БИРЮЛЕВО-2, а чуть пониже в путанице балок, консолей, швеллеров — желтое, тощее — СТАНЦИЯ.

Алексис двинулся вперед.

Он был здесь впервые, и это несмотря на то, что почти десять лет прожил в просторном двухэтажном домѣ тетушки на Маковом проспекте, что совсем недалеко отсюда. Больше всего на свете он не любил московские окраины —

эту дурацкую русскую Америку, в которой небоскреб индусской лингой торчал из семейства аккуратненьких, тонущих в сирени-черемухе особнячков.

«Великие пятидесятые»,— он брезгливо усмехнулся, вспоминая клетчатые брюки и пробковый шлем отца, бодро стригущего газон красным противно тархтящим уродом, похожим на тропического богомола.

«Все они тогда были помешана на Штатах. Что же случилось, а?»— Алексис стал подниматься по бетонным ступеням перрона.— «А получился пробковый шлем на самоваре...»

Перрон был пуст и грязен. На белых лавочках темнели побуревшие кленовые листья, станционное здание светилось мутным аквариумом. Он вошел.

Возле касс никого не было, лишь из двери бара доносились голоса.

— До Белых Столбов, любезный,— проговорил Алексис в просторное окошко, разглядывая старого усатого кассира в черной железнодорожной форме, с пенсне на мясистой переносице.

«Просто чеховский персонаж».

Тот серьезно кивнул, защелкал клавишами. Розовый билетик порхнул в черную тарелку:

— Один рубль двадцать копеек. Прошу вас.

Алексис взял билет, расплатился.

— Не желаете ли приобрести облигации Шестого южнодорожного займа?— спросил кассир, подаваясь в окошко и пяля вверх белесые стариковские глаза.

— Не желаю, любезный. Скажите-ка лучше, когда поезд.

— В восемнадцать ноль две,— не меняя позы, как автомат проговорил старик,— еще тридцать шесть минут.

— Благодарю,— кивнул Алексис и двинулся в бар.

«Черт, торчать здесь полчаса».

Бар был достоин своего района. Он назывался «Улей», о чем жирно свидетельствовала ярко-розовая а la Диснейленд надпись над сверкающей стойкой бара. Интерьер кишел резным, расписным и жженым деревом: топырили кумачовые груди ядерные петухи, щерились, высунув языки, двуглавые орлы, улыбались матрешки. Потолок был сплошь затянут пластмассовыми сотами под цвет воска.

— Что угодно?— повернулся белоснежный толстомордый бармен с перьями черных усов, поросячьими глазками и двойным подбородком, под которым трепетали крылья белой бархатной бабочки.

— Дабльсмирнов,— нехотя ответил Алексис. Он редко изменял своему вкусу, но поезд требовал водочного полусна, а не коньячного оптимизма.

— Кофе?— бармен поставил перед ним рюмку, Алексис отрицательно качнул головой, громко впечатал в стойку рублевую монету с ненавистным носатым профилем президента и одним духом проглотил водку.

Почти сразу стало теплее и мягче на душе. Глаза заслезилась. Он полез в карман за платком и тут же вспомнил про свежий «Литературный вестник», дремавший во внутреннем кармане пальто.

Вскоре Алексис сидел за шестугольным столиком, расстегнув пальто, шурша тонкими, почти папиросными страницами.

«Вестник» начинался пространно-безответственной редакционной статьей о только что закончившемся Петербургском фестивале поэзии — жалком, рахитичном детище телекомпании «Нива», которая битую неделю транслировала паноптикум наглых стариков, экзальтированных старух и безнадежно глупую, крикливо разодетую молодежь. Слушать и тех и других было невозможно.

«. . . Подлинный праздник слова . . . значительное событие в современной русскоязычной культуре . . . шесть дней благодатного царствования неувядающей русской музыки . . .»

Усмехнувшись, Алексис перевернул страницу и вздрогнул: справа от крупного заголовка улыбался своей лисьей улыбкой сутенера Николай. Огромная, расплывшаяся на две полосы статья называлась «Эллины в косоворотках».

В искристом, колком, словно битый хрусталь стиле Николая мелькали знакомые фамилии, топорщились восклицательные знаки, громоздились мелко набранные цитаты. С трудом сдерживая желание сразу погрузиться в текст, Алексис поднял руку:

— Еще дабльсмирнов!

Бармен послушно повернулся, забрался на стойку, встал, потрогал пластиковые соты потолка, вынул из ячейки садовый секатор и отстриг себе большой палец левой руки. Кровь потекла. Старушка расстегнула на себе пальто, сняла его, расстегнула платье, сняла, сняла комбинацию, лифчик, трусы не сняла. Она подошла, подошла к стойке, нашла нашла обрубок, заложила за щеку щеку стала сосать а девушка девушка и парень парень просто просто стали стали спать спать спать спать спать спать спать. И мы. Потому что, ведь мы, друзья, мои, изнежены так рано, когда еще сомненья впереди, а вместо сердца — огненная рана, и что-то шепчет — жди, не уходи, а кто-то думает про странные приметы, распахнутые двери бытия, всё вспоминает пасмурное лето и шепот подзаросшего ручья, мы так боимся памяти и боли, разбитых судеб, порванных оков, улыбок, полусна и меланхолий, и гибельных неизданных стихов, мы вспоминаем странные причины, былую жизнь, былые времена, ведь мы — женоподобные мужчины, гардины

запыленного окна, нас не поймут ни правнуки, ни внуки, но нас оценит данный телефон, ведь мы кандальники, мы рыцари разлуки и мы заводим древний грамофон, на нас одеты сочные кольчуги, мы ползаем в коричневой тиши, зубами рвем чугунные подпруги и тихо бздим. И бздёхи хороши.

Ну, не то чтоб очень. Но все-таки хороши.

Хорош бздёх синего послебритья шашлычноциндального артиллериста, романтичногорящий likeacandleonthewind опять же в сыросумрачных пыльно-мышинных подъездах-парадных. В парадном. На 2 этаже, где змеинный модерн перилрешеток a la Gaudi скользит черной ловчей сетью над артнувоинными мелкобуржуазными ступенями, где сквозь лютеранские мутнолунные окна лётся-пробивается dominus deus, то есть просто прозрачный секуляризованно-автокефальный светневечерний, блестящий на выгибепериллусе брюхом мокрой кефали.

И тишина.

Голько где-то за тридевять земель лает европейская, бездомная, но хорошо кормленная собака, да на бензоколонке два негра — Билл и Марсель пьют дешёвый джин.

И в этой тишине, в этом сумраке, под этими сводами стоит Гогия. Он молод, статен, красив, богат. У него мандариновый сад. Он конечно же жгучий брюнет. И клёво одет:

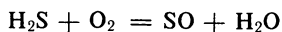
На нем белый вельветовый пиджак и черные бархатные штаны. Ослепительная хрустящая рубашка. Атласная бабочка. Лакированные штиблеты. Сигарета данкил, зажигалка ронсон. Газовая. Оттопырив свой сухой зад, он щелкает ею. На мгновение вспыхивает маленький язычок, но куда ему — он тонет, гаснет, гибнет в желто-зеленом огненном шлейфе. Экий фейерверк! Экая шутиха, прости Господи!

Горит, горит бздёх, горит, словно первый китайский порох — удивляюще, словно американский напалм — поражающе, словно секретное советское ракетное топливо — потрясающе.

А как горит! Как храм Артемиды Эфесской, как Жанна д'Арк, как Москва двенадцатого года. С шумом, с треском, со славой. Горят ветра, гуляющие по-над Гогиной перистальтикой — нежный зюйд-вест тонкого кишечника, суровый, не любящий шутить прямокишечный норд-ост. Пронесются в желто-зеленой нирване астралы добродушного шашлыка по-абхазски, милого сациви, очаровательного лобио.

Пахнет табаком, чесноком, мужиком (В. Набоков), говнюком, пиздюком, мудаком (В. Сорокин).

А впрочем, нет, дети. Ничем уже не пахнет. Как я говорила на прошлом уроке, окись серы не имеет запаха.



Нина Николаевна положила мелок, повернулась к классу:

— Соловьев, к доске.

Сергей встал, вздохнул и пошел своей неуверенной походкой. Нина Николаевна вытирала испачканные мелом пальцы носовым платком:

— Напиши нам реакцию получения сероводорода.

Соловьев подошел к доске.

Класс затих, с интересом разглядывая новенького.

Сергей взял мелок и уставился на уравнение, только что написанное Ниной Николаевной.

Некоторое время в классе стояла полная тишина.

— Ты был на прошлом занятии?— спросила Нина Николаевна, убирая платок и разглядывая быстро краснеющие уши Соловьева.

— Был,— тихо ответил он, облизывая пересохшие губы.

— Помнишь, что я рассказывала?

Он кивнул.

— Тогда перечисли сначала, из каких реактивов можно получить сероводород.

Соловьев молчал, не отрывая взгляда от доски.

Подождав еще пару минут, она пошла меж рядов, привычно обняв себя за локти:— Хорошо. Пойдем от противного. Скажи, Соловьев, из серной кислоты можно выделить сероводород?

— Можно,— быстро ответил он, не оборачиваясь.

— А из сернистой?— она остановилась возле его парты, взяла раскрытую тетрадь, перелистнула страницу.

— Можно... то есть... нельзя...— пробормотал Соловьев.

Она взглянула на него поверх очков, вздохнула, положила тетрадь.

Зазвенел звонок.

Класс облегченно зашевелился.

Нина Николаевна быстро подошла к своему зеленому столу, села, склонилась над раскрытым журналом:

— Двойка, Соловьев. В тетради у тебя всё записано. Черным по белому... А ничего не помнишь.

Он по-прежнему стоял, тупо рассматривая доску.

В классе стало шумно: ученики говорили, смеялись, шелестели тетрадями.

— Садись,— проговорила Нина Николаевна,— Или нет... можешь мне штатив донести.

Она постучала рукой по столу.

— Тишина! Успокойтесь! Запишите домашнее задание.

Все стали открывать дневники.

— Параграфы двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Урок окончен. До свидания.

Все нехотя полезли из-за парт.

— Возьми штатив и спиртовку,— сказала она Соловьеву, забирая журнал и коробку с реактивами.

— Пойдем, Соловьев.

Они вышли в коридор уже полный отдыхающих учеников, прошли мимо буфета и по просторной лестнице стали подниматься на второй этаж. Соловьев нес штатив, стараясь никого им не задеть. В пробирке подрагивал кусок серного колчедана.

— Что же ты ничего не повторил?— спросила Нина Николаевна,— Времени не нашел?

Соловьев на ходу пожал плечами.

— А может быть — желания?— улыбнувшись, она качнула головой,— Соловьев, Соловьев. Только к нам пришел и уже двойка. Плохо...

Они взошли на второй этаж и тут же оказались возле двух смежных дверей. На левой было написано ЛАБОРАНТСКАЯ, на правой—РЕАКТИВНАЯ.

Зажав журнал под мышкой, Нина Николаевна достала ключ из кармана своего коричневого жакета, отперла правую дверь:

— Выучи к следующему уроку всё о сероводороде. Как получается, какими свойствами обладает. Если расскажешь хорошо, обстоятельно — исправишь двойку.

Она распахнула дверь, посторонилась, пропуская его:

— Проходи, поставь вон туда на стол.

Соловьев послушно прошел и поставил штатив со спиртовкой на край большого, во всю комнату стола, сплошь заставленного штативами, колбами, ящичками с трубками и пробирками. В большой металлической коробке аккуратными рядами покоились спиртовки. Вдоль теснились желтые шкафы, забитые банками, колбами, бутылками с химическими реактивами. В углу, возле самой двери примостилась раковина с надколотым зеркалом. Из старого медного крана капала вода.

Пахло жжеными спиртовыми фитилями и химией.

Нина Николаевна открыла шкаф, поставила коробку с реактивами на полку.

Соловьев разглядывал замысловатую стеклянную трубку с двумя краниками.

— Интересно?— спросила она, закрывая шкаф.

Соловьев кивнул.

— Это трубка Зелинского. Она используется в гидролизе. Положи ее вон в тот ящик.

Соловьев положил трубку, но Нина Николаевна рассеянно махнула рукой, сосредоточенно глядя себе под ноги:

— Или нет . . . лучше не так . . .

Лицо ее стало отрешенно-серьезным, губы что-то шептали. Постояв, она повернулась к столу:

— Вот что. Так и сделаем. Помоги-ка мне, Соловьев.

Она стала быстро снимать ящики и приборы со стола и ставить на пол.

— Снимай, снимай быстрее . . . только не побей . . .

Соловьев принялся помогать.

Стол был длинным, широким, так что пока они разобрали его, прозвенел звонок на урок.

— У вас что сейчас?— спросила Нина Николаевна, снимая тяжелый ящик со спиртовками.

— Геометрия,— проговорил запыхавшийся Соловьев.

— Ну, ничего. На десять минут опоздаешь, скажешь Виктору Егорычу, что я тебя задержала.

Она наклонилась, открыла в тумбе-основании стола маленькую дверцу, вытащила свернутый черный провод со штепселем на конце, размотала и вставила в розетку. Затем, пошарив рукой под крышкой стола, щелкнула выключателем. Раздалось гудение, крышка дрогнула, разделилась в середине на две части, которые, словно дверцы, стали приотворяться. Когда они разошлись, оказалось, что вся длинная, как и стол, тумба-ящик доверху заполнена землей. Земля была измельченная и хранила на своей поверхности следы тщательного рыхления.

— Вот . . .— проговорила Нина Николаевна, внимательно оглядывая ровное коричневое поле.— Это всё мой муж . . .

Соловьев тоже смотрел на землю.

Нина Николаевна быстро сбросила свои туфли, приподняла юбку и шагнула через борт. Ее узкая нога по щиколотку ушла в землю. Подтянув другую ногу, она поставила ее рядом, затем присела, приспустив розовые трусики.

— Выдвинь вот тот ящик, достань climber . . .— тихо пробормотала она, энергично массируя себе щеки ладонями.

Соловьев выдвинул ящик ближайшего стола, достал climber.

— Положи мне на спину цифрой вниз.

Он положил climber ей на спину вниз голубой цифрой.

— Потяни за красную створку,— всё так же тихо и быстро проговорила она, и сильная струя ее мочи с глухим шорохом ударила в землю.

Соловьев оттянул красную створку.

Climber ожил, с мягким звуком двинулся вниз по спине мочащейся Нины Николаевны. Она задрожала и всхлипнула. Верхняя крона у climber раскрылась, в ней что-то сверкнуло. Усики стали изгибаться к центру, ослепительные подкрылья поползли в стороны.

На спине оставался черный дымящийся след.

— Пошел отсюда . . . — пробормотала Нина Николаевна, широко раскрытыми глазами глядя перед собой.

Соловьев медленно попятился к двери.

Climber выбросил вверх протуберанец слоистого розового дыма, его педипальцы молниеносно работали. Запахло жженым волосом.

— Пошел отсюда, гад! — прохрипела Нина Николаевна, трясясь и плача.

Соловьев открыл дверь и вышел.

А дальше что?

А дальше несколько пословиц:

Немец на говне блоху убьет
Да рук не запачкает.

Гнилая блядь — что забор,
Кто не ебал, тот и не вор.

Наша лопатка копает хорошо —
Мы достаем песок и продаем.

А когда налет кончился, Гузь выглянул из-за присыпанной землей тумбы. Покачав головой, он тихо присвистнул от удивления, толкнул лежащего вниз лицом Фархада.

Тот медленно с опаской поднял голову, отчего с каски ссыпалась земля и она снова заблестела на ярком июльском солнце. Всего за какие-то полминуты площадь невероятно изменилась. Словно гигантские грабли прошли по ней: асфальт был страшно разворочен, то тут, то там лежали трупы, два перевернутых автобуса горели так сильно, словно их облили напалмом. В одном из них кто-то бился и дико кричал. Троллейбус с распоротой крышей стоял поперек проспекта. Рядом с ним горели те самые проворные белые «жигули». Усатый балагур-водитель и его шестилетняя дочка по всей вероятности были мертвы. Полукруглый желтоватый дом напротив зиял двумя страшными пробоинами, его верх с фигурами рабочих был начисто снесен. На месте памятника Гагарину зияла дымящаяся, в добрые десять метров воронка,

а сам монумент, полминуты назад сверкающий сталью в голубом московском небе, лежал ничком, перегородив выезд с Профсоюзной улицы. Ребристая колонна завалилась к деревьям, а выброшенный взрывом стальной шар откатился к мосту и замер, стукнувшись о чугунное перило.

— Еб твою мать,— выругался Гузь,— смотри, как распахали...

— Ай-бай...— выдохнул свое обычное восклицание Фархад.

В объятых пламенем «жигулях» с мягким хлопком взорвался бензобак, разбросав вокруг куски обгорелого корпуса.

Гузь поправил сползшую на глаза каску, посмотрел вправо, где залегло его поредевшее отделение. Там среди комьев земли и кусков асфальта шевелились солдаты.

Привычным движением он потянулся к портативной рации, но руки уже в который раз нашарили пустое место.

— Третий! Пятый! Седьмой! Отходите к магазину!— ожил сзади громкоговоритель Реброва, и сразу же отовсюду — из-за вывороченных плит, груд кирпича, остовов сгоревших машин стали пятиться назад солдаты ребровского батальона.

Гузь привстал, придерживая автомат, махнул своим:

— Назад!

Поднялись пять человек — все те, которые остались после боя в Нескучном саду.

Засвистели пули, ожили засевшие возле «Дома обуви» минометчики. Вокруг стали рваться мины.

С чердака дружно ответили ПТУРСы лейтенанта Соколова, из подворотен заухали самоходки.

Добежали до дома, и Ребров тут же скомандовал залечь.

Гузь оказался рядом с ним — за перевернутым помойным контейнером. Мусор и отбросы валялись вокруг.

— Ребров! Двух человек, быстро!— раздалось из разбитой витрины «Тысячи мелочей».

Ребров повернул свое злое, мокрое от пота лицо к Гузю и Фархаду:

— Гузь, Наримбеков!

И через мгновение они, с серыми от пыли автоматами вбежали в магазин. В магазин. Они это. Вбежали и там это. Было много разного товару. И это там был КП полка. А потом был бой в метро «Ленинский проспект» и Фархада смертельно ранило. А Гузь остался жив. Один из своего отделения. И полк Гасова назавтра стал пробиваться к «Октябрьской». А там было шесть налетов. А потом была элегия: Над сумраком парит октябрь уже не первый, мы рядом в тишине, о мой печальный друг, осенний лес облит луной, как

свежей спермой, а сердце берedit анальный мягкий звук, как веет тишина дыханьем испражнений, как менструален сон склонившихся рябин, как сексуален вид увянувших растений, что обступили вокруг эрекцию осин, не надо, милый друг, искать вселенский клитор в разбуженной глуши набухших кровью губ, сиреневый аборт пустой, но гулкий ритор, а сумрачный миньет, как сон изгоя, груб, я знаю все равно дохнет суровый климакс, эрозии ветра, фригидности снега, внematочных дворов, сырой тяжелый климат всех либидозных зорь рассеется тогда, но крайней плоти плен нас поглощает вместе, мы генитальны, да, сырой тампакс горит, мы тонем впопыхах в презервативном тесте, мошонки бытия, яичники обид, как хочется любить, мастурбативный вечер размазал по жнивью волнующую слизь, два эвкалипта ждут спермообильной встречи, их ветви в темноте совсем переплелись, влагилица равнин запахнута в пространство и сперма бытия связует судьбы вновь, и светится звезда слепого лесбиянства и правит тишиной анальная любовь.

Да. И правит тишиной анальная любовь.

О детстве всегда приятно вспоминать. Мы жили в Быкове. Дачные места. Сосны. Аэродром. Помню, когда я его увидел года в три, там страшно и трудно было разобрать что где — где небо, где блестящие на солнце дюралевые плоскости. И всё ревелo, так что земля тряслась. А отец держал меня за руку. Мы жили в двухэтажном доме с котельной внизу, с чердаком наверху, и с крыш текло весной, висели метровые сосульки, и жильцы, привязавшись веревками, скидывали снег. Двор был большой, но остальные пять домов были одноэтажными. В них были коммунальные квартиры. И детей было много. И много интересного пространства: помойка в одном углу двора, крысы, сараи, бузина, и она подпирала сараи, и в сараях, «сапаи — могилы различного хлама» (И. Холин). Это верно, там был хлам и сундуки, банки и тряпье и дверцы и замки, висячие замки, а потом — огороды. Огороды, разделенные по-справедливому, по-народному, и там росло всё, что могло расти — морковка, лук, репка, редиска, помидоры, цветы, георгины, гладиолусы. А летом — гамак между сосен. Сосны высокие и скрипели, а земля была мягкой от хвои.

Так вот.

И было одно переживание в пяти-шестилетнем возрасте. Там в другом углу двора была яма. Вернее — ЯМА. Для стока дворовой канализационной системы. У всех стояли ватерклозеты, всё легко смывалось водой из ревуших бачков и пропадало под полом. И там под землей, под всем нашим счастливым детством шли трубы. И сходились к яме. К ЯМЕ. Там был люк. И вот по понедельникам приезжала машина, грязная, темно-зеленая пыльная машина

с цистерной. И выходил из кабины мужик в ватнике, в грязных штанах и сапогах. Отстегивал сбоку машины толстую ребристую кишку, то есть это даже не шланг, а патрубок, или — резиново-брезентовая труба диаметром сантиметров двадцать. И открывал люк. Он не открывал, а отколупывал его ломом. И тот открывался, то есть отколупывался с грозным чугунным звуком. И было видно, что ЯМА до самого горла наполнена жижей, массой неопределенного цвета.

А я — пятилетний мальчик в коротких штанишках с помочами, в белой рубашечке, в белой панамке сидел на корточках недалеко от ямы и смотрел во все глаза. И мужик знал меня, улыбался как старому приятелю, надевал рукавицы и заправлял трубу в яму. Она погружалась с уханьем, хлюпаньем, ребристые складки исчезали одна за одной. И машина начинала глухо реветь. И жижка проседала вниз. Меня все время гоняли от ямы — говорили, что в яме какашки, что, мол, как мне не противно, лучше бы пошел поиграл в песочнице или порисовал, пугали историей про мальчика, который вот так вот как ты сидел, сидел возле ямы, а потом его искали, искали и нашли в яме. Тем не менее я не пропускал ни одного приезда ассенизатора. Ни одно зрелище не притягивало меня в то время сильнее: машина редела, шланг хлюпал, жижка ползла вниз, а запах был и страшным и притягательным, он не был похож ни на какой другой. Это продолжалось из понедельника в понедельник. А потом я сделал себе дома такую же яму. Взял алюминиевый бидон, наполнил водой и набросал туда мусора, хлеба, огрызков, бумаги и всего, что можно. И выдерживал его несколько дней, чтобы всё закисло и был запах. И у меня была игрушечная машина-грузовик, тоже зеленый. Я положил ему в кузов пузырек из-под чего-то и надел на горлышко резиновую трубку и вот я сдвинул две табуретки, у одной из них была дырка в сиденье и я засунул туда бидон и сделал так, чтобы горловина лишь немного высывалась из сиденья, а с другой табуретки, придвинутой, подъезжал машиной, открывал консервную крышку, которой я прикрывал бидон, и опускал шланг. И был кислый запах. А в кабине сидел солдатик. И тут я, сидя на корточках, начинал рычать, реветь и гудеть, как машина. И тряс машину слегка. И это продолжалось бесконечно долго. Машина подъезжала, отъезжала. В то время это было самым сильным увлечением.

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я: Общеизвестно, что в препубертатном возрасте главное эротическое переживание ребенка связано с актом дефекации, отсюда и повышенный интерес детей к калу, как к причине их удовольствия. Дети с любопытством разглядывают свой кал, говорят о нем, а иногда даже пробуют на язык. В данном случае яма — хранилище нечистот возбуждала

ребенка, как место аккумуляции множества органов удовольствия. С другой стороны, рассказы родных о мальчике, утонувшем в подобной яме, вызывали у ребенка подсознательное чувство страха, который, вследствие неясности грани подземного хранилища, принял тотальный характер. Находясь под действием двух реликтовых сил — эроса и танатоса, ребенок был поставлен перед сложной задачей: следовать первому и избавляться от второго. И он справился с ней, построив модели ямы и машины. Бесконечно подъезжая, «откачивая» и отъезжая, он заговаривал яму, используя принцип гомеопатической магии, с другой стороны, сидя на корточках рядом и кряхтя, моделировал акт дефекации, что удовлетворяло его эротические переживания.

А по поводу Гузя и Наримбекова я вот что скажу: вообще не понятно, как можно не любить стволы родных берез. Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? Бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июльского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Русского гостеприимства? Русского смеха? Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты писал сочинения? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего заныл? Ездил, сука? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего ноешь? Чего сопишь, падло? Чего, а? Заныл? Заныл, падло? Чего сопишь? Так, бля? Так, бля? Так вот? Вот? Вот? Вот? Вот, бля? Вот так? Вот так? Вот так? Вот так, бля? На, бля? На, бля? На, бля? Вот? Вот? Вот? На, бля? На, сука? На, бля? На, сука? Заныл, бля? Заело, бля?

После долгих размышлений и внутренних препирательств с самим собой я так и не решил, красиво или отвратительно ее лицо. Я исследовал его физио-аналитическим методом, я рассматривал его сквозь пласт ананасового мармелада, я гадал на его счет, я спрашивал ее о всякой всячине, памятуя о нашем совместном путешествии. Я ловил ее. Она же выходила из игры с легкостью теннисного мяча, уклонялась, хамелеонила, требовала гарантий. Я давал их. Я покорно погружался в голубую ванну моих представлений и застывал на боку, подобно умершему Будде.

Ее бесило мое спокойствие, она плакала, заламывая свои сухие креольские руки, умоляла прекратить эти «экзерсисы духа», цена которым, по ее убеждению, была столь страшной, что не имела названия.

— Нет слов . . . — тихо произносила она, обессилив от плача. — Нет слов. И слов действительно не было.

Мы жили молча в нашей просторной вилле, истертые ступени которой я так любил. Я прижимался к ним щекою, и вместе с каменным холодом в меня входила неторопливой поступью франко-германская династия ее предков. Не знаю почему, но французы всегда оставались на уровне неразличения, слипаясь в некий архетип носителя бархатного камзола. Зато германская ветвь беспрепятственно прорастала сквозь мое швейцарское сердце и распускалась в пространствах ума живым полнокровным древом великой культуры. Оно шелестело листьями и дразнило плодами.

Гете и Шуман, Шеллинг и Гегель, Бах и Кляйст радушно предлагали мне своих Вертеров и Манфредов, но моя требовательная длань ментального аскета уходила вглубь и срывала с едва ли не самой внушительной ветви желанный плод:

Автономия воли есть единственный принцип всех моральных законов и соответствующих им обязанностей; всякая же гетерономия произвольного выбора не создает никакой обязательности, а, скорее, противостоит ее принципу и нравственности воли. Единственный принцип нравственности состоит именно в независимости от всякой материи закона (а именно от желаемого объекта) и вместе с тем в определении произвольного выбора одной лишь всеобщей законодательной формой, к которой максима должна быть способна.

— А после этого?

— Ну, мы прошли в гостиную, а там всё было убрано.

— Что?

— Ну, посуда, еда.

— И никого не было?

— Нет. Кроме сторожа.

— Так. И что же дальше?

— Ну, он попросил его пройти в бильярдную.

— Так.

— И там снял с него рубашку и на бильярд положил.

— Как положил?

— Вниз лицом.

— Так.

— Ну и я помог. А потом мы ему банки поставили.

— Я не помню . . . штук двадцать.

— Так. А дальше?

— Дальше... Ну, он пистолет достал и мы стали это...

— Стрелять по банкам?

— Да.

— Ну?

— Ну и попадали. А иногда мазали.

— А банки?

— Они разлетались.

— А сторож?

— А он это... плакал и молился.

— Так. Ну?

— Ну, а потом патроны кончились.

— И что дальше было?

— Ну, он пистолет спрятал и мы пошли в кабинет.

— И что там?

— А там он из авоськи достал оранжевый спрэй и это...

— Что?

— Ну, стал красить стол.

— А что лежало на столе?

— Документы, там, телефоны разные... очки, папки разные...

— И что?

— Ну, я тоже взял голубой спрэй и золотой. И мы начали поливать все спреями, и это так прямо было хорошо. И пришел сторож с бильярда и мы его совсем раздели и я его всего сделал золотым; а ладони — голубыми. И мы телевизор покрасили желтым. А я взял ключи и сейф открыл и мы все содержимое покрасили красным, деньги там, документы. А потом телефон звонил и мы его покрасили оранжевым и он звонить перестал, а мне было так хорошо, что прямо слезы текли и мы окно открыли и в сад вышли и стали цветы красить и после клумбу а потом подошли а там стояла чайка новая и волга черная охраны и они все черные были и мы их покрасили во все, что у нас было и шофера покрасили и охранника тоже а потом разделись и покрасили себя серебряным и только головки членов не покрасили и пошли к реке по спуску и пели эквэлэнг май фрэнд и там вода была и мы поплыли и пели и так это было и я плакал и было так сладко и мы плыли и это... я не могу...

— Чего? Чего ты? Чего ты выебываешься?

— Простите... я не выебываюсь... просто сердце плачет и в голове поет.

В тот момент, когда Наримбеков повернул, наконец, красную ручку, сержант Гузь высунул пулемет из-за колонны и принялся поливать эскалатор

свинцом. Крики, вопли, женский визг заполнили пространство тоннеля, круглые плафоны разлетались вдребезги, пули с треском вспарывали полированные панели.

Наримбеков сдернул с плеча свой «калаш» и тоже нажал на спуск.

Через полминуты все было кончено.

Обе лестницы были завалены трупами.

Наримбеков сменил рожок. Гузь отшвырнул в сторону ненужный дымящийся пулемет, подошел к стеклянной будке, возле которой распростерлась та самая седая блядь в черной униформе, повернул красную ручку.

Эскалатор ожил. Ребристые ступеньки поволокли мертвецов вниз, к ногам двух победителей.

Месиво окровавленных трупов стало расти возле будки.

Гузь снял каску и с наслаждением вытер совершенно мокрый лоб рукавом, но потом-то, потом-то ну што ну это ш я не знаю што. Ну поехали к Костику шмоستيكу на десятую ну взяли ящик Гурджани там шмурджани по дороге сняли Лелечку там шмолечку Анечку шманечку, ну приехали я стучу Костику а он кричит как потс из клозета там шмозета, ну што ты стучишь, как мент, я ш еще не послал, ну это был такой отмороз мы просто умерли с Васенькой шмасенькой, ну я ш никогда такого голоса не слышал это просто я ш не знаю што так вопить из клозета там шмозета и я кричу ну што ты там веревку проглотил или на привозе пообедал а он ржет как мерин шмерин и идет а я говорю ну ша Костик шмостик хорош хохмить, море стынет, девочки скучают, надо брать ноги в руки и делать марш бросок, ну, и тогда мы культурненько погрузились и двинули а он мидий наловил с утречка целый рюкзак и вообще культурненько мы забурились на пляжик там шмажик и представляешь сидим в натуре пьем, палим костерок шмастерок едим мидий шмидий и тут Костик заводит опять тот свой потский разговор про своего любимого Сезана там шмезана, ну я не могу, ну што я говорю мне твой Сезан шмезан, я ш не говорю тебе там про Кандинского шмандинского или про Клее там шмее так што ш ты гонишь мне опять про своих Пикассо шмикассо Утрилло шмутрилло, я ш в гробу видел твоего Ван Гога там шмангога Гогена шмогена, мы же другое поколение там шмоколение мы росли не на джаве шмазе не на Армстронге шмармстронге, а на Битлах там шмитлах на Роллингах шмоллингах, не на Окуджаве шмокуджаве не на разных там бардах шмардах а на панках шманках, на роке там шмоке, я ш уважаю йогов там шмогов, философию там шмилософию, Хайдеггера шмайдеггера, Кьеркегора там шмейкегора, индуизм шминдуизм, буддизм шмуддизм, Бердяева шмердяева, Шестова шместова, Конфуция шмонфуция, Лао Цзы шмаоцзы,

Кришну шмишну, структуралистов шмуктуралистов Барта шмарта, Якобсона шмакобсона, Леви Стросса шлевистросса, у меня друзья не просто лабухи там шлабухи, а девочки не просто там шмары шмары, да не просто шмары шмары, шмары там шмары, да там шмары шмары, шмары шмары, шмары, шмары, шмары шмары, шмары, шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары, ры, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары, шмары, шмары, ры, шмары, шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары шмары, шмары, шмары, шмары

Олег ЮРЬЕВ

МЛАДЕНЕЦ

Осыпается мгла с небес
На поставивший мрежи лес,
И глазницы иссякших звезд
Стали пенно-зыбки.
А младенец, плывя вверху,
Сеет светлой рукой труху
Из жемчужной зыбки.

Видно, свод полунощный — ветх.
Иссякает и мякнет верх —
Так воздушный редееет мост
Над всходящим низом.
Видно: вышелушилась тьма,
В зернах — свет, и дрожит тесьма,
Куда он нанизан.

А младенец плывет вверху,
Сея светлой рукой труху,
Осыпающуюся на лес,
Что сетцы раскинул.
Но скудеет небесный Нил;
Кто бы люльку остановил
И младенца вынул?

Ведь и есть-то лишь лес один,
Где спасается наш господин,—
Его ищут и там и здесь,
Во граде, по полю.
Все оцеплены берега,
И на всех площадях врага
Есть, где встать глаголю.

ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ

Человек — это колодезный ворот,
накручивающий на себя свою цепь

Уж такая хорошая мне далась душа,
Чтоб сквозь щелочку говорить со светом
И, разъеденным воздухом чуть дыша,
Глухо вздрагивать панцирьком нагретым.

Но, Господи, в этот светлый час
Раскрывающихся полночных створок
Стала Тьма Твоя, как светящий газ,
Как стоящий снег, как парящий порох.

Я сердечный мускул Твоей ночи.
Мне не выпутаться из кровеносной сети,
Потому что я не был нигде на свете,
Кроме тьмы и вздыхающей в ней свечи.

Ведь такая душа только там сильна,
В этом свернутом, влажном, слепом, соленом,
Потому что, выковырянная, она —
Как простой слизняк на ноже каленом.

То, что знаю,— пора уж!— и Ты узнай:
Я боюсь оказаться в уже дребезжащем варе
Вот, другую, прошу я, стеклянную душу дай,
Рассыпающуюся при ударе.

ОСЕНЬ В МОСКВЕ

О сколько здесь делается трухи
Из треска короткой волны волос,
Из костно-холодного глянца щек
И из страшного перламутра рта.

Когда б я не чел за собой грехи,
Как осени, мне б разносить пришлось
Засохший, напитанный кровью шелк,
Но судьба уж, как я смотрю, не та.

Как всё превращается в гниль и смерды!
Треугольный траурный ноготок
Обвисшего клена — трухляв и жухл,
И раскрошена дорогая ткань,—

Когда б я снова посмел бы сметь,
Когда б в волосах зазмеился ток,
И в сердце задвигал усами жук,
Щекоча изнутри гортань,—

Тогда б я выжил в чужом краю,
Где женских деревьев крепка броня,
Скрежещущая при передерге ключиц
И при крохотном повороте рук,

Тогда бы я вспомнил судьбу свою;
И ветер, тяжелые листья гоня,
Стал снова медлителен, наг и чист;
И сомкнулся бы ветхий круг.

СТИХИ К УХОДЯЩЕМУ ЗРЕНИЮ

Мир скуднее и скуднее,
Всё невзрачнее с лица,
Но — во всех вещах яснее
Звезды сизые — сердца.

Там, в аорте, в рудной пене
Розою расцвел зрачок . . .
Ты уходишь в сердце, зреньё? . . .
Но оставь хоть чуть, клочок . . .

Пусть хотя нетвердый очерк —
Моря сверток, неба лук;
Пусть хоть ответ в плитах отчих
На восток бегущих букв;

Эту вязнущую морось
В невской стреляной волне;
Эту мертвенную поросль
Молний в выпукшем окне;

Эти в зеркалах раскосых
Оскудевшие черты;
Этот гаснущий набросок
Тьму цедащей наготы . . .

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

(Прости, Господь, куда я жить попал?
Не человек, не зверь и не машина,
Не дьявол правят бал.— кровавый пар —
Лакейства с самозванством мещанина).

Из всей земли могу назвать своим
Квадратный метр в искривленной ограде,
Где нищий камень слякотью гноим
И смертный сон прерывист, смерти ради;

Где отлетает и душа и страх
И в черных разделяются вершинах;
Где снова праху возвращают прах
В проклятых глазурованных кувшинах;—

Здесь, только здесь, где русской нет земли,
А только прах под неприкрытой клеткой,
Где нашей плотью сосны возросли,
Где бьется воздух нашей кровью редкой,

Я чувствую ту лучевую нить,
Которая, хоть чуть, меня и нудит
Связующую точку охранить,
Но знаю я, что и ее не будет.

Но знаю я, что и сюда придут —
Свернут ограды и надгробья сроят
И, исполняя свой привычный труд,
Могилы под квартирки перестроят.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПЕСНЯ

Голосов мне не надо скользких,
Чтоб казаться себе счастливей,
И в какую иглу ни вденьте,
Мне уже не извиться кротко.—

От семи пирамид московских
По реке перегнивших жнивий
К каменеющей в небе Дельте
Опять привезла меня лодка.

Будто обмер несчастный город
Как проглоченный тучей плоской,
Не сулит ни огня, ни света
Ни приветный, ни грозный Форос;

И, ко рту прижимая ворот,
Я свечу себе папироской
В море, где ни конца, ни верха —
Господи, хоть бы парус!

Хорошо ли я жил, нетвердый,
Но не винный в грехе Филона —
Только жил и азбукой круглой
Скоротленный марал папирус?

Хорошо.— Я еще не мертвый,
Я ~~еще~~ так смотрю влюбленно
На носу у лодочки хрупкой
В этот мир, где родился и вырос.

* * *

Как ртуть, как шелк, как щекот, как
Раскосая луна морская,
В ногах, и в пахе, и в руках,
Везде во мне есть кровь людская:
Как луч, съезжающий в реку,
Как месяц, таемый туманом,
Как занавесь по сквозняку
И как рука над женским станом —
Чуть-чуть прогнувшись, она
Стоит-скользит, натянена.

(Когда же в каменной тени
Круглоступенных гор у моря
Я вспомнить смог другие дни

И вздрогнул от стыда и горя,
Вся кровь — от кроны до корней!—
Заскрежетала и запела;
Хоть воли не было у ней,
Но вдруг она, прорвавши тело,
Вся — вверх, во все ее крыла . . .

. . . И Божья кровь ко мне вошла . . .)

* * *

Луны недолгие глаза.
Китайские ее усы.
Но знаю я: еще нельзя
Глядеть на смертные часы,

Ведь Север не сошел на Юг,
Ведь лист не возвратился в пресс,
И ведь земли лазурный лук
Не прободил листву небес;

И явственней, чем поворот
Короткой грани мировой,
Болван клюет наоборот
Зыбко-продольной головой.

* * *

Д. Ю.

Я привел тебя в мир, побелевший от зла,
Где и сам я живу, как слепая пчела,—
Поздней кровью продрогших растений.
В мой уступчивый танец ошибка вошла.

Не нужна никому золотая смола
Из пожухнувших средостений.

Глеет снег над заклеенным смертью летком.
Всё какой-то уступчатый каменный ком
Облетаю в исплаканном сне я.
Он облит синеватым крупчатым ледком,
Он сползает, медлительной мукой влеком,
Прямо в дымное черево змея.

Я привел тебя в мир, где и сам я не царь
(А бывшие цари позарылись в янтарь —
Впрок медовой смолы наносили),
Где чем меньший творец я, тем большая тварь,
Где над садом сгущается снежная хмарь,
Но куда и если я в силе,

Не отдам тебя вьюге, уж коли привел,
Ибо крови ты царской — от истинных пчел,
Не подвластных слажёному дыму.
Будем жить налету, огибая шею.
Может, хватит нам кровного золота смол
Пережить эту вечную зиму.

СТИХИ О НЕБЕСНОМ НАБОРЕ

В сердце будет долго дергать холостой курок...—
В стеклах меда невиский деготь, мертвого снежка творог,
Расклиняющая площадь снега полоса,
Норовящая уплощить впалый оттиск колеса.

Разве что-то еще значит и «сейчас» и «здесь»?
Всё кратчайшее оплатит оплывающая взвесь.

Твой хоть ход, да юзом, юзом... как сойти с аза?
Заслезить навстречу Музам эти толстые глаза?

Думал, я всецело соткан Божьим пауком
С этим страшным и коротким, с этим русским языком —
Оказалось: только сверху паутинка, связь . . .
А внутри — проходят сверку оттиск-свет и оттиск-грязь.

Не проденешь к сизым звездам мреющую нить,
Разворот навеки сверстан, ни строки не изменить.

Там, в обратных начертаньях, в паровом свинце
Всё. И лучше перестань их проверять — они в конце.

Ну а ты — листок всего лишь, пробная печать,
Что ж ты сам себя изводишь знак за знаком различать?

Что ж ты сам себя морочишь, корчишь немо рот,—
Ничего ты не отсрочишь — лишь испортишь разворот!

А когда настанут сроки падать небесам,
Не сойдутся эти строки — «что ты есть» и «что ты сам»,

И тогда в беззвездной хмари, тьме повременной,
Память об исчезшей твари, о невнятице земной,

О питье прогорклом, невском, о золотом столбе
Станет мучить . . . только не с кем будет вспоминать тебе.

ПРЯХА, или СТИХИ НА ВТОРОЕ ИМЯ

Долго ль дышать еще мясом стеклянным?
Коротко ль пить волоконную соль?

Смертная скука! бессмертная скука!
Долго ль извечная ночь коротка?

Кто здесь такая распухла-разбухла,
Вывернув небо из мрака ротка —
Рябка татарская? девка-обидка?
Борная мгла? заварная оса?

. . . Крыска крылатая каркнула швыдко,
Обморок крестообразный неся.—
Это не к нам, это к новым древлянам
С оловом жарким обратный посол.

Так что остались одни мы во мраке.
Пусть никакое — а всё торжество . . .—
Крёстное имечко чёрно у Пряхи:
Что же, теперь мы сознали его.
Сколько сглотнул я оскользкого мяса,
Сколько струящейся соли вдохнул,
Прежде чем олово смертного часа
В якорь бессмертного часа вогнул.

ПУБЛИКАЦИИ

В. НАБОКОВ

А Д А

Предисловие переводчиков

Законченный в 1968 и впервые изданный в 1969 г. роман Набокова «Ада» считается, пожалуй, самым загадочным, самым герметичным и сложным из произведений этого писателя. За два десятилетия, минувших с момента опубликования романа, посвященная «Аде» литература на многих языках мира (к сожалению, пока что за исключением русского, который, впрочем, постоянно присутствует в романе как один из смысловых ключей) разрослась чуть ли не в особую область знаний, наподобие созданной воображением писателя «террологии», и насчитывает десятки монографий, путеводителей по книге и сотни статей, где исследуются самые разные аспекты повествования — от географических и генеалогических до биолого-ботанических и лепидоптерологических (наука о чешуекрылых).

«Ада» представляет собой сложнейшую, ажурную словесную конструкцию из разноязычных цитат и псевдоцитат, но богатство аллюзий не является, вопреки сложившемуся у нас представлению о «Набокове-Игроке-В-Бисере», самоцелью, способной свести чтение романа к занятию, напоминающему разгадывание ребуса. Фраза «Ады» демонстрирует высочайшие степени творческой свободы, соединяя в границах одного высказывания гранобластически (если прибегнуть к изысканному словарю автора романа) не просто разные, но прямо-таки взаимоаннигилирующие стилистические вселенные, где, скажем, дословно переведенные на английский строчки Тютчева соседствуют с нарочитыми американизмами, а неоромантические рефлексы Ростана, символические отсветы Метерлинка или русифицированные аллюзии к Прусту странным образом высвечивают иронические пассажи, в которых угадывается искаженный голос Маяковского, теоретиков Лефа или адептов Венского Докто-

ра, чья фамилия передается с помощью еле заметной, но убийственной артикуляционной гримасы.

Однако многоголосие «Ады» не ограничивается стилем. Преступное соседство эпох и катастрофическое смешение частей света создают особый мир, где разворачивается действие романа, и, читая эту книгу, то и дело обнаруживаешь, что предложение, мирно и плавно начатое с описания, скажем, обстановки на вилле, где ненароком поселился какой-нибудь второстепенный персонаж, завершается каскадом смертей, рождений, женитьб, разводов и войн, и, дойдя до точки, оказываешься отстоящим от исходного «хронотропа» фразы на несколько лет и на тысячи миль. Или другое: в первой части предложения герой следует на бешеной скорости в своем шевроле по шоссе, обсаженному липами, во второй части шоссе продолжается и ощущение скорости ничуть не менее острое, но герой, не заметив подмены, скачет верхом, и мысль его, неприметно для неискушенного «gereader»a (перечитывателя, слово Набокова), приобретает черты, присущие интеллектуальной атмосфере доавтомобильной эпохи.

Дополнительную сложность для русских переводчиков «Ады» составляет, как ни парадоксально, «русский пласт» романа, ибо практически почти невозможно передать иронический смысл многочисленных русскоязычных (часто данных в тексте кириллицей) вкраплений и абсолютно темных для нормального англоязычного читателя отсылок (изобилующих, кстати, нарочитыми ошибками, которые имитируют качество английских переводов русской классики) к текстам Толстого, Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Аксакова, Мандельштама и даже Окуджавы. Похоже, одной из задач автора «Ады» было создание книги, которую нельзя перевести именно на русский язык, это как бы своего рода литературная месть отечеству, изгнавшему писателя в иноязычную среду.

Чтобы хоть каким-то образом передать это «неуместное» и нелепое, хотя и навязчивое присутствие русизмов в тексте, набранном латинским шрифтом, мы передавали русские слова и словосочетания — там, где повляется кириллица — в латинской транслитерации. Единственное исключение — начало романа, перевранная цитата из «Анны Карениной». Дать ее в латинской транслитерации заставила скрытая аллюзия Набокова к «Войне и миру», который, как известно, открывается обширной французской фразой (сцена в салоне Анны Шерер).

«Ада» — необыкновенно богатая фаллитерациями проза, и по сложности фактуры она приближается к поэзии. Мы стреми-

лись, где возможно, сохранить это звуковое преизобилие, но потери были неизбежны и слишком велики, чтобы умолчать о них. Иногда тот или иной каламбур приходилось выносить в подстрочные примечания, иногда удавалось найти пусть бледное, но подобие.

Наш перевод обильно снабжен подстрочными примечаниями (они помечены звездочками внизу каждой страницы, в отличие от комментариев самого автора, которые обозначены в тексте арабскими цифрами, но вынесены, как и в английском издании, в конец публикации). Комментарии Набокова к «Аде» не всегда идут навстречу читателю, иногда они носят сознательно провоцирующий и дезориентирующий характер, и в таких случаях сами нуждаются в пояснениях, которые мы давали — где было возможно — в виде подстрочных примечаний к авторскому комментарию.

Надеемся, что, несмотря на внешнюю наукообразность аппарата и несовершенство перевода, русская «Ада» будет благожелонно принята читателем.

КМХ

Вере

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

«Vse stshastlivye sem'i bolee ili menee ne pohozi; vse nestshastlivye bolee ili menee odinakovu»¹, — говорит великий русский писатель в начале знаменитого романа («Анна Аркадиевич Каренина» в англоязычной трансфигурации Р. Г. Стоунловера, *Маунт Табор Лтд, 1880*)¹. Это утверждение, в сущности, не имеет отношения к нашей истории — семейной хронике, первая часть которой, вероятно, ближе к другому произведению Толстого, «*Detstvo i otrochestvo*» («Детство и отрочество», *Понтиус Пресс, 1858*).

Бабушка Вана по материнской линии, Дарья («Долли») Дурманова, была дочерью князя Петра Земского, губернатора американской провинции Бра д'Ор на северо-востоке нашей огромной и пестрой страны; он женился в 1824 году на Мэри О'Рэйли, светской ирландской даме. *Долли*, единственный их

ребенок, родилась в Бра и в 1840 году; пятнадцати лет от роду, в возрасте чувствительном и своенравном, вышла замуж за генерала Ивана Дурманова, коменданта Юконской крепости, кроткого провинциального джентльмена, владельца земель в *Severnaya Territorii* (Северн Ториз)², этом мозаичном протекторате, который до сих пор любовно именуют «Русским Эстоти» (огромная область, сопредельная, органически и гранобластно³ связанная как с Русской Канадией, так и с Французским Эстоти — где не только французские, но также македонские и баварские поселенцы наслаждаются безмятежным климатом под нашими Звездами-и-Полосами).

Любимым именем Дурманова, однако, оставалась Радуга, расположенная неподалеку от городка с таким же названием, не в самой Эстоти, а на побережье Атлантики, между элегантной Калугой (Нью-Чешир, США) и не менее элегантной Ладогой (Мэйн, США), — там у Дурмановых был особняк и там родились трое их детей: сын, который умер молодым и знаменитым, и пара трудных девочек-близняшек. Долли унаследовала от матери не только красоту и нрав, но и врожденную склонность к причудливому, нередко дурному вкусу, что проявилось, например, в именах, какими она наградила дочерей, — Аква и Марина («Отчего ж не, Тофана?»⁴ — осведомлялся добродушный сюр-роялистский генерал⁵ с видом притворной незаинтересованности и сдержанным, утробным смешком, который обычно переходил в смущенное покашливание: генерала пугали вспышки жениного гнева).

23 апреля 1869 года в дождливой и теплой, туманно-зеленой, весенней Калуге двадцатипятилетняя Аква, маясь своей обычной сезонной мигренью, вышла замуж за Валтера Д. Вина, манхаттанского банкира, потомка старинного англо-ирландского рода, многолетнего любовника Марины, страстный роман с которой время от времени возобновлялся. Марина, в свою очередь, где-то в 1871 году вышла замуж за его двоюродного брата, тоже Валтера Д. Вина, столь же состоятельного, но занудного типа.

«Д.» у мужа Аквы означало *Демон* (от Демьяна или Дементия), в семье так его и звали. В обществе он был известен как Вин-Ворон, или просто Черный Валтер, в отличие от мужа Марины, Чокнутого (*Dugak'a*)⁶ Валтера, или просто Вина Рыжего. Двуетное хобби Демона состояло в коллекционировании старых картин и юных красоток. Кроме того, он любил каламбуры неопределенного возраста. Мать Даниэля Вина была урожденной Трумбэлл, и он постоянно впадал — пока его жертва не меняла темы разговора — в бесконечные объяснения того, как в процессе американской истории Английс-

кий бык стал Ново-английским колоколом*. Но, так или иначе, он «вошел в дело» в двадцать с чем-то лет и с трудом вырос в манхаттанского арт-дилера. У него не было — по крайней мере, врожденной — тяги к живописи, не было склонности к тому или иному виду коммерческих операций и никакой нужды — при его солидном состоянии, унаследованном от вереницы гораздо более умелых и предприимчивых предков Винов, — трястись по ухабам «карьеры». Признаваясь, что его не особенно привлекает природа, он лишь несколько летних уик-эндов, тщательно оберегая себя от яркого солнечного света, провел в Ардесе, своем великолепном имении неподалеку от Ладора. С детских лет он заезжал всего несколько раз в другое свое поместье, севернее, близ Луги, на озере Китеж⁷, и поместье это, которым он владел пополам с кузеном, в молодости заядлым рыболовом, состояло, по существу, только из обширного, необычно-прямоугольной формы, хотя и естественного водоема; окунь, как он установил с помощью хронометра, пересекает водный прямоугольник по диагонали за полчаса.

Эротическая жизнь бедняги Дана не отличалась ни сложностью, ни красотой, но как бы то ни было (он вскоре забыл конкретные обстоятельства — так, пронесив пару сезонов, забывают ритуал примерки и цену любимого пальто) он уютно влюбился в Марину, чью семью знал еще по Радуге (впоследствии проданной мистеру Элиоту, еврейскому бизнесмену⁸). Как-то весной 1871 года он сделал предложение Марине, подымаясь в лифте первого десятиэтажного здания на Манхаттане, получил негодующий отказ на седьмой остановке («Игрушки»), в одиночестве спустился вниз и, чтобы развеяться, устремился в направлении, противоположном тому, в каком двигался Фогг⁹, — в тройное путешествие вокруг света, следуя каждый раз одним и тем же маршрутом, словно очеловечившаяся параллель. В ноябре 1871 года, когда он занимался составлением плана на вечер всё с тем же вонючим, но очаровательным чичероне в костюме цвета «кофе с молоком», которого он уже дважды нанимал, останавливаясь в этом же самом генуэзском отеле, Дану на серебряном подносе принесли каблограмму от Марины (отправленную через его манхаттанскую контору с недельной задержкой из-за того, что

* Т. е. «BULL» превратился в «BELL». Каламбур, обыгрывающий англо-американские историко-политические штампы. Джон Буль (Bull — «бык») — собирательный, с оттенком карикатурности, образ англичанина и своего рода аллегория британской цивилизации, происходит от имени Джона Буля, органиста и композитора XVII, которому приписывается создание британского гимна «God save the King» и мотета «Колокола»; Колокол (Bell) — священная реликвия времен войны за независимость, хранится в музее г. Филадельфии, общенациональный символ американской свободы, что-то наподобие символического броневика, с которого выступал вождь Русской революции.

новая секретарша по ошибке поместила послание в ячейку с индексом «АМУРЫ»), где сообщалось, что она выйдет за него замуж, когда он вернется в Америку.

Согласно *Воскресному приложению*, которое именно в те дни приступило к публикации теперь уже забытой серии «Доброй ночи, малыши Никки и Пимпернелла!»¹⁰ (этим милым созданицам приходилось делить узкую кровать) и номер которого уцелел вместе с другими старыми газетами на чердаке Ардис-Холла, свадьба Вина и Дурмановой состоялась в день Св. Аделаиды 1871 года. Спустя двенадцать лет и восемь месяцев двое обнаженных детей, один темноволосый и смуглый, другая темноволосая и молочно-белая, склонясь в косом луче горячего солнца, проникавшем сквозь чердачное окно, под которым громоздились пыльные картонки, сопоставляли эту дату (16 декабря 1871 года) с другой (16 августа того же года), наискось нацарапанной рукой Марины в углу профессиональной фотографии (в малиновой бархатной рамке на письменном столе ее мужа), где все детали — включая банальное устремление к брюкам жениха эктоплазматической невестинной вуали, тронутой ветерком при выходе молодых из церкви — совпадали с фотографией в газете. Девочка родилась 21 июля 1872 года в Ардисе (графство Ладор), в усадьбе своего предполагаемого отца, и по какой-то темной мнемонической причине была названа *Аделаидой*. Рождение другой дочери, тут уже бесспорно от самого Дана, последовало 3 января 1876 года.

Кроме этих старых иллюстрированных листов до сих пор существующей, но придурочной «Калуга Газетт», наши игривые Пимпернель и Nicolette нашли на том же чердаке футляр для фотопленок, где оказался (по словам Кима, кухонного мальчика, — нам еще предстоит об этом узнать) диафильм необычайной длины, отснятый нашим путешественником, — со множеством экзотических базаров, писаных херувимчиков и писающих мальчиков, запечатленных в трех ракурсах, при разной экспозиции. Естественно, если уж начал строить семью, то ты уже не можешь в открытую демонстрировать *интерьеры* определенного рода (такие, как групповые сцены в Дамаске, где главные персонажи — он сам, и невозмутимо покуривающий археолог из Арканзаса с обворожительным шрамом в районе печени, и три жирных шлюхи, и «невыразимая прыскалка старины Арчи», как пришло в голову назвать *эт о* третьему члену мужского состава, истинному англичанину); однако большинство кадров (с приложением каких-то чисто фактических заметок — их трудно было отыскать в разбросанных кругом путеводителях, где закладки перепутались и сбивали с толку) Дан не раз прокручивал новобрачной во время их образцового медового месяца на Манхаттане.

Но лучшая находка детей явилась из более глубоких слоев прошлого в другой коробке. То был небольшой зеленый альбом с аккуратно вклеенными цветами, которые Марина собрала сама или же получила в подарок в Эксе, горном курорте недалеко от Брига в Швейцарии, где она жила какое-то время до замужества, обычно снимая шале. На первых двадцати страницах располагались различные мелкие растения, бессистемно собранные в августе 1869 года на зеленых склонах вокруг шале, или в парке отеля «Флори», или в саду санатория неподалеку. («Моя скорлупка» — так окрестила его бедная Аква, или «Дом», — более сдержанно выражалась Марина в своих заметках). Вступительные страницы не составляли особого ботанического или психологического интереса, а последние пятьдесят листов вообще остались пустыми, но зато середина альбома, с заметно убывающим числом образцов, представляла собой подлинную миниатюрную мелодраму, разыгранную призраками умерших растений. Эти образцы помещались на одной стороне разворота, а пометки (sic) Марины Дурмановф — en regard*.

Ansolie Bleue des Alpes, Экс-ан-Валэ, 1.IX.69. От англичанина в отеле. Альпийский водосбор, «цвет ваших глаз».

Eperviere auricule. 25. X .69, экс-доктор Лапинер¹¹, из его альпинария.

Золотистый лист [гинкго]: выпал из книги «Правда о Терре», которую Аква подарила мне, перед тем как вернуться в свой Дом, 14.XII.69.

Искусственный эдельвейс принесла моя новая сиделка вместе с запиской от Аквы, которая сообщала, что этот цветок с «*mizerno*»¹² и странной» рождественской елки в Доме 25.XII.69.

Лепесток орхидеи, одной, с вашего позволения, из 99, получила вчера, срочная доставка, *c'est bien le cas de le dire*¹³, из Вилла Армина, Приморские Альпы. Отложила десять для Аквы, чтобы послать в Дом, Экс-ан-Валэ, Швейцария. «Снег падает в Судьбы хрустальном шаре», как он любил говорить. (Дата стерта).

Gentiane de Koch. Редкость, принес *lapotchka* (дорогой) Лапинер из своего «*немого питомника*», 5.1.1870.

[Напоминающая цветок синяя клякса или нечто, дорисованное фломастером] *Compliquagia compliquata* var. *aquatargina*. Экс, 15.I.70.

Бумажный цветок, найденный в сумочке Аквы, Экс. 16.II.1870, сделан пациентом из Дома, который уже не ее дом.

Gentiana verna (printaniere). Экс, 28.III.1870, на лужайке у домика сиделки. Последний день здесь.

Открытие этого странного и отталкивающего сокровища юные исследователи комментировали так:

* «en regard» (фр.) — параллельно

«Отсюда следуют,— сказал мальчик,— три важных факта: что незамужняя Марина и ее замужняя сестра зимовали в моем lieu de naissance¹⁴; что у Марины тоже был собственный доктор Кролик, pour ainsi dire¹⁵, и что орхидеи прислал Демон, предпочитавший оставаться у моря, у своей темно-синей прабабушки.

«Могу добавить»,— сказала девочка,— «что это лепесток обычной орхидеи «Бабочка»; что моя мать была еще безумнее своей сестры; и что случайно забытый бумажный цветок — прекрасное воспроизведение подлесника, подобного тем, какие в прошлом феврале усыпали склоны холмов на Калифорнийском побережье. Доктор Кролик, наш местный натуралист, на которого ты, Ван, намекал ради большой стремительности повествования, как сказала бы Джейн Остин¹⁶ (*Смит, ты ведь помнишь Брауна?*),— утверждает, что экземпляр, привезенный мною в Ардис из Сакраменто, это «медвежья нога»¹⁷, НОГА, не твоя нога, не моя, не нога девушки из Стабии¹⁸, в чем твой отец,— он же, по словам Бланш, и мой — разобрался бы (американское прищелкивание пальцами) тут же. «Скажи спасибо,— продолжала она, обнимая мальчика,— что я еще не произношу вслух научное название этого цветка. Между прочим, другая нога — *Pied de Lion**,— с той же самой жалкой лиственницы, сделана той же рукой,— возможно, смертельно больного китайского мальчика, который туда приехал из колледжа Баркли».

«Слава тебе, ПомпеяANELLA! (Ты видела ее, разбрасывающую цветы, в одном из альбомов дяди Дана, а я восхищался ею прошлым летом в музее Неаполя¹⁹). Ну а теперь не пора ли нам, девочка, одеться и спуститься вниз, чтобы спрятать или спалить этот альбом?»

«Пора,— ответила Ада.— Уничтожить и забыть. Но у нас еще целый час до чая».

Вернемся к намеку на «темное-синее», который повис в воздухе. Род бывшего вице-короля Эстоти, князя Ивана Темносинего, отца княгини Софьи Земской (1755—1809), прапрабабушки Ады и Вана, восходил к дотатарскому времени, к первым Ярославичам, когда и возникло это древнее родовое имя, означающее по-русски «темно-синий». Ван не испытывал священного трепета перед генеалогией, но, относясь безразлично к тому, что глупцы почитают и бесстрашие, и пыл за снобизм, он ощущал некое эстетическое волнение от бархатного фона, который представлялся ему как умиротворяющее, вездесущее летнее небо в просветах черной листвы фамильного дерева. Впоследствии он никогда не мог перечитывать Пруста (так же как никогда не способен был вновь наслаждаться душистой вязкостью халвы) без чувства пресыщения

* Pied de Lion — львиная нога (фр.).

и резких волн изжоги; однако его любимым оставался тот пурпурный пассаж, где упоминается имя Германтов, с чьим цветовым полем соседствовал его ультрамарин и сливался воедино в призме его сознания, приятно щекоча артистическое честолюбие Вана.

Ультрамарин или аквамарин? Тяжеловато. Не то слово! (позднейшая заметка на полях, сделанная рукой Ады Вин).

2

Связь Марины с Демоном Вином началась в его, ее и Даниэля Вина день рождения, 5 января 1868 года, когда ей исполнилось 24, а им обоим по 30 лет.

Как актриса, она не обладала способностью настолько волновать зрителей, чтобы ради искусства перевоплощения — по крайней мере пока длится зрелище — стоило связываться с такими спутниками театра, как бессонные ночи и вычурные, напыщенные постановки; но в тот вечер, когда за плюшем и раскрашенными стенами падал мягкий свет, *Ла Дурманска* (которая платила великому Скотту, своему импрессарию, 7000 долларов золотом в неделю только за рекламу плюс премилую премию за каждый ангажемент) была — с самого начала дрянного представления (американская инсценировка знаменитого русского романа в стихах, состряпанная каким-то претенциозным литературным поденщиком) — так мечтательна, мила и трепетна, что Демон (*не вполне джентльмен* в любовных делах), заключив пари с соседом по креслу, князем N, подкупил служителей в артистической уборной и затем в *cabinet recule** (как французский писатель прошлого столетия мог бы многозначительно назвать эту комнатенку, где, помимо множества пыльных банок с гримом, хранились обручи для пуделей и сломанная труба безвестного клоуна) овладел ею между двумя сценами (главы третья и четвертая многострадального романа). В первой из них она раздевалась за прозрачным экраном, демонстрируя прелестный силуэт, потом вновь появлялась в тонкой соблазнительной ночной рубашке и до конца этой несчастной сцены обсуждала местного помещика, барона д'О, со старой няней в эскимосских сапогах. По совету бесконечно мудрой старухи, она, примостясь на краю кровати, у ночного столика с гнутыми ножками, пишет гусиным пером любовное письмо и потом, в течение пяти минут, перечитывает его неизвестно зачем, потому что няня уже задремала, сидя на чем-то, что напоминает матросский

* *cabinet recule* — укромный уголок (фр.)

сундучок, а зрителей больше интересует игра искусственного лунного света на обнаженных плечах и вздымающихся грудях юной леди.

Еще не успела старая эскимоска, шаркая, удалиться с посланием, как Демон Вин покинул свое розовое бархатное кресло и направился выигрывать пари; успех его предприятия был обеспечен: Марина, целующаяся девственница, влюбилась в него накануне Нового года, во время танцев. Кроме того, жгучий лунный свет, в лучах которого она только что купалась, пронизывающее ощущение собственной красоты, пылкие чувства изображаемой ею героини и почтительные аплодисменты почти полного зала сделали Марину особенно чувствительной к уколам усов Демона. К тому же у нее оставалось достаточно времени, чтобы переодеться к выходу в следующей сцене, которая открывалась затянутым балетным интермеццо в исполнении труппы, нанятой Скотти, — он привез этих русских из Белоконска²⁰, Западное Эстоти, в двух спальных вагонах. В великолепном саду несколько юных жизнерадостных садовников, почему-то в национальных осетинских одеждах, ели малину, в то время как столь же невозможные служанки в шароварах (кто-то ошибся: слово «*samovars*» было, вероятно, искажено в каблограмме агента) срывали алтей и земляные орехи с ветвей фруктовых деревьев. По незаметному знаку дионисийского происхождения все они бросались в неистовый танец под названием «*kurva*», или «хоровод»²¹, столь шумный, что от его грохота Вин (еще дрожащий, но с блаженной пустотой в чреслах и розоватой банкотой князя Н. в кармане) чуть не свалился с кресла.

У него на мгновение замерло сердце, но это мгновение было прекрасно — когда она вбежала в розовом платье, раскрасневшаяся и возбужденная, в сад, и ее встретила аплодисментами клака, хотя ей хлопали примерно в три раза слабее, чем при исчезновении со сцены слабоумных, но красочных лицедеев из Ляски... или Иверии. Ее встреча с бароном д'О, который появился из боковой аллеи сада, весь — шпоры и зеленый фрак, почему-то ускользнула от сознания Демона — настолько он был изумлен тем, какая пропасть отделяла абсолютную реальность от двух вспышек придуманной жизни. Не дождавшись конца действия, он поспешил из театра, очутился посреди похрустывающей кристальной ночи, и когда остановился перед своим домом в соседнем квартале, где намеревался устроить великолепный ужин, звездочки снежинок усыпали его цилиндр. К тому времени, как он в санях с колокольцами вернулся к театру за своей новой любовницей, последний балет с кавказскими генералами и преображенными золушками внезапно завершился, а барон д'О, теперь уже в черном фраке и белых перчатках, стоял на коленях в центре пустой сцены, держа в руке хрустальный башмачок своей непостоянной дамы, ускользнувшей от запоздалых домогательств. Клакеры уже устали и погляды-

вали на часы, когда Марина, одетая в черное, скользнула в лебединые сани, где ее ждали объятия Демона.

Они бражничали и бродили по свету, расставаясь и снова летели друг к другу. К следующей зиме он стал подозревать, что она ему изменяет, но не мог обнаружить соперника. В середине марта, во время делового обеда с экспертом-искусствоведом, веселым, худощавым, приятным господином в старомодном фраке, Демон вставил монокль, достал из специального плоского футляра небольшую акварель и сказал, что, по его мнению, (хотя уже знал определенно, но хотел, чтобы его убежденностью восхищались) это неизвестное произведение изысканного Пармиджанино*. Акварель изображала обнаженную девушку, которая держала в руке похожее на персик яблоко, сидя на увитой плющом тумбе, и представляла дополнительную прелесть для открывателя тем, что напоминала Марину, когда та, выскочив из ванной в гостинице на телефонный звонок и присев на ручку кресла, прикрывала рукою трубку, так что Демон сквозь шум воды, где тонул ее шепот, не мог разобрать, о чем она спрашивает своего любовника. Барону д'Онскому достаточно было бросить лишь один взгляд на это приподнятое плечо, на определенный червеобразный эффект изящного растения, чтобы догадка Демона подтвердилась. Д'Онский имел репутацию человека, ничем не выказывающего своих эстетических чувств даже при виде величайшего шедевра; тем не менее, на этот раз он отложил лупу в сторону, словно снял маску, и с улыбкой нескрываемого удовольствия позволил себе приласкать незащищенным взглядом бархатистое яблоко, ямочки и нежный мох нагого тела. Может быть, мистер Ван продаст ему эту акварель здесь же? Не угодно ли, мистер Ван? Мистеру Вану не угодно. Скунси (так его звали за глаза) оставалось удовлетвориться самолюбивым сознанием того, что на сегодняшний день только он да счастливый владелец были единственными людьми, которые восхищались ею en connaissance de cause²². И вновь исчезла она, заключенная в особый футлярчик; но после четвертого бокала коньяку д'О попросил дозволения взглянуть еще разок. Оба были слегка пьяны, и Демон думал про себя: выскажется ли его гость по поводу банального сходства эдемской девушки с молодой актрисой, которую тот, без сомнения, видел в «Евгении и Ларе» или в «Ленор Ворон» (от обеих постановок камня на камне не оставил молодой, отвратительно-откровенный критик). Гость говорил о другом: эти нимфы действительно похожи друг на друга из-за их природной прозрачности, так как сходство юных акварельных тел — это

* Пармиджанино — Франческо Маццола итальянский живописец.

журчание изначальной чистоты и двусмысленного повтора; вот моя новая шляпа, у него старая, но шляпник-то в Лондоне у нас один и тот же . . .

На другой день, когда Демон пил чай в любимом отеле с дамой из Богемии, которую никогда прежде не видел и никогда не увидит впоследствии (она надеялась заручиться рекомендацией для службы в отделе стекла — *Рыбы и Цветы* — Бостонского музея), собеседница внезапно прервала свои излияния, чтобы обратить его внимание на Марину и Акву, вкрадчиво пересекавших вестибюль, с выражением модной скуки на лицах, голубоватыми мехами на плечах, в сопровождении Дана и dackel*, — и прокомментировала:

«Забавно, до чего эта ужасная актриса напоминает Еву на клепсидрофоне** со знаменитой картины Пармиджанино».

«Какая угодно, но только не знаменитая, — тихо сказал Демон, — и вы не могли ее видеть. Я не завидую вам, — добавил он, — наивный чужак — кто бы он ни был, мужчина или женщина, — который понимает, что вступил в грязь чужой жизни, вынужден испытывать довольно-таки омерзительное чувство. Как дошла до вас эта сплетня — от господина, которого зовут д'Онский, или от подруги его друга?»

«От подруги его друга», — ответила незадачливая богемская дама.

На допросе в темнице Демона, звонко смеясь, Марина поначалу плела какие-то живописные небылицы, потом не выдержала и призналась. Она поклялась, что всё уже кончено, что барон, физическая развалина и духовный самурай, уехал в Японию навсегда. Из более надежного источника Демон узнал, что на самом деле самурай отправился в шикарный маленький Ватикан, этот римский курорт, откуда он собирался вернуться в Аардварк²³, Массачусетс, через неделю. Поскольку предусмотрительный Вин предпочитал убить соперника в Европе (поговаривали, что дряхлый, но несокрушимый Гамалиил²⁴ делает всё возможное, чтобы запретить дуэли в Западном Полушарии — слухи или идеалистический каприз Президента за чашечкой растворимого кофе, так как в конце концов ничего из этого не вышло), то Демон нанял самый скоростной бензиномёт, нагнал барона (выглядевшего вполне бодрым) в Ницце, увидел, как тот входит в книжный магазин Гюнтера, вошел за ним следом и в присутствии невозмутимого, скучающего приказчика-англичанина наотмашь, надушенной перчаткой, хлестнул изумленного барона по лицу. Вызов был принят, нашли двух местных секундантов; барон решительно высказался за шпаги; и после того, как пролилась добрая толика благородной

* dackel — такса (нем.).

** клепсидрофон — неологизм В. Набокова от греч. корней «клевсидры» (водяные часы) и «фон» (звук).

крови (польской и ирландской — нечто вроде «кровавой Мэри», как выражаются в барах) и окропила два волосатых торса, беленую террасу, прихотливо расположенные ступени, ведущие в окруженный стеною сад Дугласа д'Артаньяна*, фартук случайной молочницы и рукава сорочек у обоих секундантов — очаровательного месье Де Паструя и подлого полковника С. Т. Алина, — эти господа развели тяжело дышащих соперников, и вскоре Скусни умер, но не «от ран» (как утверждали злые языки), а от, ничтожной царапины в паху, полученной то ли в результате дуэли, то ли случайно и развившейся в гнойное воспаление, которое привело к нарушению кровообращения, несмотря на несколько хирургических вмешательств в течение двух-трех лет, когда он подолгу лежал в Аардваркской больнице в Бостоне — где, кстати, в 1869 году и женился на нашей богемской даме, ныне смотрительнице Стеклоанной Флоры и Фауны в городском музее.

Марина приехала в Ниццу через несколько дней после дуэли, нашла Демона на его вилле Армина, и в экстазе примирения они забыли, откуда берутся дети, результатом чего стало чрезвычайно *interesnoe polozhenie* Марины, без которого эти вымученные записки вряд ли осуществились бы.

(Ван, я не сомневаюсь в твоём вкусе и таланте, но *вполне ли мы уверены*, что необходимо с таким пылом возвращаться к этому грешному миру, который и существует-то, может быть, лишь онирологически**, Ван? Заметка на полях, сделанная Адой в 1965 году и позже зачеркнутая ее же дрожащей рукой).

Эта отчаянная сцена была не последней, но самой короткой, всего четыре-пять дней. Он простил ее. Он обожал ее. Он очень хотел жениться на ней — при условии, что она немедленно покончит со своей театральной «карьерой». Он доказывал, что она бездарна и ее окружают ничтожества, а она кричала в ответ, что он изверг и негодяй. К десятому апреля его уже обхаживала Аква, а Марина улетела на репетиции «Люсиль», очередной отвратительной пьесы, ведущей к очередному провалу в театре Ладор.

«Прощай. Возможно, так будет лучше,— писал Демон Марине в середине апреля 1869 года (письмо это может быть и копией, переписанной его же каллиграфическим почерком, и неотправленным подлинником), — ибо какое блаженство ни сопровождало бы нашу семейную жизнь и как бы долго эта блаженная жизнь ни продолжалась, одного я не забуду и не прощу. Пусть оно останется в памяти. Позволь мне перевести это на язык театра. Ты уехала

* Дуглас д'Артаньян — вероятно, намек на Дугласа Фербенкса, который играл роль д'Артаньяна в американском кинобоевике.

** онирологически — от «онейрология» (наука о сновидениях).

в Бостон повидать свою старую тетушку — банально, но в данном случае правда, — а я отправился к *своей* тетке на ранчо около Лолиты, Техас²⁶. Ранним февральским утром (в полдень *chez vous**) я позвонил тебе в гостиницу из придорожной будки — чистый хрусталь со следами слёз после страшного шторма — и попросил тебя прилететь немедленно, потому что я, Демон, шумя поломанными крыльями и проклиная автоматический дорофон**, не могу жить без тебя, потому что я хочу, чтобы ты видела — когда я обнимаю тебя — слюдяной блеск цветов пустыни, взошедших после дождя. Голос твой был далек, но сладок; ты сказала, что ты совсем как Ева... не вешай трубку, дай мне накинуть *pençuage*²⁷. Вместо этого — так, чтобы я не услышал, — ты обратилась, я думаю, к человеку, с которым провела ночь (и которого я бы с удовольствием отправил на тот свет, если бы не был полон желанием кастрировать его). Теперь всё это лишь набросок, сделанный молодым художником в Парме в XVI веке в пророческом трансе для фрески *нашей* судьбы и совпадающий — исключая лишь яблоко страшного познания — с образом, повторенным в сознании двух мужчин. Кстати, твоя беглая горничная обнаружена полицией в местном борделе, и ее вернут тебе, как только в достаточной мере накачают ртутью».

3

Подробности Эль-бедствия (конечно же, я не имею в виду эллинизацию) в *beau milieu*²⁸ прошлого столетия, которое было и причиной и проклятием для понятия «Терра», хорошо известны из истории и слишком непристойны духовно, чтобы долго распространяться о них в книге, адресованной юным обывателям и воздыхателям, а не серьезным господам и весельчакам-могильщикам.

Конечно, сегодня, когда канули в Лету (более или менее!) и великие анти-Л-годы реакционных иллюзий, а наши блестящие аппаратики — благодетели их ФараБог!²⁹ — по-прежнему жужжат, как это было в первой половине XIX века, — чисто географический аспект происшедшего искупается комизмом, подобным узору латунного маркетри, *брик-а-Браков*³⁰ и других позолоченных кошмаров, что почитались нашими лишенными юмора предками за «искусство». Ибо и в самом деле никто не может отрицать присутствия чего-то весьма нелепого в самой конфигурации границ, которые были торжественно нанесены на многоцветную карту «Терры». *Ved'* (ведь) забавно

* *chez vous* — у вас (фр.).

** дорофон — неологизм автора, от греч. корней «дорон» (дань, давать) и «фон».

вообразить, что «Россия», вместо того, чтобы оставаться причудливым синонимом Эстоти — американской провинции, тянущейся от Северного полярного, теперь уже не заколдованного, круга, — обозначала на карте «Терры» название некой страны, или земли, словно по какому-то капризу переместившейся через перепонку двойного океана в противоположное полушарие, где она расплзлась по всей сегодняшней Татарии, от Курляндии до Курил! Но (что еще более абсурдно) если в пространственной терминологии Терры Амеросия Авраама Милтона была материально расщеплена на фрагменты водой и льдами, разделяющими понятия «Америка» и «Россия» скорее политически, чем поэтически, то во временном измерении возникали еще более сложные и даже более нелепые расхождения — не только потому что история каждой части этой амальгамы не совсем совпадала с историей соответствующего антипода в условиях раздельного существования, но потому что между двумя землями так или иначе существовал разрыв почти в столетие; разрыв, отмеченный странной путаницей указательных знаков на перекрестках уходящего времени, где не все «уже-не» одного мира соответствовали всем «еще-не» другого. *Благодаря, помимо всего прочего, «непостижимому наукой» обилию расхождений, умы bien rangés* (не подверженные моде на домовых) отвергали «Терру» как фантазию или фантом, в то время как умы беспорядочные (готовые ринуться в любую бездну) принимали эту землю как подтверждение и символ собственной своей иррациональности.*

Как предстояло убедиться самому Вану Вину в пору его увлеченных занятий террологией (тогда — областью психиатрии), даже глубочайшие мыслители, безупречнейшие философы — Паар из Чоуза и Запатер из Аадварка — резко расходились во взглядах на возможность существования «кривого зеркала нашей искривленной вселенной», как благозвучно выразился ученый, пожелавший остаться неизвестным. (Хм! Квери-квери**, как любила говаривать Гавронскому бедная мадемуазель Л. Приписано рукой Ады).

Были и те, кто утверждал, что различия и «ложные совпадения» двух миров чересчур многочисленны и настолько глубоко вплетены в клубок последующих событий, что подрывают банальные представления о теории подобий; но находились и такие, кто им категорически возражал, полагая, будто несходство только подтверждает органичность процессов, происходящих в другой реальности, и будто бы абсолютное сходство свидетельствует, скорее, о зеркальном, а следовательно об умозрительном феномене, что две

* bien rangés — зд. упорядоченные (фр.).

** Квери-квери (иск. англ.) — Странно, странно.

шахматных партии, с одним и тем же дебютом и эндшпилем, могут разветвляться на бесконечное множество вариантов — на одной доске и в двух умах — в середине игры, неизбежно приходящей к известному концу.

Скромный рассказчик должен напомнить об этом перечитывающему, поскольку в апреле (мой любимый месяц) 1869 (несомненно, год мирабели)*, в день Святого Георгия (по свидетельству чувствительных мемуаров мадемуазель Ларивьер) Демон Вин женился на Акве Вин — из досады и жалости, сочетание не столь уж необычное.

А может, были другие мотивы? Марина, с ее извращенным тщеславием, любила повторять, лежа в постели, что чувства Демона основаны на некой странной разновидности «кровосмесительного» (что бы ни скрывалось под таким термином) наслаждения (в смысле французского *plaisir*, которое дает дополнительное ощущение мурашек, бегущих по спине), когда он ласкал и смаковал, нежно раздвигал и растлевал невыразимыми, но пленительными способами плоть (*une chair*)** — одновременно и жены и любовницы, близняшек-пери, сладостных и слитых воедино, этакая Аквамарина, единая и двойная, мираж в эмирате, живая жемчужина, оргия эпителиальных аллитераций.

В действительности Аква была не столь красива, как Марина, и выглядела гораздо более безумной. На протяжении четырнадцати лет своего несчастливого брака она подолгу, чем дальше, тем дольше, лечилась в санаториях. Небольшую карту Европейской части Британского содружества — скажем, от Скотто-Скандинавии до Ривьеры, Алтара и Палермонтовии, — а также большую часть США, от Эстоти и Канадии до Аргентины, можно было бы густо утыкать булавками с эмалевыми флажками Красного Креста, помечающими бивуаки Аквы в ее Войне Миров. Одно время у нее были планы подправить здоровье («пожалуйста, немного седины вместо сплошного черного») в таких англо-американских протекторатах, как Балканы и Индия, а возможно, и попытать счастья на двух южных континентах, процветающих под нашим общим покровительством. Конечно, Татария — этот независимый ад, который в то время простирался от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, — была недоступна для туристов, хотя *Ялта* и *Алтын Даг* звучали заманчиво и загадочно... Но конечной точкой ее странствий оставалась Терра Прекрасная, куда, как ей верилось, на крыльях *libellula**** воспарит

* год мирабели — год выхода в свет романа «Война и мир» (Мира а Belli).

** *une chair* — плоть (фр.).

*** *libellula* — стрекоза.

она после смерти. Жалкие короткие письма мужу из сумасшедших домов она иногда подписывала «Мадам Shchemyashchikh-Zvukov».

После своей первой битвы с безумием в Экс-ан-Валэ она вернулась в Америку и потерпела сокрушительное поражение в те самые дни, когда Вана еще кормила грудью юная плаксивая кормилица, совсем ребенок, Руби Блэк, урожденная Блэк, которой тоже предстояло сойти с ума: ибо лишь только стоило чему-либо нежному, чему-либо хрупкому коснуться Вана (позднее — другой пример, Люсетта), как оно обречало себя на муки и несчастья, если в жилах этого существа не текла спасительная демоническая кровь его отца.

Акве не было еще и двадцати, когда экзальтированность ее природы стала принимать болезненные формы. Первый этап ее душевной болезни хронологически совпал с первым десятилетием Великого Откровения, и, хотя она легко могла найти себе другой предмет помешательства, статистика показывает, что Великое — а для некоторых Невыносимое — Откровение вызвало в мире больше случаев безумия, чем чрезмерная религиозность в Средневековье.

Откровение может быть более кровавым, чем Революция. В болезненном сознании некоторых представление о планете Терра отождествилось с другим миром, и этот «Другой Мир» не только смешался с «Миром Иным», но и с Реальным Миром внутри нас и вне нас. *Наши* маги, *наши* демоны — это гордые радужные создания с прозрачными когтями и мощными крыльями . . . но в семидесятых годах XIX века Новые Верующие вынуждали людей воображать некий мир, где наши великолепные друзья совершенно деградировали, сделались не чем иным, как кошмарными монстрами, омерзительными бесами с черными мошонками плотоядных тварей и змеиными ядовитыми зубами, осквернителями и мучителями женских душ; в то время как на противоположной полосе космической трассы радужное облако ангельских духов, обитателей сладостной Терры, возродило все самые застарелые, но всё еще могучие мифы древних вероучений, переаранжировав для мелодии* всю какофонию божеств и божественного, какая плодилась в болотах этого нашего самодостаточного мира.

Самодостаточного для твоих намерений, Ван, *entendons nous*³⁰ (Приписка на полях).

Бедная Аква, чьи фантазии питались обычными причудами рехнувшихся и христиан, отчетливо провидела грустный псалмопевческий рай, будущую Америку гипсовых стоэтажных зданий, напоминающую великолепный мебельный магазин, набитый высокими, стерильно белыми платяными шкафами

* мелодион — клавишный инструмент, где звуки возникают в результате трения вала о металлические палочки. Изобретен Дитцем в 1606 г.

и приземистыми холодильниками; она видела гигантских летающих акул с глазами на боках, которые всего лишь за одну ночь способны перенести пилигримов сквозь черный эфир, через целый континент, из тьмы к сияющему морю, прежде чем с ревом унести назад, в Сизл или Варк. Она слышала и речь и пение музыкальных шкатулок, которые заглушали ужас мысли, возвышали молодую лифтершу, опускающуюся вместе с шахтером, прославляли красоту и благочестие, Святую Деву и Венеру в жилищах, населенных одинокими и несчастными людьми. Невыразимой магнетической энергией, ославленной зловещими законодателями в этой нашей убогой стране, — о, повсюду, в Эстоти и Канадии, в «немецкой» Марке Кенненси, и в «шведском» Манитобогане, в мастерской краснорубашечника-юконца³², и в кухне красно-косыночной лясканки, и во «французском» Эстоти от Бра д'Ора до Ладора, а вскоре по обоим нашим Америкам, и по всем другим ошарашенным континентам — пользовались на Terre так же естественно, как воздухом и водой, как Библией и шваброй. Два или три столетия назад Аква могла бы оказаться еще одной ведьмой, предназначенной для костра.

В бурные студенческие годы она бросила престижный Браунхилльский колледж (основанный одним из ее не столь уж уважаемых предков) ради того, чтобы участвовать (что было тоже престижно) в какой-то из программ социального развития *Severn'ya Territorii*. Она — при неоценимой поддержке Авраама Мильтона — организовала в Белокоנסке бесплатную раздачу лекарств и безнадежно влюбилась в женатого мужчину, который, после того как целое лето дарил ей свою страсть выскочки в салоне «кемпинг-форда», служившем ему *garconnière**, предпочел скорее бросить ее, нежели подвергнуть риску свою репутацию в мещанском городке, где бизнесмены играли в «гольф» по воскресеньям и являлись членами «лож». Страшное заболевание — примерным диагнозом ее случая, как и у других несчастных, была «экстремальная форма мистической мании в сочетании с экзисталиенацией» (другими словами, обычное безумие) — захватывало ее постепенно, с промежутками экстатического умиротворения, с просветами неустойчивого здравого мышления, с внезапными мыслями о вечном-неизбежном, но эти просветы случались реже и становились короче.

После ее смерти в 1883 году Ван вычислил, что за все тринадцать лет его жизни, учитывая каждый момент возможного присутствия, учитывая тягостные визиты к ней в больницы, а также ее внезапные буйные появления посреди ночи (борьба с мужем или с хрупкой, но ловкой англичанкой-гувернанткой на лестнице, по дороге в детскую — все это под бурные приветствия

* *garconniere* (фр.) — холостяцкая комнатка.

старого *appenzeler**, — куда ее доставляли растрепанной, босой, с окровавленными ногтями), он на самом деле видел ее или был с ней рядом то время, которое, в общей сложности, не превышало срока женской беременности.

Розоватая отдаленность Терры вскоре была скрыта от нее зловещими тучами. Ее распад происходил постепенно, и каждая следующая стадия оказывалась мучительнее предыдущей; ибо человеческий мозг способен сам стать лучшей камерой пыток среди всего им по этой части изобретенного, созданного и используемого миллионы лет в миллионах мест на миллионах стонущих существ.

У нее развилась болезненная чувствительность к языку водопроводных кранов, где иногда слышится (подобно шуму крови перед погружением в сон) эхо обрывка речи, звучащего в ушах, пока моешь руки после коктейля с иностранцами. Впервые обнаружив это немедленное и несомненное, а в ее случае навязчивое и мнимое, но, по существу, абсолютно безвредное повторение того или иного разговора, она пришла в восторг от мысли, что ей, бедной Акве, посчастливилось натолкнуться на столь простой способ записи и воспроизведения речи именно тогда, когда технологи всего мира (так называемые Яйцеголовые) пытались найти широкое и коммерческое применение для чрезвычайно сложных и пока еще очень дорогих гидродинамических телефонов и прочих жалких приспособлений, чтобы заменить те, что исчезли *k chertyam sobach'im* (русск. «к дьяволу») после запрета на невыразимый «lammer»³³. Вскоре, однако, ритмически совершенная, хотя и вербально не проясненная многоречивость кранов приобрела слишком очевидный смысл. Четкость словоизлияний воды вырастала в прямой пропорции к шуму, ею производимому. Краны принимались разговаривать после того, как Аква выслушивала или просто представляла себе кого-либо из говорящих энергично и выразительно — не обязательно с ней — какого-нибудь человека с торопливо-характерным голосом, с резко индивидуальными или иностранными интонациями, болтовня неизбежного рассказчика на кошмарной вечеринке, или текучий монолог в скучной пьесе, или милый голос Вана, или стихотворный отрывок, уловленный из лекции, мальчик, милый, любимый мой, жалься, но в особенности — флер и *flo*** итальянской поэзии, например, излюбленный напев полурусского полубезумного доктора между постукиванием по коленке и пальпированием: *док-гор, док-гор, баллатетта, деболетта . . . ту, воче сбигототита . . . спиготти э дьяволетта . . . де ло кор доленте . . . кон баллатетта ва . . . ва . . . делла струтта, деструттаменте . . . менте . . . менте*³⁴. . .

* *appenzeler* (нем.) — аппензельская овчарка.

** *flo* — нежность (фр.).

останови пластинку, не то гид снова будет показывать, как показывал в то утро во Флоренции, дурацкий столп, увековечивший, по его словам, «эльмо»*, который внезапно зазеленел, когда в постепенно густеющую тень вносили каменно-мертвого Св. Зевса; или арлингтонская карга, которая без умолку твердит о чем-то своему молчаливому супругу, пока в окне проносятся виноградники, и даже в туннеле (они не имеют права сделать это, Джек Блэк, ты скажи им...). В голосе ванной (или душа) было слишком много от Калибана**, чтобы речь воды казалась достаточно членораздельной (а возможно, она бешено клокотала, желая излиться горячим потоком и избавиться от адского жара) для пустой болтовни; но бурлящие потоки становились всё более и более заносчивыми и гнусными, и когда в первом «доме» Аква услышала, как один из самых ненавидимых докторов (любитель Кавальканти) струит ненавистные советы на своем русско-немецком в ее ненавистное биде, она решила вообще не открывать кранов.

Но и эта фаза миновала. Совсем иные мучения пришли на смену журчащим попыткам ее тески, и когда в периоды прояснений ей приходилось открывать ослабевшей маленькой рукою кран умывальника, чтобы выпить воды, тепловатая лимфа лепетала теперь уже на собственном языке, без намека на притворство или перевоплощение: *Finito!* Теперь в ее сознании возникали мягкие черные ямы (*үami, үamishchi*) между блекнущими статуями воспоминаний и идей, что мучило ее до крайности; психический распад и душевная боль смыкали свои черно-рубиновые руки: одна принуждала молиться о здоровом уме, другая толкала к смерти. Предметы, созданные человеком, теряли всякое назначение или же приобретали зловещий смысл; распялки для платьев оказывались на самом деле плечами обезглавленных Теллурианов***, складки одеяла, сброшенного с кровати, скорбно взирали на нее: ячмень на обвислом веке и мрачный укор в вялом изгибе серой губы. Попытки постичь информацию, которая неведомым путем, с помощью стрелок часового устройства, передавалась людям гениальным, были столь же безнадежны, как и усилия проникнуть в язык знаков тайного общества или в смысл китайской песни, какую пел юный студент с некитайской гитарой, — она знала его еще в те времена, когда то ли у нее самой, то ли у ее сестры родился розово-лиловый ребенок. Но в ее безумии, в величии ее безумия сохранялось трогательное кокетство сумасшедшей королевы: «Вы знаете,

* «эльмо» — от *elm* «вяз» (англ.) и *elmo* «шлем» (итал.).

** Калибан — персонаж драмы В. Шекспира «Буря», олицетворение стихийного, буйного нрава.

*** Теллурианы — мифологические существа, чудовищные порождения Геи-Земли (она же Терра, или Телла (лат.)).

доктор, мне скоро, наверное, понадобятся очки, — (надменный смех), — никак не могу разобрать, что показывают мои наручные часы . . . Ради Бога, скажите, который на них час? Ага! Полтретьего . . . А кто третий? Благодарю вас, благо-дарю, а ведь «благо» и «дарю» это близнецы, у меня есть близняшка-сестра и близнец-сын. Знаю, знаю, вы хотите осмотреть мой пудендрон*, мою Мохнатую Альпийскую Розу у нее в альбоме, сорванную десять лет назад . . .» (показывает радостно и с достоинством десять пальцев: десять есть десять!).

Затем мучения достигли таких невыносимых глубин и кошмарных размеров, что ее рвало и она кричала. Она хотела (и ей разрешили, спасибо больничному парикмахеру Бобу Бобу) обстричь свои темно-каштановые локоны почти наголо, до аквамаринового ежика, потому что они росли *внутри*, в череп, и там начинали завиваться. Составные картинки неба или стены рассыпались, как бы тщательно они ни были собраны — неосторожный толчок или локоть сестры так легко мог потревожить эти легкие фрагменты, и они превращались в пустые анонимные частицы, в подобия фишек «скрэббла», повернутых буквами вниз, а она не могла снова перевернуть их солнечной стороной, потому что руки связал санитар с черными глазами Демона. Но вскоре страх и страдание, словно двое детей в шумной игре из романа графа Толстого «Анна Каренина», испускали последний вопль восторга и убежали возиться в кусты, и снова, все реже и реже, в доме становилось тихо, а их мать звали так же, как и ее мать.

Одно время ей казалось, что мертворожденный шестимесячный мальчик, неожиданно крохотный плод (резиновая рыбка, произведенная ею на свет в ванной, — его *lieu de naissance***), помеченное просто как X в ее грезах, — после лыжной прогулки, когда она врезалась в пень лиственницы на полной скорости) каким-то образом остался жив, и его внесли к ней в Nusshouse-«скорлупку»³⁵ с поздравлениями от Марины, завернутого в окровавленную простынку, но целого и невредимого, чтобы записать как ее сына Ивана Вина. Но иногда она была убеждена, что это ребенок ее сестры, рожденный вне брака, во время изнурительной, но весьма романтической метели, на Секс Руже, в горной хижине, где некто доктор Альпинер, практикующий врач и любитель горечавки, уютно располагался подле грубо сложенной красной плиты, провидчески выжидая, пока высохнут его башмаки. Некоторая путаница обнаружилась спустя без малого два года (сентябрь 1871 — ее надменное сознание все еще сохраняло десятки дат), когда, сбежав

* Пудендрон — от *pu-denda* (лат.) половые органы.

** *lieu de naissance* — см. комментарий под № 14.

из своего очередного прибежища и как-то добравшись до незабвенного загородного домика, принадлежавшего мужу (выдать себя за иностранку: «Синьор кондуктор, ай вонт гоу Лаго ди Луга, хир гельд»)*, она воспользовалась тем, что ему делали массаж в солярии, прокралась на цыпочках в их бывшую спальню и была приятно поражена: ее пудра в полупустой стеклянной пудренице с яркой надписью «Цветы» по-прежнему стояла на ее ночном столике; ее любимая, огненного цвета, ночная рубашка лежала смятая на коврик у постели; для нее это означало, что черный кошмар лишь ненадолго затмил ее постоянную лучезарную близость с мужем — с того самого дождливого зеленого дня, дня рождения Шекспира, но, увы, для большинства это значило совсем иное — что у Марины (после того как Г. А. Вронский, киношник, оставил ее ради длинных ресниц другого *Khristosik'a*³⁶, как он именовал всех хорошеньких актрисок) возник, *c'est bien la cas de le dire*, блестящий план развести Демона с безумной Аквой и женить на себе: Марина подозревала (радостно и не без оснований), что снова была беременна. Марина провела *rukuliruyushchiy*³⁷ месяц с ним в Китеже, но, когда она самонадеянно раскрыла свои намерения (как раз перед приездом Аквы), он вышвырнул ее из дома. Тем не менее позже, в последний короткий промежуток своего бессмысленного существования, Аква отбросила от себя эти смутные воспоминания и занялась блаженно и безраздельно чтением и перечитыванием писем от сына из шикарного «санатория» в *Центавре, Аризона*. Он писал неизменно по-французски, обращаясь к ней *petite maman*** , и рассказывал о забавной школе, где он должен будет жить после того, как ему исполнится тринадцать. Ей слышался его голос сквозь ночной звон в ушах, которым сопровождалась полные замыслов последние, последние бессонницы, и это успокаивало. Обычно он называл ее мамми или мама, произнося последний слог на английский манер, а первый — по-русски; кто-то сказал, что тройни и геральдические дракончики часто встречаются в трехязычных семьях, но, *что бы там ни было*, сейчас не возникало никаких сомнений (исключая, возможно, омертвевший, дьявольский, полный ненависти рассудок Марины) в том, что Ван — это *ее, ее*, Аквы, любимый сын.

Не желая страдать от новых рецидивов болезни после полосы благодатного душевного покоя и понимая, что покой этот долго не продлится, она совершила то же самое, что когда-то совершил другой пациент в далекой Франции, где условия содержания в «доме» были намного хуже. Некий доктор Фрэйд, один из административных кентавров,— он, вероятно, и есть

* Я хочу ехать до Лаго ди Лу Га (англ.) — здесь деньги (нем.).

** *petite maman* (фр.) — маменька.

эмигрировавший брат (с фамилией, измененной в паспорте) доктора Фрэйта из Синьи-Мондьё-Мондьё в Арденнах, а скорее всего это одно и то же лицо, так как оба они родом из Вены, Изар, и оба единственные сыновья (как и ее сын) — разработал, а скорее, воскресил метод лечения, имеющий установкой «групповые» переживания, когда наилучшие пациенты помогают персоналу, если у них имеется «предрасположенность» к этому. Аква в свою очередь повторила трюк хитрой Элеоноры Бонвар, посвятив себя застиланию постелей и протираанию стеклянных полок. *Асторий* в Сент-Таурис, как бы он там ни назывался (кто помнит об этом, такие мелочи забываются мгновенно, когда плывут в абсолютной безвещности) был, возможно, более современным, с более изысканным видом на пустырь, чем конспиталь³⁸ в холодном доме Мондфрэйда, но и там и там сумасшедший пациент мог во мгновение ока перехитрить слабоумного педанта.

Меньше чем за неделю Аква накопила около двухсот таблеток различной силы воздействия. Большинство лекарств ей было известно — совсем легкие успокаивающие, и препараты, вышибавшие с восьми вечера до полуночи, и более сильные снотворные, после которых у вас через восемь часов небытия оставалось ощущение свинцовой тяжести в голове и онемевшие конечности, и наркотик, что сам по себе восхитителен, но несколько смертелен в сочетании с патентованным слабительным «Морона»; и пурпурная пухленькая пилюля, напоминавшая ей — тут она всегда смеялась — таблетки из одной (популярной среди школьниц Ладора) испанской повести, где с их помощью цыганочка-чаровница усыпляет всех спортсменов и свору ищеек при открытии охотничьего сезона. Чтобы какой-нибудь хлопотун не воскресил ее на полпути, в процессе уплыwania, Аква решила, что должна обеспечить себе максимально долгий период уединенного оцепенения за пределами *оранжереи*, и выполнение этой, второй части проекта было облегчено и поддержано другим агентом, или двойником изарского профессора, неким доктором Зиг Хайлером, которого все почитали как великого человека, почти гения, в том же смысле, как бывает *почти пиво*. Пациентки, которые — под контролем студентов медиков — подтверждали подергиванием века и других полуприватных частей тела, что Зиг (тип слегка уродливый, но не без обаяния) являлся им в грезах как «папа Фиг», не упускавший случая шлепнуть девушку по заду и лихо воспользоваться плевательницей, считались выздоравливающими: им разрешались после пробуждения прогулки на свежем воздухе и пикники. Хитрая Аква изобразила подергивание века, притворно зевнула, раскрыла свои голубые глаза (резкий контраст с черными как смоль зрачками, унаследованными от Долли, ее матери), надела желтые брюки и черное болеро, прошла насквозь сосновый бор, поймала попутный мексиканский грузовик,

немного проехала, нашла подходящую ложбину в зарослях кустарника, и там, написав короткое письмо, принялась спокойно поедать с ладони, сложенной лодочкой, многоцветное содержимое своей сумочки, словно русская деревенская девка, *lakomyashchayasya yagodami*, которые она только что собрала в лесу. Аква улыбулась, мечтательно наслаждаясь мыслью (довольно «каренинской» по стилю) о том, что ее исчезновение подействует на людей примерно так же, как неожиданное, загадочное, необъяснимое прекращение многолетней серии комиксов в воскресной газете. Это была ее последняя улыбка. Аква нашли быстро, но она умерла гораздо раньше, чем сама предполагала, и наблюдательный Зигги, всё еще в своих необъятных шортах цвета хаки, сообщил, что Сестра Аква (как они все ее почему-то называли) лежала, как в доисторических погребениях в положении *fetus-in-utero**,— комментарий, вполне привычный для его студентов, так же, впрочем, как и для моих.

Предсмертное письмо, обнаруженное при ней и адресованное мужу и сыну, могло быть написано самым здравомыслящим человеком на этой или на той земле.

Aujord'hui (а хоть и heute³⁹) Я, кукла, закрывающая глаза, заслужила психичное право наслаждаться природой вместе с герром Доктором Зиггом, Сестрой Иоанной Грозной и несколькими «пациентами» в соседнем *boru* (бору), где я видела белок, похожих на скуссов,— точно таких же, Ван, как твой Темно-синий предок завез в Ардис-парк, где тебе, конечно же, когда-нибудь доведется гулять. Стрелки часов, даже когда они бездействуют, должны сами понимать и указывать своим тупым часикам, где они находятся, иначе передо мной не циферблат, а лишь белое лицо с полоской усов. Точно так же и *chelovek* (человек) должен понимать, где он находится, и указывать на это другим, иначе он даже не *klok* (клок) *chelovek'a*, не он, не она, а «сусоcek чего-то», как любила говорить бедняжка Руби, мой маленький Ван, о своей скудной правой груди. Я, несчастная *Princesse Lointaine*¹⁰ теперь уже *tres lointaine*** , не понимаю, где нахожусь. Поэтому я должна согрешить. Итак, adieu, мой дорогой, дорогой сын, и прощай, бедный Демон. Не знаю, какое сегодня число или время года, но есть и сезон, и резон считать этот день, с массой хитроумных муравышек, которые выстраиваются в очередь за моими любимыми пилюлями, прекрасным.

[Подписано] Сестра твоей сестры, которая
teper' iz ada (теперь из ада).

«Если мы хотим, чтобы солнечные часы жизни показали нам свои стрелки,— комментировал Ван, развивая метафору в розовом саду Ардиса в конце августа 1884 года,— мы должны всегда помнить, что сила, достоинство и наслаждение человека в том, чтобы действовать назло и вопреки теням

* fetus-in-utero — зародыш в утробе (лат.).

** tres lointaine — очень далекая (фр.).

и звездам, которые скрывают от нас свои секреты. Только нелепая власть боли заставила ее сдаться. И я нередко думаю, что было бы намного лучше — эстетически и экстатически, — выражаясь по-эстетски... если бы она действительно оказалась моей матерью».

(Продолжение следует.)

ПРИМЕЧАНИЯ К «АДЕ»

Вивиан Даркблум
(Vivian Darkbloom)*

1. Все счастливые семьи и т. д.: здесь высмеиваются неправильные переводы русских классиков. Предложение, открывающее роман Толстого, вывернуто наоборот, а отчество Анны Аркадьевны дается с абсурдным мужским окончанием, в то время как к фамилии добавлено неверное окончание женского рода. «Маунт Табор» и «Понтиус Пресс» — намек на преобразование (по-моему, термин мистера Г. Стайнера) и искажения, которые вносят в текст невежественные и претенциозные переводчики.

2. Severniya Territorii: Северных Территориях. Здесь и далее транслитерация основывается на старой русской орфографии.

3. гранобластно: россыпью (мозаикой).

4. Тофана: намек на «аква тофана»** (см. любой хороший словарь).

5. сюрроялистский: украшенный рогами.

6. Dugak: «дурак» (рус.).

7. Озеро Китеж: намек на легендарный город Китеж, который сияет на дне озера в русской сказке.

8. Мистер Элиот: мы еще раз встретимся с ним на страницах романа в компании автора «Талии» и «Агонических строк».

9. Фогг — Филеас Фогг, путешественник у Жюль Верна, отправившийся в кругосветное путешествие с востока на запад.

10. Доброй ночи, малыши: искаженные имена взяты из комикса для детей, говорящих по-французски.

11. Доктор Лапинер: по некоторой странной, но довольно симпатичной причине большинство врачей в этой книге носят имена, связанные с кроликами. Французский «lapin» в фамилии Лапинер соответствует русскому «Кролик» — любимый лепидоптерист***, а русское слово «заяц» звучит как «Sejtz» (немецкий гинеколог); латинское «*cunilulus*» включено в фамилии «Никулин» («внук великого родентиолога Куникулинова»), и греческое «lagos» в «Лагосс» (врач, который приходит к Вану

* Vivian Darkbloom — латинская транслитерация анаграммы имени и фамилии автора «Ады».

** «аква Тофана» — Aqua Tofana, или Aquino di Napoli, — яд без цвета и запаха, назван по имени Теофани на Палермо, приговоренной к удушению в 1709 году в Неаполе за продажу этого зелья женам, предпочитавшим избавиться от мужей.

*** лепидоптерист — ученый, специализирующийся на изучении бабочек.

в старости). Обратите внимание также на Кониглетто — итальянского специалиста по исследованию рака крови.

12. *mizernoe*, франко-русская форма «miserable» в смысле «жалкий».

13. *c'est bien le cas de le dire* — уместный в данном случае.

14. *lieu de naissance*, место рождения.

15. *pour ainsi dire*, так сказать.

16. Джейн Остин: намек на стремительное повествование в диалогах «Мэнсфилд Парка».

17. «Bear-foot» (Медвежья нога), а не «Bare-foot» (bosonogij); дети раздеты.

18. Девушка с цветами из Стабии: намек на знаменитую настенную роспись (так называемая «Весна») из Стабии в национальном музее Неаполя: девушка, разбрасывающая цветы.

19. См. строку 18.

20. Белофонкс: русский двойник Уайтхорса (город на северо-востоке Канады)

21. малина: хоровод: намек на нелепые ошибки Лоуэлла при переводе стихотворений Мандельштама (в «Нью-Йорк Ревю», 23 декабря 1965)

22. *en connaissance de cause*: (фр.) представлять, что все это значит.

23. Аардварк: вероятно, университетский городок в Новой Англии*.

24. Гамалиил: гораздо более удачливый государственный деятель, чем наш В. Г. Хардинг.

25. интересное положение: беременность.

26. Лолита, Техас: этот город существует или, вернее, существовал, так как был переименован, я думаю, в связи с появлением известного романа.

27. *penyuar* (рус.) пеньюар.

28. *beau milieu* прямо в середине.

29. Фара Бог: очевидно, бог электричества.

30. Брак: намек на художника, рисующего пустыки.

31. *entendons-nous*: поговорим откровенно.

32. юконцы: (рус.) жители Юкона.

33. *lambre* — янтарь (фр. *lambre*) — намек на электричество.

34. баллатетта: фрагмент и искаженный отрывок из «Маленькой баллады» итальянского поэта Гвидо Кавальканти (1225-1300). Соответствующие строки: «ты испугала меня, и слабый голосок, который плачет о моем горящем сердце, летит с моей душой и этим напевом, говорящей о расстроеном сознании».

35. Nuss: по-немецки «орех»**.

36. *Khristosik*: (рус.) христосик

37. *rukuliruyushchiy*: рус. от фр. *rouculant*, воркующий, нежный.

38. конспиталь: «госпиталь», взято из романа Диккенса «Холодный дом». Каламбур бедняги Джо, не путать с беднягой Джойсом.

39. *aujourd'hui, heute*: (фр., нем.) сегодня.

40. *Princess Lointaine*: Далекая принцесса, название французской пьесы.***

* Аардварк — анаграмма Гарварда.

** «nut house» — сумасшедший дом, психушка (амер., жарг.).

*** в русск. переводе «Принцесса Греза», пьеса Эдмона Ростана (1868-1918), известного французского драматурга эпохи неоромантизма.

ИЗ «ПОСЛЕДНИХ ЛИСТЬЕВ»

В. В. РОЗАНОВА

«Последние листья» писались В. В. Розановым весной и летом 1918 г. в Сергиевом Посаде. Эта книга, отдельные главы которой В. Р. Ховин успел опубликовать в своем журнале «Книжный угол» еще при жизни Розанова (№№4 и 5; после его смерти печатание продолжилось в №№ 6 и 7), идейно примыкает к «Апокалипсису нашего времени» (Сергиев Посад, 1917—1918. Вып. 1-10). Поэтика «Последних листьев» позволяет соотнести их также с «опавшими листьями», как называл Розанов записи, которые вел с 1910 г., объединенные им в книги «Уединенное» (СПб., 1912), «Смертное» (СПб., 1913), «Опавшие листья» (СПб., 1913 и 1915), «Сахарна» (1913) и «Мимолетное» (1914)*. «Опавшие листья» писались и в 1918 г., в последние месяцы жизни Розанова, хотя, по замечанию их современного публикатора, записей за 1918 г. «почти не видно» (Контекст 1989. С. 171). Сквозные темы, мотивы и образы объединяют эти — формально разделенные — тексты, сосредоточенные, по выражению Розанова, на общих «точках» мирового горизонта» (далее Розанов перечисляет эти «точки» — темы, всегда актуальные для него: «почему люди у м р а ю т . . . », «религия . . . », «язычество и христианство . . . », «Ветхий и Новый

* Две последние, оставшиеся неизданными, недавно частично опубликованы В. Г. Сукачем; см.: Литературная учеба. 1989, № 2; сб. Контекст 1989. М., 1989; ранее отрывки из «Мимолетного» публиковались Ю. К. Терапиано (Новый журнал. 1968. Кн. 92) и входили в том «Избранного» Розанова (Мюнхен, 1970).

заветы, Иегова и Христос, евреи и европейцы...» (Контекст 1989. С.201)). Кажется, совместная публикация полного корпуса «опавших» и «Последних листьев» обнаружила бы своеобразную поэтическую цельность розановского творчества конца 1910-х гг. (уместно было бы включить в такую публикацию и письма Розанова последних лет) с тою только разницей, что в центре «опавших листьев» — особенно предсмертных — сам Розанов, его «бедная душа и ее судьба», а «Последние листья» — о Боге, мире и «человеке на земле».

Знаменательно появление розановских фрагментов в этом выпуске ВНЛ — в соседстве с прозой Евгения Харитонова и Леона Богданова, также не увидевшей света при жизни авторов. Влияние Розанова было для этих писателей определяющим не только (и не столько) на стилистическом уровне, но, скорее, в их отношении к слову, в выборе предмета писательского внимания, каковым вновь предстает, по преимуществу, собственная «бедная душа и ее судьба». При таком ракурсе взгляда не письмо становится, по словам Харитонова, «заменой жизни или новой жизнью», а собственно жизнь делается «предметом прямого, нередуцированного литературного осмысления, а литература — основным смыслом... жизненных интересов, переживаний и поступков»*. В свете этой писательской позиции понятна неслучайность автохарактеристики Харитонова («человек уединенного слова»), вполне применимой и к Богданову, напрямую связывающей их со столь актуальной для новой литературы розановской традицией.

Главки «Из таинств Христовых» (одноименный отрывок из «Последних листьев» см.: Книжный угол. 1919, № 6) и «Земля и человек» публикуются впервые по автографам, хранящимся соответственно в Рукописных Отделах Пушкинского Дома (ИРЛИ АН СССР; П 1, оп. 24, ед. хр. 105) и ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ф. 474). Главки «Обращение планет», «Тени», «Филология или онтология» и «Время человека» впервые опубликованы Л. С. Флейшманом (Континент. 1976, № 7) и печатаются по тексту этого издания. Записи, датированные 29 июня 1918 г. и отнесенные нами к «опавшим листьям», публикуются впервые по автографу (ГПБ, ф. 248).

* Пригов Д. Памяти Евгения Владимировича Харитонова // Neue Russische Literatur. Almanach 2-3. Salzburg, 1979—1980. S. 171.

ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТЬЯ

ИЗ ТАИНСТВ ХРИСТОВЫХ

Нельзя не обратить внимание на то, что все «спасение рода человеческого» совершилось в каких-то загадочно осенних красках, осенних тонах,— в какой-то таинственно осенней температуре. И нельзя не связывать этого с ноуменом всего христианства — бессемянным зачатием. Как тайну всей Библии — с слишком «семянным» сотворением мира. Немного увеличив дело, смотря на него «в лупу», мы бы сказали, что Христос «спасал» человечество «чудесами нехотя», и своими притчами (что за манера суждения, высказывания) как бы в «пол-оборота», не становясь «прямо к лицу человека», не гремя на него с Синая и не «рыская» с неба яко лев. Ни Синая, ни Апокалипсиса, этих токов мы нигде в Евангелии не услышим. Небо рвется в Апокалипсисе, Синай дрожит под Иеговою: а Христос все «тихо ходит» и кажется ничто, ни сама смерть,— не заставит его побежать, вообще не заставит его торопиться. Ни — туда, ни — сюда. Еще больше возьмем лупу, еще увеличим объект зрения, и мы увидим, что все «спасение рода человеческого» происходит в каких-то страшных кисло-сладких тонах: как будто Христу «хочется» спасти человечество, но и с другой стороны «не очень хочется». Именно — «в пол-оборота» спасает. (См. «Воскрешение Лазаря», — «друга своего»). Отсюда — «притчи», — этот странный тип и образ выражения чего-то нерешительного, безвольного, «нехотя». Очень все благоразумно, но уж очень все спокойно. «Вышел сеятель сеять» — и вот мы слушаем, что будет «дальше». Где здесь «не убий», «не укради», «не прелюбы сотвори». «Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна». Все — в пол-оборота. Все как бы с интонацией, уж если очень увеличивать дело и превращать его в плоскость: «Не любо — не слушай» . . . , и все это как-то очень мало божественно. Это действительно говорит о человеке, или о полу-*лајтцѣ*, но не о Боге. «Жгучего, испепеляющего» — ничего в Евангелии. Тихий свет луны. И нет опаляющего огня солнца.

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК

Тверже садись на землю человек. Тверже садись на землю человек. Тверже садись на землю человек. Сиди на ней как клушка сидит на яйцах своих. Знаешь ли ты, человек, что хотя в порядке времени ты и был создан позднее земли, но неуменально земля есть яйцо твое.

<20 апреля 1918>

ОБРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТ

Дифирамбы, дифирамбы, дифирамбы...

Дифирамбы, дифирамбы, дифирамбы...

.....

О, пойте песни, народы

.....

Знаете ли вы, знаете ли вы, что всякая настоящая радость нема:

.....

Ах... так вот отчего планеты нёмо обращаются около солнца...

ТЕНИ

Стою за службою в церкви Красного Креста. Стою, слушаю, слежу. И мне кажется, что ничего этого — нет, как нет

A = не-A

т. е. по логике — нет, а следовательно — и исторически тоже нет этого. Не может быть.

Прежде всего, нельзя не поразиться, что на монетах Константина Велико-го, коих сохранилось так много, что ими можно мостовую мостить, нет ни одного — так-таки решительно ни единого, «Христианского символа», как равно и на монетах с изображениями Св. Елены. Везде (т. е. у Константина) — *solī invicto*, т. е. культ Митры. Наконец, есть монеты *погребальные*, но и там — два изображения: одно — в грустной траурной тоге, но — совершенно языческое; другое: как он, подобно Илье Пророку, уносится в небо на колеснице. Везде, однако, изображения языческие: это — квадрига, четырех-конная языческая колесница, уносящая в небо императора, который, по сумме монетных изображений, как будто и не становился никогда христианином.

Что же такое и о чем написано у Евсевия? Принятия христианства как будто никогда не было.

Затем, меня прямо томит эта мысль: что принятия христианства никогда и не могло быть, что это религия, что называется, «не статичная».

Прежде всего, когда я шел еще в церковь послушать этот праздник, то мне представилось совершенно кошунственной самая мысль, будто Бог мог быть так безжалостен к человеку, чтобы оставить его вовсе без религии, вовсе — «не открыв Себя» целых 4000 лет, т. е. дольше, чем сколько тянется христианство? Возможно ли это, мыслимо ли по жалости Бога к человеку, возможна ли такая бессмыслица? Но и затем. Меня в самом деле смущает мысль: а как же физиология? Христианство — оно все «чистенькое», «книжка», и в нем ни испражнений, ни роженицы — нет. А «Отец» — Он Бог, т. е. «тот Единый Бог, Который и есть», будем ли мы изображать Его в гиматие и со скипетром и с орлом у ног, как греки; или как египтяне — в виде Озириса-Онуфрия, т. е. сидящего и одетого, но тоже — «на престоле» (очевидно, этот-то Озирис-Онуфрий, «уже без физиологии», и послужил источником и началом и Зевса-Этофора, и Юпитера у римлян, т. е. сидящего и «одетого»: но в основе-то, мы знаем, у египтян, как и у греков, с римлянами вслед их, Бог имеет изображение именно физиологическое, рождающее, как Свое «первозданное»). Бог — он Отец, и это — прежде всего. Что же мы видим у христиан? Бог у них именно — не Отец, и это — прежде всего. «Бог есть Дух», от этого начинаются все катехизисы. «В Боге — крови нет», «Бог — бескровен», вернее — он «обескровен», и именно у христиан, у христиан у первых. Не понимаю: или я сплю и вижу все это во сне, или христиане все спят и все видели только во сне, и увидели какого-то Странного Бога — бескровного. Откуда же — кровь, первое начало мира, из которого все и рождается. Ибо уже из крови — семя, или точнее — семя есть энтелехия крови: кровь *есть*, потому что *будет семя*, кровь создана, чтобы потом *породиться семени*. Явно, что Бог не только кровен, но и слишком кровен, полно-кровен, Бог именно — Семя, как и изобразили первые египтяне, «cum phallo in statu erectionis», как и открытый Озирис. Да иначе и быть не может, потому что откуда же иначе взялась жизнь? Что же христиане нам проповедуют о «Боге Духе Святом»: он — не только не «Святой», а это есть просто *мнимость*, т. е. его просто — нет. Христианство есть именно «мнимость», а не — «религия». И это, в конце концов, не только космологически, но и нравственно: в самом деле, что за «отец», который гнушается своей «рождающей дочери»? Это — не Отец, а чужой, посторонний, проходящий мимо человек. Очевидно, в безфизиологического Иисуса христиане поверили как «в проходившего мимо человека» вследствие какой-то красоты слов. Христос совершенно чужд миру и идет

мимо его, идет именно «в погибель», как и речет Апокалипсис: так как это «Дух», т. е. одни «разговоры». А-космический, а-физиологический Христос миру просто не нужен и если бы он «пришел», то «не знаю, зачем приходил». Христианство именно — марево, мираж. И его — не может быть. Это

не-А

которое вздумало быть

А

Не только не «Альфа» и «Омега», но даже никакая из промежуточных маленьких букв.

Что же такое совершилось и что такое христианство? И вот эта обедня, которую я слушаю. Я слушаю ее и берусь за руки, пробуждая себя, думая: «не сплю ли я?». Но — нет, не сплю. Значит, «все спят люди и ничего не видят». Кажется, «христианство приснилось» и только приснилось человечеству: как и речет Апокалипсис.

Хорош «Отец», который не хочет видеть рождающей дочери. Это именно монастырь, и Христос основал монастыри. Вот *для них* он и пришел, «сын погибельный». Тогда понятно, что он а-космичен, что Он есть «Дух». И вообще христианство объяснимо. Конец, точка, смерть. Тогда — Димитрий Сергеевич. Тогда зачем же говорить о Христе, когда можно говорить о Димитрии Сергеевиче и Зинаиде Николаевне, — людях ведь ясных и наших дней литераторах. Это очевидно и уже никого не может смутить. «Проходите, люди добрые; нам вас не нужно и вас просто нет».

Дву-заветное возвращается к *едино-заветию*, и, как говорит опять Апокалипсис: возвращается «к песне Раба Божия Моисея», которую поют Апокалипсические человеки. Дело в том, что право именно язычество, и ноумен всего его — юдаизм: все возвращается к Единому-Божию, после которого неведомо что настало. И вот царство, наисильнее всего поверившее в то, — «неведомо что настало»:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил благословляя

— оно первое, именно первое, и разрушилось. Но оно есть начало падения вообще всей европейской цивилизации. О которой можно поистине сказать, что она «как бы была», а на самом деле «не была». Тенность. Тень. И не более. Посмотрите на монеты. Какая роскошь — там; скудость воображения — здесь. И Аннибалы, и Рим. Гомер и Фемистокл. А Людовики, как Александры

и Николаи,— пробежали как мыши. Только еще Дарвин, да Спенсер, да телефоны с телеграфами. «Проходит лик мира сего» (Достоевский). Проходит и уже воистину «прошел». «Будет все новое» (Апокалипсис). Вот — оно и настало. Пришли солдатушки-ребятушки. И начался опять trivium и quadrivium. Расколотили царство и начали опять эпоху средних веков. «Все — новое и сначала».

* * *

Бунт Апокалипсиса с этого и начинается. Он начинается с а-физиологизма христианства. Бросает этот а-физиологизм в Преисподнюю, говоря, что «и история пойдет вспять за этим», что если где нет физиологии,— то какая же будет и история? И вот смотрите, престол Божий:

«И вот — престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду... И от престола исходили молнии и громы* и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом... и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле... поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред Престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (глава 4).

А кончается все родами женщины:

«И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот... дракон... Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на

* Все это,— все символы грома и молнии, как равно символы топора, секиры и копья,— по объяснению мне одного ученого археолога,— суть обычные в древности фаллические символы. («Ученый археолог» — несомненно, И. А. Рязановский, «Князь обезьяний». См. о нем в книге А. Ремизова «Кукха», Берлин, 1923. Примечание Л. Флейшмана).

землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить,— дабы, когда она родит, пожрать ее младенца».

Здесь все связано, все понятно. Мир — подставка для человека. А человек — для вечной жизни, вечного бытия.

Новый Иерусалим. Как все понятно. Как все гороскопично. Поистине, Апокалипсис — гороскоп человечества. Опять — тривиум и квадриум. И милые монеты античности.

ФИЛОЛОГИЯ ИЛИ ОНТОЛОГИЯ?

Нельзя не удивляться, когда мы высказываемся о движении светил небесных, мы всегда неизменно говорим о *движении их «вперед»*, хотя ведь есть такое же точно сказать о движении «назад»..? Ибо где же тут «вперед» и где же тут «назад», когда вообще в нескончаемых пространствах нет ни «вперед», ни «назад», ни «право», ни «влево», ни «вниз», ни «вверх»? И так, правильно и уравновешенно было бы говорить хотя о 1/2 светил небесных, что они двигаются «назад». Но — никогда не говорим. Почему?

Тут является сомнение: одна ли это филологическая односторонность, или есть нечто и *от мира*? Почему это, летя по эллипсу вокруг Солнца, земля будто бы летит *все вперед и нисколько не назад*?

Разгадка,— онтологическая или внутри нас — душевная,— по-видимому, заключается в видении Иезекииля, где, говоря о странных и страшных колесах, пророк то же высказывает, что они «шли *все вперед*», «на лице свое не оборачиваясь». Видение это, конечно выражающее космогонические движения, говорит нам о том, что суть всего движущегося заключается в вечном «вперед», в каком-то *онтологическом, а не пространственном «вперед»*, и что есть какой-то будто «грех», если бы какая-нибудь вещь «оглянулась *назад себя*», посмотрела «под ноги себе» и вообще узнала нечто «обратное» (жена Лота, обернувшаяся *назад* и тотчас обратившаяся *в соляной столб*).

Вообще, это — из загадок, *почему и как* возникло «лицо вещей»? И еще: почему возникла *спина* и всяческое *спинное расположение вещей*?

По-видимому, в спине *меньше зрения*. Спина — тупее, неощущаемое. Спина — она глухая. «Вперед» планета летит, потому что «нужны глаза», чтобы «знать, куда летишь», «выбрать, определить *путь*». И хотя, конечно, «у планеты *нет же глаз*», но как-то, с другой стороны, все-таки и планета не совершенно лишена зрения. Ну, «нет глаз», но ресницы-то уж наметились?

Фу, чудовищная мысль. Что же, это — воздух? Лучеиспускание, которое есть и у планет? Или — магнитные ее токи?

Глубокое, глубокое: «не вем».

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА

Праздник, сияние, отдых. Больше ли он труда? О, воистину — больше. Человек трудится, человеку — труд? Но что тут хорошего? Воистину, если человек «бог» или божествен — он создан для праздности. Вот «Эврика». Наоборот, если он демоничен и черен — он создан для «труда».

Праздник — это стихотворение. Труд — проза. Говорят, раньше человек говорил только стихами. Отсюда большой объем «Илиады», «Одиссеи», «Наля и Дамаянти». Потому что он был блажен. Так вот в чем коренится зло. Бог был solus и вечно праздновал. В один день у Него мелькнуло: «дай — потружусь». И Он «создал мир». Так в «создании мира» и заключается зло. И — от того, что Богу для этого надо было отменить отдых.

Странно, но — так.

Солнце вечно «отдыхает». «Нести на себе планеты» и заставлять их «вращаться» — ему ничего не стоит.

* * *

Гимны, гимны, гимны. Дайте музыки и гимнов.

* * *

О всем хочется плакать и за все благодарить.

О всем хочется плакать и за все благодарить.

* * *

Вот уже раз 6 мне пришлось поцеловать руку. Один раз совсем незнакомому человеку (проводил меня, больного, до дома). Два раза неприятному человеку. И еще — Макринскому. Совсем молодому и очень приятному.

* * *

Что это?

Мир?

Звезда?

Нет, это моя бедная душа и ее судьба.

29 июня 1918

Вступительная статья и публикация Г. Морева.

Леонид АРОНЗОН

СТИХИ

БЕСЕДА

Где кончаются заводы,
начинаются природы.
Всюду бабочки лесные —
неба легкие кусочки, —
так трепещут эти дочки,
что обычная тоска
неприлична и низка.
Стадо божиих коровок
в многи тысячи головок
украшает огород
и само себя пасет.
Обернувшись к миру задом
по привычке трудовой,
ходит лошадь красным садом,
шею кончив головой.
Две коровы сходом Будд
там лежат и там и тут.

Оля

На груди моей тоски
зреют радости соски,
присосись ты к ним навеки,
чтоб из них полились реки!

Чтоб из рек тех тростники
и цветы в мошке и осах
я б срывала на венки
для себя длинноволосой.

Альтшулер

Чересчур, увы, печальный,
и в радости угрюм,
и в природе зрю не спальню,
а пейзаж для чистых дум.
К виду дачного участка
приноровлены качели,
станем весело качаться,
чем грешить на самом деле.

Оля

Где я сама к себе нежна,
лежу всему вокруг жена,
телом мягким как ручей
обойму тебя всего я,
и тоску твоих речей
растворю в своем покое.

Альтшулер

О, как ты весело красива
и как красиво весела,
и многорукая как Шива
какой венок бы ты сплела!

Оля

Я полна цветов и речек,
на лугу зажжем мы свечек,
соберем большие стаи,
посидим и летаем.

Альтшулер

Хоть ты заманчива для многих
и как никто теперь нага,
но не могу другим, убогим,
я наставлять с тобой рога,
они ужасно огорчатся,
застав меня в твоей постели,
к природе данного участка
прибиты длинные качели . . .

Летят вдоль неба стаи птички,
в глубь болот идет охотник,
и пейзаж какой-то нищий
старым дождиком приподнят,
но по каинской привычке
прет охотник через терни,
чтоб какой-нибудь приличный
отыскать пленэр для смерти.

Оля

Я полна цветов и речек.
На лугу зажжем мы свечек.
Соберем большие стаи.
В тихом небе летаем.

1967

ПАВЛОВСК

Уже сумерки, как дожди.
Мокрый Павловск, осенний Павловск,
облетает, слетает, дрожит,
как свеча, оплывает.
О август,
схоронишь ли меня, как трава
сохраняет опавшие листья,
или мягкая лисья тропа
приведет меня снова в столицу?

В этой осени желчь фонарей,
и плывут, окунаясь, плафоны,
так явись, моя смерть, в октябре
на размытых, как лица, платформах,
а не здесь, где деревья — цари,
где царит умирание прели,
где последняя птица парит
и сползает, как лист, по ступеням
и ложится полуночный свет
там, где дуб, как неузнанный сверстник,
каждой веткою бьется вослед,
оставаясь, как прежде, в бессмертье.

Здесь я царствую, здесь я один,
посему — разыгравшийся в лицах —
распускаю себя, как дожди,
и к земле прижимаюсь, как листья,
и дворцовая ночь среди гнезд
расточает медлительный август
бесконечным падением звезд
на открытый и сумрачный Павловск.

1961

ПОСЛАНИЕ В ЛЕЧЕБНИЦУ

В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, как при свече,
и доживи до лета, чтобы сплести венки, которые унесет ручей.
Вот он петляет вдоль мелкоlesia, рисуя имя мое на песке,
словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке.
Высокая здесь трава, и лежат зеркалами спокойных небыстрых небес
голубые озера, качая удвоенный лес,
и вибрируют сонно папиросные крылья стрекоз голубых,
ты идешь вдоль ручья и роняешь цветы, смотришь радужных рыб.
Медоносны цветы, и ручей пишет имя мое,
образуя ландшафты: то мелкую заводь, то плес.
Да, мы здесь пролежим, сквозь меня прорастает, ты слышишь, трава,
я, пришитый к земле, вижу сонных стрекоз, слышу только слова:
может быть, что лесничество тусклых озер нашей жизни итог:
стрекотанье стрекоз, самолет, тихий плес и сплетенье цветов
то пространство души, на котором холмы и озера, вот кони бегут,
и кончается лес, и, роняя цветы, ты идешь вдоль ручья по сырому песку,
вслед тебе дуют флейты, рой бабочек, жизнь тебе вслед,
проводя тебя, все зовут, ты идешь вдоль ручья, никого с тобой нет,
ровный свет надо всем, молодой от соседних озер,
будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый
и чистый собор,
если нет его там, то скажи, ради Бога, зачем
мое имя, как ты, мелколесьем петляя, рисует случайный, небыстрый
и мутный ручей,
и читает его пролетающий мимо озер в знойный день самолет.
Может быть, что ручей — не ручей,
только имя мое.

Так смотри на траву по утрам, когда тянется медленный пар,
рядом свет фонарей, зданий свет, и вокруг твой безлиственный парк,
где ты высохшей веткой рисуешь случайный, небystрый и мутный ручей,
что уносит венки медоносных цветов, и сидят на плече
мотыльки камыша, и полно здесь стрекоз голубых.

Ты идешь вдоль ручья и роняешь цветы, смотришь радужных рыб,
и срывается с ногных листов от руки мной набросанный дождь,
ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь.

Апрель 1964 г.

ЛЕСНОЕ ЛЕТО

I

В ручье, на рыхлом дне, жилище
пиявок, раков и мальков,
он на спине лежал их пищей,
и плыли волосы легко
вниз по теченью, что уносит
в сетях запутанную осень.
А возле, девой пламенная,
вслух бормоча молитвослов,
его семья, как будто племя,
носилась в облаке цветов.

II

Где красный конь свое лицо
пил, наклонясь к воде лесной,
буравя й его чела,
там в пряже путалась пчела,
и бор в просветах меж дерев
петлял побегом голых дев,
и там, где трав росой потея,
сон рыбака будили тени,
старик, трудов осилив ы,
рек: «Рыбы, дети мне, не вы!

III

Век простоять мне на отшибе
в никчемном поиске дробей,
когда я вижу в каждой рыбе
глаза ребенка и добрей,
что в дыме высушенной сети
со мной беседуют о смерти!»—
И в реку стяхивая рыб,
старик предался полудреме:
«Возможно, вовсе я не был,
но завертяться не сразу помер!»

IV

Так, обратясь к себе лицом,
лежал он на песке речном.

Сентябрь 1965 г.

МАДРИГАЛ

Pite

Как летом хорошо — кругом весна!
то в головах поставлена сосна,
то до конца не прочитать никак
китайский текст ночного тростника,
то яростней горошины свистка
шмель виснет над пионами цветка,
то, делая мой слог велеречив,
гудит над Вами, тонко Вас сравнив.

Лето 1966 г.

* * *

Pite

Я и природу разлюбил:
озера, темные лесами,
зады прекрасные кобыл,
на кои я смотрел часами.

Печаль, и та мне тяжела,
пейзаж, украшенный Данаей,
иль в полдень тучная пчела,
в поля летящая за данью,—
все это, мысль не веселя,
лишь раздражает, опостылев,
и не касаются меня
сады, от августа густые.

<Лето> 1966 г.

УТРО

Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма,
как и легок, и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознес его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там — душа, заключенная в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом
Господь!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о Боге венчает вершину холма!

* * *

В пустых домах, в которых все тревожно,
в которых из-за страха невозможно,—
я именно в таких живу домах,
где что ни дверь, то новая фобия,
в них я любил, и в них меня любили,
и потерять любовь был тоже страх.

Любое из чудовищ Нотр-Дама
пустяк в сравненье, ну хотя бы с дамой,
что кем-то из времен средневековья
написана была на полотне,
затем сфотографирована мне,
как знак того, что мир живет любовью.

Не говорю уже об утвари другой,
но каждая могла бы быть тоской,
которой нет соперниц на примете:
любая вещь имеет столько лиц,
что перед каждой об пол надо, ниц;
ни в чем нет меры, все вокруг в секрете.

Не смею доверяться пустоте,
ее исконной, лживой простоте,
в ней столько душ, невидимых для глаза,
но стоит только в сторону взглянуть,
как несколько из них или одну
увидишь через время или сразу.

И если даже глаз не различит
(увы, плохое зрение — не щит),
то явный страх на души те укажет.
И нету сил перешагнуть черту,
что делит мир на свет и темноту,
и даже свет, и тот плохая стража.

Не смерть страшна: я жить бы не хотел —
так что меня пугает в темноте? Ужели инфантильную тревогу
мой возраст до сих пор не победил
и страшно мне и то, что впереди,
и то, что сзади вышло на дорогу?
<1966 или 1967>

* * *

Гуляя в утреннем пейзаже,
я был заметно одинок,
и с криком: «Маменьки, как страшен!»
пустились дети наутек.

На видя все: и пруд, и древо,
пустой гуляющими сад —
из-под воды смотрела Ева,
смотря обратно в небеса...

Весна 1967

ВИДЕНИЕ АРОНЗОНА (НАЧАЛО ПОЭМЫ)

На небесах безлюдье и мороз,
на глубину ушло число бессмертных,
но караульный ангел стужу терпит,
невысоко петляя между звезд.

А в комнате в роскошных волосах
лицо жены моей белеет на постели,
лицо жены, а в нем ее глаза,
и чудных две груди растут на теле.

Лицо целую в темя головы,
мороз такой, что слезы не удержишь,
все меньше мне друзей среди живых,
все более друзей среди умерших.

Снег освещает лиц твоих красу,
моей души пространство освещает,
и каждым поцелуем я прощаюсь...
Горит свеча, которую несу
на верх холма. Заснеженный бугор.
Взгляд в небеса. Луна еще желтела,
холм разделив на темный склон и белый
По левой стороне тянулся бор.

На черствый наст ложился новый снег,
тот тут, то там топорщилась осока,
неразличим, на темной стороне
был тот же бор. Луна светила сбоку.

Пример сомнамбулических причуд,
я поднимался, поднимая тени.
Поставленный вершиной на колени,
я в пышный снег легко воткнул свечу.

Январь 1968

ОСЕНЬ 1968 ГОДА

Прислонившийся к дубу дверей
вижу медь духового оркестра,
темный лак и карет и коней,
от мундиров, шелков и ливрей
здесь в саду и тревожно и
тесно.

Только нет ни того, ни того,
только шум тишины листопада,
ну, да Боже мой, что еще
надо,
ведь иначе и быть не могло!

1968

* * *

Дурна осенняя погода:
кругом тоска и непогода.
Понур октябрь в октябре,
и в скуке не отыщешь брода.
Одно спасение — колода.
Или, колоды не беря,
сесть перечитывать себя.

<1968>

* * *

Есть между всем молчание. Одно.
Молчание одно, другое, третье.
Полной молчаний, каждое оно —
есть матерьял для стихотворной сети.

А слово — нить. Его в иглу проденьте
и словонитью сделайте окно —
молчание теперь обрамлено,
оно — ячейка невода в сонете.

Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,

чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!

Когда наступает утро — тогда наступает утро.

Дерево — это Дерево.

И я в состоянии сада в саду.

Ветер Хлебникова.

(Или — вот ветер Хлебникова
стаю ангелов вспугнул!)

ТЕБЕ ТИХО?

Вот улицы с морями на конце.

Вот боль раскрывающегося бутона.

Вот Т Щ А С Т Ь Е.

Вот я — слововой!

Словодырь — я подзреваю себя.

Умнолей — я обхожу себя.

Вот я — навсегда я.

Я — навсегда устал.

Мне — т и х о .

Не свет я вижу, а свет света, а свет света — свет.

Я вернулся из рая в рай.

Вернулся задумчиво танцевать,
задумчиво пить,
задумчиво целовать,
задумчиво верить,

я вернулся задумчиво.

В трех шагах от трех шагов

увидел я двойника Бога —

это был мой тройник:

бык — девочка,
бык — бабочка,

и мы пригубили друг друга

Ы пригубляли
пили
танцевали **ДРУГ ДРУГ**

пока я говорил:

— Господи, Ты светишь таким светом,

Что я не вижу Тебя!

ПУСТОЙ СОНЕТ

Кто вас любил восторженней, чем я? Храни
я свою печаль вам так внушить, вам так
в ночь, проникнув в сад, проник

и вы в садах стойте тоже. Хотел бы я, хотел бы

что та трава нам стала ложем. Проникнуть

полон вашими ночными го

нить и ночь в саду, и сад в ночи, что

ли в них, сады стоят.

за, что с небесами срав
зами... Что вы стоя

лосами. Иду на них, лицо полно гла
нуть в вас, поднять глаза, поднять гла

внушить, не потревожив ваш вид травы ночной,

вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже. Стоят сады,

стоят сады, стоят в ночах и вы в садах,
ваш вид ее рущья, что та печаль

* * *

Г.

Неушто кто-то смеет вас обнять?—
Ночь и река в ночи не столь красивы!
О, как прекрасной столь решиться быть смогли вы.
что, жизнь прожив, я жить хочу опять?

Я цезарь сам. Но вы такая знать,
что я — в толпе, глазеющей учтиво:
вон ваша грудь! вон ноги ей под стать!
и если лик таков, так что же пах за диво!

Когда б вы были бабочкой ночной,
я б стал свечой, летающей пред вами!

Блится ночь рекой и небесами.
Смотрю на вас — как тихо предо мной!

Хотел бы я коснуться вас рукой,
чтоб долгое иметь воспоминанье.

<Май — июль> 1969

* * *

Нас всех по пальцам перечеть,
но по перстам! Друзья, откуда
мне выпала такая честь
быть среди вас? Но долго ль буду?

На всякий случай: будь здоров
любой из вас! На всякий случай,
из перепавших мне даров,
друзья мои, вы — наилучший!

Прощайте, милые. Своя
на все печаль во мне. Вечерний
сйжу один. Не с вами я.
Дай Бог вам длинных виночерпий!

<Лето> 1969

* * *

Несчастно как-то в Петербурге.
Посмотришь в небо — где оно?
Лишь лета нежилой каркас
гостит в пустом моем лорнете.
Полулежу. Полулечу.
Кто там полудетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
нельзя писать в такую пору:
«Деревья заперты на ключ,
но листьев, листьев шум откуда?»

<Ноябрь — декабрь 1969>

* * *

И мне случалось видеть блеск —
сиянье Божьих глаз:
я знаю, мы внутри небес,
но те же неба в нас.

Как будто нету наказанья
тем, кто не веруя живет,
но нет, наказан каждый тот
незнаньем Божьего сиянья.

Не доказать Тебя примером:
перед Тобой и миром щит.
Ты доказуем только верой:
кто верит, тот Тебя узрит.

Не надо мне Твоих утех:
ни эту жизнь и ни другую,—
прости мне, Господи, мой грех,
что я в миру Твоим тоскую.

Столь одиноко думать что,
смотря в окно с тоской?
— Там тоже Ты. В чужом пальто.
Совсем-совсем другой.

<1969>

* * *

Благодарю Тебя за снег,
за солнце на Твоём снегу,
за то, что весь мне данный век
благодарить Тебя могу.

Передо мной не куст, а храм,
храм Твоего КУСТА В СНЕГУ,
и в нем, припав к Твоим ногам,
я быть счастливей не могу.

<1969>

* * *

Мое веселье — вдохновенье.
Играют лошади в Луне,—
вот так меня читают Боги
в своей высокой тишине.

Я думал выйти к океану
и обойти его кругом,
чтоб после жизни восхищаться
его нешуточным умом.

Но дождь, запутавшийся в листьях
меня отвлек от тех идей.
Уснув, не перестал я слушать
шумящих лиственных дождей.

<1969— весна 1970>

* * *

То потрепешет, то ничуть . . .
Смерть бабочки? Свечное пламя?
Горячий воск бежит ручьями
по всей руке и по плечу.

Подняв над памятью свечу,
лечу, лечу верхом на даме.
(Какая бабочка вы сами!)
Чтобы увидеть смерть, лечу.

Потом она летит на мне,
а я дорогу освещаю.
Какая грудь на ней большая!
Как тихо в темной тишине!

А всюду так же, как в душе:
еще не август, но уже.

<Весна 1970>

* * *

В двух шагах за тобою рассвет.
Ты стоишь вдоль прекрасного сада.

Я смотрю — но прекрасного нет,
только тихо и радостно рядом.

Только осень разбросила сеть,
ловит души для райской альковни.
Дай нам Бог в этот миг умереть,
и, дай Бог, ничего не запомнив.

<Лето или осень 1970>

* * *

Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами,—
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана.
Видит Бог, чтоб застрелиться тут не надо ничего

<Сентябрь 1970>

ЗАПИСЬ БЕСЕД

I

Чем я не этот мокрый сад под фонарем, брошенный кем-то возле черной ограды?

Мне ли забыть, что земля внутри неба, а небо — внутри нас?

И кто подползет под черту, проведенную как приманка?

И кто не спрячется за самого себя, увидев ближнего своего?

— Я.— ОТВЕЧАЕМ МЫ.

Ведь велико желание помешаться.

Запертый изнутри в одиночку, возвожу себя в сан Бога, чтобы взять интервью у Господа.

Больно смотреть на жену: просто Офелия, когда она достает из прошлого века арфу, пытаюсь исполнить то, чего не может быть.

Или вырыть дыру в небе.

На белые костры церковей садятся птицы, вырванные из ночи.

Или в двуречье одиночества и одиночества, закрыв ладонями глаза, нарушить сон сов, что

эту тьму приняв за ночь,
пугая мышь, метнутся прочь.

На лугу пасутся девочки, позвякивая нашейными звонками.

Где нищий пейзаж осени приподнят старым дождиком, там я ищу пленэр для смерти.

И ем озерную воду, чтобы вкусить неба.

Свистнув реки по имени, я увожу их вместе с пейзажами.

И ем озерную воду, чтобы вкусить неба.

Но как уберечь твою красоту от одиночества?

Очарован тот картиной,
кто не знает с миром встреч.
Одиночества плотиной
я свою стреножу речь.

Кто стоит перед плотиной,
тот стоит с прекрасной миной:
рои брызг и быстрых радуг
низвергают водопады.

На другом берегу ливны,— нет! на другом берегу реки, в ее ливне,
я заметил ящерицу:

что это была за встреча!—

Софья Мелвилл

Софья Rita

Софья Михнов

Софья Галецкий

Софья Данте

Софья Господь Бог!

Пустые озера весов взвешивали миры и были в равновесии.

II

(Партита № 6

партита № 6

номер шесть

номершесть номершесть

номершестьномершестьномершесть)

или вырыть дыру в небе

Множкратное и упорное: не то, не то, не то, не то

Множкратное и упорное: то, то, то, то, то, то, то

Смолчал: ужели я ——— не он?

Ужаснулся:

суров рождения закон:

и он не я, и я не он!

Лицо на нем такое, как будто он пьет им самую первую воду.

Его рукой —

немногие красавицы могли бы сравниться с ней!—

я гладил все, как дворецкий, выкрикивая имя каждого:

гладил по голове: сердце чьей-то дочери, свое старое, засушенное между страниц стихотворение,—

голову приятеля, голову приятеля, голову приятеля.

Буквально надо всем можно было разрыдаться.

Сегодня я целый день проходил мимо одного слова.

Сегодня я целый день проходил мимо одного слова.

Уже не говорили — передавали друг другу одни и те же цветы, иногда брали маски с той или иной гримасой, или просто указывали на ту или другую, чтобы не затруднять себя мимикой.

Но вырвать из цветка цветок
кто из беседующих мог?

И я понял, что нельзя при дереве читать стихи,
и дерево при стихах,
и дерево при стихах,
и дерево при стихах.

III

В. Хлебникову

Если б не был он, то где бы
был его несчастный разум?
Но возможно, он и не был —
просто умер он не сразу.

И если был он где, то возле
своего сидел кургана,
где пучеглазые стрекозы
ему читали из Корана.

И где помешанный на нежном
он шел туда, ломая сучья,
где был беседой длинной между
живую кровь любивших чукчей.

И там, где маской Арлекина
заря являлася в тумане,
он там, где не был,— все покинул.
И умер сам, к чему рыдания?

И умер сам, к чему рыдания?
В его костях змеятся змеи,
и потому никто не смеет
его почтить засмертной данью.

IV

Меч о меч —— звук.

Дерево о дерево —— звук.

Молчание о молчание —— звук.

Вот двое юношей бороносоцев.

Вот двое юношей думоносоцев.

Вот юмор Господа Бога —— закись азота!

И я восхитился Ему стихотворением:

— Не куст перед мной, а храм КУСТА В СНЕГУ,
и пошел по улице, как канатоходец по канату,
и я забыл, что я забыл
и я забыл, что я забыл.

Два фаллические стража
по бокам большой залупы —
то Мечети пестрый купол
в дымке длинного пейзажа.
Черный воин в медном шлеме —
так мне виден Исаакий,
и повсюду вздохи, шелест,
будто рядом где-то маки.

Вот стрекоза звуколетит.
И все летящее летит,
и все звучащее звучит.

V

БАБОЧКА

(трактат)

ВСЮДУ	бабочка	летит
неба	бабочка	летит
славы	бабочка	летит
Михнова	бабочка	летит
мыслью	бабочки	летит
звуком	бабочки	летит
в виде	бабочки	летит
верхом на	бабочке	летит
на фоне	бабочки	летит
на крыльях	бабочки	летит
НА НЕБЕ	БАБОЧКА	СИДИТ

VI

А я остановился то тем, то этим, то тем, то этим,
чтоб меня заметили,
но кто увидит чужой сон?

Я вышел на снег и узнал то, что люди узнают только после их смерти,
и улыбнулся улыбкой внутри другой:

КАКОЕ НЕБО! СВЕТ КАКОЙ!

1969 год

Публикация Владимира Эрля

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир ЭРЛЬ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЕОНИДЕ АРОНЗОНЕ (1939-1970)

I

Я горжусь тем, что мне выпало счастье быть другом Леонида Аронзона. Наша дружба длилась чуть больше двух лет и прервалась (по моей вине) весной 1967 года.

Когда меня познакомили с Аронзоном, ему было двадцать шесть лет, мне еще не исполнилось восемнадцати. Он был уже в то время поэтом с определенным литературным именем. В доме Аронзона бывали такие люди, как Леонид Ентин и Алексей Хвостенко, Леон Богданов и Юрий Галецкий, позже — Анри Волохонский и Евгений Михнов.

Я хочу особо отметить, что, хотя наше знакомство состоялось на чисто литературной почве, а Аронзон ежеминутно буквально дышал стихами, наши отношения были вполне человеческими и — несмотря на солидную разницу в возрасте — на равных. В частности, мы были (по его инициативе!) на «ты».

Я бывал в доме Аронзона практически ежедневно и терзал его своими стихами. К слову сказать, я не был его учеником в обычном смысле этого слова, к тому же моя строптивость... Только через несколько лет после

смерти Аронзона я стал сознавать, скольким я ему обязан, и в первую очередь тем, что он открыл передо мной классическую поэзию: Баратынского, Пушкина, Державина.

Аронзон твердо отстаивал свои творческие позиции (как и я свои), что, однако, нисколько не мешало ему ценить те мои сочинения (впрочем, чаще — только части их, увы!), которые были действительно удачны или, по крайней мере, неожиданны. Несколько раз мы предавались совместному творчеству, хотя, к сожалению, результаты оказались, на мой взгляд, неудачными.

Я уже сказал, что наши отношения были на равных — благодаря этому обстоятельству я, совсем тогда юный начинающий поэт, приобрел особое, переданное мне моим старшим другом зрение, точнее, мироощущение. Я перестал ощущать разницу в возрасте, хотя сначала, конечно же, смотрел на него «снизу вверх», да и чувствовал себя порой *в не по чину барственой шубе*. Эта, вообще присущая Аронзону черта — быть вне всяческих условностей, быть раскрепощенным и свободным — освобождала и тех его друзей, которые способны были принять свободу как норму.

По моей просьбе Аронзон часто показывал мне свои стихотворения и прозу, многое дарил, давал с собой на время, иногда просто читал вслух. Ему были присущи также необыкновенное остроумие и самоирония. Иногда, прочитав какое-либо стихотворение из ранних, он комически ужасался или начинал хохотать. Чаще, однако, он хохотал над виршами современных ленинградских поэтов: вкус у него был точный, слух и глаз — острыми, поэтому, разбирая услышанное или прочитанное, он был беспощаден.

Я слышал чтение стихов — не побоюсь сказать — сотни поэтов. Поразили меня только двое: Крученых и Аронзон. Аронзон читал чужие стихи так, как будто это были его собственные, только что написанные, еще не прожитые стихи. Никогда не забуду, как он читал свое любимое: *Воспоминание Пушкина, Астры Красовицкого, Запустение Баратынского, Приморский сонет Ахматовой* . . .

Мы довольно часто выпивали или просто сидели и курили — то у него дома, то гуляя по улицам, то специально выезжая за город . . . Иногда мы заходили в кино. Как-то мы забрались в бывшие *Новости дня* и несколько раз подряд смотрели фильм Ива Кусто из подводной жизни. Кадры фильма то необыкновенно веселили нас, то вызывали леденящий ужас. А однажды нам довелось испытать ужас несколько иной. Мы забрели, прогуливаясь, в Дом писателя и застали там следующую сцену: сгрудившись вокруг заставленного чашечками из-под кофе стола, группа молодых поэтов, подняв к потолку горящие

глаза, хором читала: *Свеча горела на столе, / Свеча горела . . .* Чувствовалось, что они предаются этому не первый раз. Аронзон скривился и выскочил за дверь. Там он долго бился в корчах — топал ногами, плевался, хохотал . . .

Вообще он был очень азартен. Однажды я купил два водяных пистолета, и мы устроили буйную дуэль. Помню, что я стрелял метче. Было много шума и хохота.

Я познакомил Аронзона со своими друзьями, поэтами с Малой Садовой: Романом Белоусовым, Тamarой Буковской, Александром Мироновым, отцом хеленуктизма в России Дмитрием М.¹ (ему Аронзон посвятил свою небольшую поэму *Сельская идиллия*) и другими. С некоторыми из них Аронзон тоже коротко сошелся; Рома Белоусов, в частности, стал в 1967-68 гг. его учеником.

. . . Я хотел бы как можно меньше или вообще не говорить о себе, и все, что сказано выше, сказано только затем, чтобы дать несколько живых штрихов в портрету очень остроумного, обаятельного и необыкновенно талантливого в человеческом общении Леонида Аронзона. Он никогда не был, что называется, всеяден, и мы, совсем тогда юные, интересовали его как новые люди, еще неизвестные ему своим, именно нашему возрасту присущим, складом. Мы были для него новостью, шире, как говорится, — новым, а к новому Аронзон стремился всегда. Он хотел видеть и знать все. Характерно его высказывание о любимом им Кафке: «Как это все знакомо! Скушно читать — словно лежишь в теплой ванне».

Вот его любимые поэты: Пушкин, Державин, Баратынский, Хлебников, Красовицкий, Заболоцкий. Кажется, он совсем не знал Вагинова, Введенского и Крученых. Почти совсем не знал Хармса. Очень любил *Кротонский полдень* Бенедикта Лившица. Любил Мандельштама и Пастернака. Иногда восторженно, иногда иронично читал Ахматову. Ею и Цветаевой он «переболел» в юности. Знал на память громадное количество стихов. Любил, как всем понятно, поэтов-графоманов. С восхищением повторял строки Анаевского:

*Полетела роза,
На зердуговых крылах,
Взявши вергуоза,—
С ним летит в его руках.*

¹ Автор этих строк тоже был хеленуктом. (Хеленукты — участники авангардной литературной группы «Могучая Чучка», действовавшей в Ленинграде в 1966—1970 гг. В нее входили кроме Дм. М., А. Миронова и автора настоящей статьи также поэт и прозаик В. Немтинов и А. Хвостенко, бывший членом-корреспондентом группы.— *Прим. ред.*.)

Очень любил бабочек и рыб. Набокова не любил.

Аронзон был очень музыкален. На магнитофоне были записи Майлз Дэвиса и Рэй Чарлза (это то, что я помню точно). Очень любил итальянское барокко. Восхищался *Итальянским концертом* Баха (Глен Гульд — судьбы моей тапер / играет с нотными значками).

Не умея рисовать, Аронзон начал в 1966 году писать маслом и написал великолепный автопортрет. Рисовал очень смешные и выразительные карикатуры. А какими чудесными размывками оформлена рукописная книга *Ave!*

Еще одной его страстью был кинематограф. Особенно он восхищался гениальным фильмом *Чайки умирают в гавани* и Бергманом.

Моби Дик и Гоголь почитались им едва ли не как Библия.

* * *

Вот, я уже прожил на много лет больше Лени. Но я с каждым годом все чаще думаю о нем с тоской и любовью. Мне выпало громадное счастье знать и быть другом такого замечательного человека и поэта, как Леонид Аронзон. Я необыкновенно горд тем, что мне посвящено несколько его стихотворений — и среди них такое лестное, как

*Мы — сударь, и, нас гоня,
брега расступятся, как челядь,
и горы нам запечатлеют
скачки безумного коня.*

*И на песке озерных плесов,
одетый в утренний огонь,
прекрасноликий станет конь,
внимая плеску наших весел.*

II

Нам известно более двадцати так или иначе зафиксированных заметок и статей об Аронзоне. Часть их — либо краткие биографические справки о поэте, либо «вводки» к публикациям его произведений; большинство остальных носит воспоминательно-упоминательный характер. Собственно поэзии Аронзона посвящены только пять интересных работ, это (в хронологическом порядке): часть статьи Викторией Андреевой *В «малом круге» поэзии*¹,

¹ *Аполлонъ-77*. — Париж, 1977, с. 95-96.

выступление А. Б. Альтшулера на вечере памяти поэта в 1975 г.¹, статья об Аронзоне Елены Шварц², комментарий С. В. Дедулина к двум стихотворениям³ и выступление Р. Топчиева *Леонид Аронзон: Память о рае*⁴.

Впервые о самом существенном в поэзии Леонида Аронзона сумела сказать (правда, очень робко) В. Андреева: «... Аранзон⁵ оставался ... поэтом внутреннего уединения, погруженным в созерцание «пейзажей своей души» ... В его стихах, как, впрочем, и в чертах его лица всегда чувствовался отзвук «зазеркалья», того смещенного мира, который мучительно тревожил поэта». Далее она продолжает совсем уже неверно: «Желание проснуться, выйти из сомнамбулического оцепенения действительности — его настоящая тема» (95)⁶. Гораздо точнее (мы во многом следуем за ним в своих рассуждениях) поставил вопрос о «внутреннем» мире поэта Рафаил Топчиев: главное, — говорит он, — то, что Аронзон «знал что-то очень важное и о многом рассказал нам. И вот одна из таких важных вещей — это память о рае. У поэта есть прямые признания, что он был там. Образы, запечатлевшиеся в его памяти, воссоздают его стихи»⁷. Далее, постоянно называя мир поэта *раем*, Топчиев четко, кратко и с большой тонкостью характеризует его и описывает его обитателей (см. ниже наше возражение), природу и топографию. Не вступая в бесцельный спор с автором выступления, которое мы, повторяем, очень высоко оцениваем, скажем только, что предпочитаем называть мир, воссозданный в творчестве поэта, не раем (ср. заметку Р. Пуришинской, где сказано то же слово, однако с совершенно иной интонацией и, следовательно, смыслом), а *миром-пейзажем* (или *пейзажем-миром*).⁸

Мой мир такой же, что и ваш ... —

писал Аронзон в 1970 году, —

*тоска — тоска, любовь — любовь, и так же снег пушист,
окно — в окне, в окне — ландшафт,
но только мир души.*

¹ 37 : № 12. — Л., 1977, осень, с. 48-50.

² Там же, с. 112-115.

³ *Стихи ленинградских поэтов об Анне Ахматовой* / Собрал и прокомментировал С. Д. — В печати.

⁴ Рукопись. — Изложение выступления опубликовано в заметке М. Г. *Памяти Леонида Аронзона*. — *Часть*: № 27. — Л., 1980, сент. — окт., с. 296-298.

⁵ Такова орфография В. Андреевой и редакторов-составителей альманаха!

⁶ Здесь и далее страницы указанных публикаций даются в тексте.

⁷ Выступление Р. Топчиева цитируется по рукописи, любезно предоставленной нам Р. Пуришинской.

⁸ Здесь кажется неуместным рассуждать о религиозном смысле творчества Л. Аронзона и о его взаимоотношениях с Богом. Скажем только, что он, как и всякий подлинный поэт, глубоко чтит Бога Творца и ощущал свою нерасторжимую с Ним связь. Да и какое вообще истинное творчество возможно без веры, в какой бы форме она ни существовала? ...

Этот мир-пейзаж, как отмечалось нами в примечаниях, впервые предстает перед нами в полном, развернутом виде в *Послании в лечебницу*, медленно, как проявляющийся фотографический отпечаток, проступая сквозь начальный пейзаж *пасмурного парка* и одновременно сливаясь с ним¹. Добавим, что этот пейзаж при этом — изображение и м е н и автора послания, которое рисует на сыром песке его подразумеваемый герой-адресат. Здесь следует сказать о характернейшей для Аронсона теме, которая проходит через все его творчество, начиная с самых ранних стихотворений, — тема подобья, отраженности. Вначале эта тема (формулируясь самим автором как *нетленная жажда подобья* и *язык отраженья*) сводилась в конечном счете к зеркалам²; после 1964 г. зеркала теряют постепенно свою особую привлекательность и становятся обыденными предметами, вещами рядового обихода. В позднейших стихотворениях тема подобья и отраженности замещается темой множественности, всего во всем (ср.: *А я становился то тем, то этим, то тем, то этим, / чтоб меня заметили, / но кто увидит чужой сон?; Чем не я этот мокрый сад под фонарем . . . ?; Мне ли забыть, что земля внутри неба, а небо — внутри нас? и, наконец, все — лицо: лицо — лицо . . .*).

По Топчиеву, мир поэта «населяют легкие, летучие, подвижные существа . . . , четвероногие — редкость». Однако это не так или, по крайней мере, не совсем так. Наряду с бабочками и другими многочисленными насекомыми одним из постоянных обитателей мира-пейзажа Леонида Аронсона является такой конкретный (и, в контексте стихотворений, чаще всего неподвижный) персонаж, как конь, причем ни в коем случае не *Конь — бабочка . . . Таинственная лошадь — стрекоза* Анри Волхонского. Конь Аронсона всегда сопряжен с лесным берегом ручья или озера (*Будут кони бродить и, к ручью наклоняясь, смотреть; . . . вот кони бегут; . . . красный конь свое лицо / пил, наклоняясь к воде лесной*). Ср. также приведенное тремя страницами выше восьмистишие 1965 года). Иногда конь замещается лосем: . . . *здесь* (на том же берегу, — В. Э.) *мог бы цащи этой лось / стоять, любя свою печаль; интересен и, так сказать, «обратный ход»: дева . . . к водам голову склоня, / в них видит белого коня*.

Таким образом, точнее было бы определить персонажей и обитателей мира-пейзажа Леонида Аронсона как существа изо- и антропоморфные, довольно свободно видоизменяющиеся, а точнее — иногда являющиеся автору-наблюдателю в виде зыбком, не вполне отчетливым и ясным (например: *что*

¹ Несколькими днями раньше поэт, сравнивая с будущим миром-пейзажем *чистое утро апреля*, определяет его как то, *о чем я не помню*.

² Ср. в стихотворении *Комарово* (начало 1964 г.): *. . . кажется, умрите вы сейчас, / и зеркало оставит все, как есть . . .*

там, дерево ли, конь / или вовсе неизвестный?). При этом и обитатели, и детали мира-пейзажа поэта, повторяем, весьма конкретны и воплощены автором в прямом смысле этого слова. Аронзону вообще свойственна в очень большой мере конкретность образа, его материализация,— так самое неведущее, прямо определяемое или, по крайней мере, осознаваемое автором как видение, приобретает сначала видимость (*Стали зримыми миры, / что доселе были скрыты*), а затем и вес, плотность, даже запах. Такую материализацию можно проследить в пределах всего лишь двух строк: *Чей там взмах, чья душа, или это молитва сама?*— здесь происходит наглядное, на наш взгляд, нарастание, уплотнение и, наконец, воплощение образа: *вершину холма украшает нагое дитя!*¹ Следует также заметить, что мир-пейзаж, конкретноматериальный в поздних стихотворениях, виделся поэту и много раньше, где он воспринимался, однако, еще как своего рода декорация в мире «обыденном», едва сквозь него проступая: *И в отраженьях бытия — / потусторонняя реальность, / и этой ночи театральность / превыше, Господи, меня.*

Мир-пейзаж поэта (и это одновременно личный мир Леонида Аронзона) был осознан им не сразу. В ранних стихотворениях лирический герой любит пейзажем, ландшафтом природы (это все те же лесной берег, поляна и ручей, холмы и озера: *моей души пространство . . .*) и описывает его в традиционной, в основном, манере; чуть позже (почти одновременно с «пейзажными» стихотворениями) начинает настойчиво звучать тема социального, если можно так выразиться, положения человека в мире, причем здесь мы видим чаще всего противостояние человека окружающему миру, данному опять-таки теми же пейзажами, но только едва намеченными, упоминаемыми как бы вскользь. Этот, «социальный» период практически почти не вычленяется из лирики поэта и очень скоро сменяется новым «пейзажным» периодом, где человек и природа связаны друг с другом уже неразрывно².

Весной 1967 года во вступлении к неоконченной поэме *Качели* поэт признается:

*я отношусь к писанью строго
и Бога светлые слова
связую, чтобы тронуть вас
идти туда . . .*

¹ Ср.: *Там, где девочкой нагой / я стоял в каком-то детстве* (выделено нами,— В.Э.).

² В этих заметках мы часто упоминаем и цитируем ранние стихотворения (до 1964 г.), однако поэтика раннего творчества Аронзона, конечно же, заслуживает специальной работы, поскольку составляет в своем роде совершенную и замкнутую систему.

чтобы

где только Я передо мной,

внутри поэзии самой

открыть гармонию природы.

Очень точно говорит о поэзии Аронсона его ближайший друг и поэт Александр Альтшулер. Характеризуя его поэзию как поэзию состояний, он говорит, что его поэзия и жизнь «прошла не просто в словах, она прошла в каком-то состоянии, для которого слова оказались малы, — эти слова натягивались» и далее — «в последнем чтении его стихов — такое впечатление, что он эти слова натягивает на всю жизнь человеческую . . ., стараясь в словах увидеть весь простор человеческой души, . . . здесь была какая-то протянутая доброта человеческой души» (49)¹. Это состояние поэта, эту жизнь в двойном — этом и своем мире (мире-пейзаже) — Р. Топчиев очень удачно определил в своем выступлении как *инобытие*. Именно описаниям *инобытия* посвящено все позднейшее творчество Леонида Аронсона².

Необычное в этих описаниях начинается с точки местонахождения героя-наблюдателя (точнее, созерцателя³) стихотворений. Иногда поэт находится в центре пейзажа, иногда он наблюдает самого себя, находящегося в пейзаже, а иногда создается впечатление, что автор видит себя, наблюдающего свой собственный сон (ср.: *... как бы видя резвый сон, / я молчалив был и спокоен*), в котором герой-автор видит себя, видящего себя, помещенного в центр пейзажа. Уже давно традиционным стало мнение, что сны кинематографичны, — очень часто можно услышать фразу вроде «Мне сегодня показывали чудный сон». Мы не хотим сказать, что мир-пейзаж являлся поэту в неких сновидческих состояниях⁴, нет, этот мир-пейзаж был очень конкретен и материален, в нем поэт творил свое *инобытие* и в нем скрылся от нас навсегда . . .

¹ В указанной публикации дан неправленный текст стенограмм вечера (кроме одного выступления, написанного его автором заново спустя два года); мы приводим выправленный текст.

² Ср. в выступлении А. Альтшулера: «... единственным чтением этих стихов мог являться только Леня, и то — когда он читал, он многое привирал, потому что не мог прочесть то состояние, которое вообще находилось за этими стихами» (49-50).

³ Отметим позу героя-созерцателя — это чаще всего русская медитативная поза: герой лежит или полулежит на берегу, в траве лесного пейзажа, иногда в кресле: *Так обраться к себе лицом, / лежал он на песке речном; Оставь лежать меня в бору / с таким как у озер лицом; Я синей лодкой на песке / улегся в трех озер осоке; Себя в траве лежать оставив, / смотрю . . .; Полулежу. Полулечу; сам в кресле дельты развалюсь и мн. др.*

⁴ Сны — совершенно особая тема, их часто наблюдают персонажи как ранних, так и поздних стихотворений Аронсона. Добавим, однако, что эти особые состояния поэта, даже несмотря на его же собственные слова *... но кто увидит чужой сон?*, не следует связывать с хорошо объезженной и навязшей у всех на зубах бабочкой из Чжуанцзы.

Подчеркиваем только, что мир поэта — очень кинематографичен.

Характернейшей чертой мира-пейзажа Аронсона является его полная тишина (*Как тихо в темной тишине . . .*), которую автору иногда хочется нарушить: *озвучить думами и слогом или, обратясь глазами к тишине, / цитировать «Пир» и «Запустень»¹*, настолько она напряжена (ср. в сонете 1968 г., где описывается полуночное бдение героя: *томя сознание, падает паук, / свет из окна приобретает шорох* — выделено нами,— В. Э.). Напомним, что немой фильм-пантомима для актера и кинокамеры Алана Шнайдера и Сэмюэля Беккета также озвучен в своей первой части записанным на звуковую дорожку шорохом, шуршанием, непрерывно длящимся на одной ноте; вторая и третья части *фильма* идут беззвучно).

В то же время нельзя сказать, что «мир Леонида Аронсона — тишина». Поэт часто описывает тишину, но, говоря его же словами, *Не сю, иную тишину*. Иногда эта — *иная тишина*, тишина его мира-пейзажа — определяется поэтом как *молчание* (ср. ранее: *и долгое молчание кругом*), причем молчание, которое *Есть между всем и — есть матерьял для стихотворной сети*, где слово — *нить* (однако также *заполненное молчаньем*), с помощью которой блоки или куски молчаний сшиваются в одно целое!

Хотя в своем последнем прозаическом сочинении *Ночью пришло письмо от дяди . . .* автор пишет, что *бульварный вопрос* о музыке и тишине *решился в пользу тишины*, однако музыка также постоянно присутствует в мире-пейзаже поэта от *раннего чистое утро апреля . . . / подобное арфе* до позднейшего *Глен Гульд — судьбы моей тапер²*.

Если заумь можно, по нашему мнению, определить как метаязык, то звуки тишины мира-пейзажа — музыку, голоса, пение — надо трактовать как мета- и одновременно празвуки, звучащую память о них. Кажется, поэт попал в мир, откуда приходят к нам эти голоса, пение, музыка,— звуки, которые мы вспоминаем, не слышав их раньше, и которые слышали до того, как услышали их³. Иными словами, это было состояние, в котором *. . . прежде губ уже родился шепот⁴*— именно так возникали и жили звуки *в иной тишине* поэта. Более того, именно они-то и были ею: *Меч о меч — звук*. При этом слова для Аронсона приобретали самое существенное — молчание, окрашенное интона-

¹ Соответственно поэма и элегия Евгения Баратынского.

² Здесь, конечно же, имеется в виду его исполнение *Итальянского концерта* Баха с замедленным, с такими невероятными паузами Adagio, что невольно начинает казаться, что слушаешь *Звенящую тишину* или отрывки из 4'33" Кейджа.

³ Ср.: *Природы дарственный ковер / в рудон скатал я изначальный* (выделено нами,— В. Э.), и, с другой стороны, *Я . . . узнал то, что люди узнают только после их смерти . . .*

⁴ О. Э. Мандельштам. *Восьмистишия*, 6.

циями; если он и вел в своем *инобытии* речь, то интонациями — наиболее значимым, наиболее информативным для него видом высказываний: *Передо мной столько интонаций того, что я хочу сказать*, — признается поэт, — *что я, не зная, какую из них выбрать*, — молчу (ср.: *Сегодня я целый день проходил мимо одного слова*).

Используя еще одно известное название, можно определить творчество Леонида Аронсона словами «Мир как красота». Действительно, в его стихотворениях то и дело встречаются эпитеты *чудесный, красивый, прекрасный* и их синонимы: *... о день чудесный; Как летом хорошо — кругом весна!; ... озер, / красивых севером ...; Снег освещает лиц твоих красу; Река ... / красиво в воздухе висит, / где я ... / смотреньем на нее красив; ... и ты была так хороша; некий чудный сад; о, как прекрасной столь решиться быть смогли вы ...*, наконец, — *Боже мой, как все красиво ...* Поэту свойственно приходить в *восхищение*¹ (ср.: *И я восхитился Ему*² стихотворением), пребывать в высшей его точке, — однако восхищение сменяется отчаянием: *Нет в прекрасном перерыва. / Отвернуться б, но куда?* — и он признается: *Качели, — сказал дядя, — возносили меня и до высочайшей радости и роняли до предельного отчаяния ... всякий раз крайнее состояние казалось мне окончательным. Ему хочется «остановить мгновение», когда прекрасного нет, / только тихо и радостно рядом.*

... Знаете ли вы последнее, что сказал дядя: «Качели оборвались: — перетерлись веревки».

Остановимся ненадолго на языке поэта. Стихи Аронсона наполнены как реминисценциями и аллюзиями, так и прямыми (иногда, впрочем, видоизмененными) цитатами. Так, например, стих *Там я лечу, объятый розой*, — конечно же, «заимствован» из приведенного выше четверостишия А. Е. Анаевского. В следующих заметках, посвященных поэтике Аронсона, мы попытаемся не только подробно проанализировать его язык, но, в частности, и рассмотреть проблему *чужого слова* в контексте его произведений. Сейчас же мы хотели бы отметить только три положения.

Несмотря на кажущуюся «велеречивость», по определению Э. С. Сорокина (37, с. 47), язык поэта тяготеет к лаконизму и простоте. Длинные, распространенные предложения ранних стихотворений (некоторые из них состоят всего

¹ Это восхищение дышит во многих стихотворениях поэта. Так, Э. С. Сорокин признается, что ему «уже много раз хочется быть девушкой, читая сонет *Неушто кто-то смеет вас обнять ...*», которой поэт написал, «восхитившись» красотой одной общей знакомой (37, с. 47).

² Т. е. Господу. См. выше, прим. 9.

лишь из одной —!— фразы¹) постепенно сокращаются в краткие, приобретаю чуть ли не лапидарность. Напряжение ранних стихов, создаваемое напором, водопадом бьющей словесной массы, превращается в напряжение пауз между фразами и даже отдельными рядом стоящими словами (собственно, именно об этом и сказано в сонете *Есть между всем молчание Одно . . .*). Повторяем, язык поэта стремится к лаконизму, обнищанию². Так, например, строка стихотворения *Что явит лот, который брошен в небо . . .* полтора года спустя записывается в виде отдельного однострочия:

Я плачу, думая об этом.

В поэтическом словаре Аронзона останавливают внимание некоторые слова-иероглифы³. Таковы часто встречающиеся слова *дева* (также *жена*), *лицо* (*лик*), *небо* (*небеса*), *пленэр* (*пейзаж*), *ручей* (также *река*), *свеча* и *холм* (иногда замещается *горами*). Очень интересен случай, если можно так выразиться, иероглифа в квадрате: . . . *мои глаза лица / увидели безоблачное небо, / и в небе молодые небеса* (выделено нами, — В. Э.).

В приведенном примере присутствуют также такие излюбленные поэтом приемы, как инверсия (иногда такая сложная, как *Всё ломать о слова заостренные манией копыя*) и тавтология (. . . *посмеющего сметь*), которыми он широко пользуется и в шуточных, и в «обычных» стихотворениях. Эти приемы, а также нарочитое смешение высокого и низкого стилей позволяли автору вводить в свои произведения особого рода остранение, которое он сам определял как *юмор стилия*. Этот *юмор стилия* Аронзон находил у многих поэтов-предшественников, начиная от А. К. Толстого и кончая Заболоцким (друзей Заболоцкого по ОБЭРИУ поэт, как мы уже отметили, почти не знал).

¹ Отмечено С. В. Дедулиным (см. прим. 4).

² Невольно вспоминается гениальная евангельская ремарка Введенского: *Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли* (Введенский А. И. Полн. собр. соч.— Анн Арбор: Ардис, 1980, т. 1, с. 142). Отметим, что у Аронзона и Введенского есть немало точек соприкосновения, о чем мы уже упомянули несколько лет назад (37, с. 43), однако это совершенно особая тема, на которой мы не будем сейчас останавливаться.

³ Термин иероглиф, предложенный в начале 30-х гг. Л. С. Липавским, обозначает многозначные в поэтике автора слова, всегда им употребляемые с постоянным подразумеваемым контекстом. Этот термин введен в научный обиход Я. С. Друскиным в его работе *Звезда бессмыслицы*, посвященной сочинениям Введенского (см. комментарий к ним М. Мейлаха: Введенский А. И. Ук. соч., т. 2, 1984).— Подобные построения проводятся в последние годы Е. А. Шварц, выявляющей сходные словокомплексы, определяя их как стихи и, которым подчинено все творчество поэта. Так, в *Статье об Аронзоне* она пишет: «. . . стихия выбирает себе поэта, как ветер ищет дымовую трубу, чтобы гудеть, а не труба ветер . . . Холм и свеча у него одновременно символы и любви, и смерти. Он поэт смерти в обличии любви» (113). Стихиями двух других поэтов являются, по ее мнению, вода — для М. А. Кузмина и одежда (платье) — для А. Кушнера . . .

Вот несколько примеров юмора стиля в его стихотворениях: *Гудя вокруг собственного У, / кружил в траве тяжелый жук, / и осы, жаля глубь цветка, / шуришали им издалека, Вокруг меня сидела дева, / и к ней лицом, и к ней спиной / стоял я, опершись о древо; . . . опять спуститься в сад, / доселе никогда в котором не был; Весь день бессонница. Бессонница с утра . . .; В часы бессонницы люблю я в кресле спать; . . . лицо жены, а в нем ее глаза; Резвится фауна во флоре, / топча ее и поедая; Погода — дождь. Взираю на свечу, / которой нет; . . . стояло дерево — урода; В рай допущенный заочно и, наконец, . . . в пустом гробу лежит старуха вина¹ . . .*

Мы коснулись в этих заметках в основном только одной, главной, на наш взгляд, темы творчества Леонида Аронсона. Эта тема, конечно, всего его творчества не исчерпывает: за пределами статьи остались, в частности, ранние стихотворения поэта, которые, как мы уже отметили, сами по себе заслуживают детального разбора. Приводя иногда немногочисленные примеры из них, мы только слегка осветили истоки той основной темы, которую рассматривали выше. Мы ничего не сказали о формальной стороне поэтики Аронсона, о ее традиционной (при этом взрываемой, разрушаемой изнутри) основе и о его экспериментах в области, условно говоря, авангардной поэтики. Ничего не сказано о проблеме времени в творчестве поэта, о его литературных взаимосвязях; наконец, ничего не сказано и о его шуточных стихотворениях и стихотворениях, обращенных к друзьям² (мы предполагаем опубликовать их позднее). Все эти темы будут разрабатываться нами в последующих статьях.

В заключение следует сказать о творческом наследии поэта. Помимо главного — стихотворений, — Аронсоном написано несколько драматических сочинений и около пятидесяти прозаических. Начиная с 1966 года, он писал стихи для детей и написал их около ста. Из шести почти сотен стихотворений и двух десятков поэм (некоторые из них также написаны в драматической или, по крайней мере, диалогизированной форме) около двухсот не окончены, несколько написаны в расчете на опубликование в официальной печати, около пятидесяти также носят случайный характер. Несомненную ценность (литера-

¹ Т. е. пиковая дама из одноименной повести А. С. Пушкина (1799-1837).

² Не можем не привести крайне возмутительное и бесцеремонное по своему тону высказывание В. Андреевой: «Аронзон жил в замкнутом кружке близких дому людей, в котором были тесные, даже несколько душевные отношения (?! — В. Э.) — понятные только здесь шутки, намеки, ассоциации, стихи (?! — В. Э.), адресованные друг другу шуточные послания» (95). С другой стороны, мы должны быть благодарны ей за приведенную замечательную фразу Апри Волохонского об Аронзоне: «Был он, особенно к концу жизни, очень красив» (там же).

турную прежде всего) имеют его записные книжки и многочисленные заметки для себя.

В последние годы сложился некий «устоявшийся» набор стихотворений поэта. Самая обширная его подборка составлена Е. А. Шварц и издана отдельным изданием¹. Однако, хотя «достаточно беглого знакомства с поэзией Аронзона, чтобы вынести неизгладимое впечатление цельности, стройности, ясности, красоты» (Р. Топчиев), следует все же помнить четвeростишие самого автора

*Как стихотворец я неплох.
Все оттого, что, слава Богу,
хоть мало я пишу стихов,
но среди них прекрасных много!*

и не забывать его при составлении новых подборок и, тем более, книг поэта.

Еще одно замечание. В разные годы Аронзон неоднократно составлял списки своих стихотворений, последний из них был составлен им летом 1970 года. В этот список включено 65 стихотворений, цикл *Запись бесед* и 5 поэм. Из всех этих произведений только два-три, может быть, несколько уступают остальным. По крайней мере, мы имеем последнюю авторскую волю поэта, которая во все времена служила и будет, надеемся, служить законом, преступить который нельзя. К этому списку можно (и нужно!) добавить те или иные стихотворения (в частности, такие пропущенные автором шедевры, как *Горацио, Пилад, Альтшулер, брат . . .*, *Вокруг лежащая природа . . .* и *Несчастно как-то в Петербурге . . .*), но убавить — нельзя ничего.

1983, 1985

¹ Аронзон Л. Избранное.— Л., 1979.—58.—3 с. (Лит. приложение к журн. *Часы*).— В книгу (машинопись) входит всего лишь 42 стихотворения, *Запись бесед* и два прозаических текста.

Татьяна ГОРИЧЕВА

СИРОТСТВО В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Люди остались одни, как желали: всякая прежняя идея оставила их... И вдруг люди поняли, что остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертием, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно осознали бы свою переходимость и конечность, и уже особенно, уже не прежнюю любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них осталось.

Ф. М. Достоевский. Подросток

Отцовство и сиротство

Современный западный и частично восточный миры лишены отца. Со времен Просвещения и раньше человечество ориентируется не на откровение и авторитет, а на сомнение и вопрошание. Разоблачение «идолов», «срывание масок», критика «лицемерия», разрушение единой человеческой общности, большой, состоящей из нескольких поколений семьи, торжество пользы, морализма и «Единственного» устранило Авторитет: Бога-Отца, отца-духовника, отца-патриарха. Появился «смехотворно перегруженный» (выражение Лакана), жалкий отец, представляющий замкнутую на себя семью-ячейку. Со смертью Бога этот отец должен был взять на себя все невыносимое бремя человеческих обязательств и норм. Это задавило его, Дух тяжести, эстетика кича, авторитет безумного «здорового смысла», мелкость во всем — в страданиях и удовольствиях — создали типичного невротика, пациента Фрейда.

Процесс этот продолжается и сегодня: все более дробятся ценности, все тусклее становятся авторитеты. Только сегодня мы, кажется, дошли до точки, «отсутствие дома стало судьбой всего человечества» (Хайдеггер), и все растет тоска по утерянной земле, Родине, Отцу. Тоска по иерархии.

Бог как отец в христианстве

Отношение к Богу как к Отцу существует и существовало во множестве древних религий. Древнегреческая мифология обращалась к Зевсу как к «Отцу людей и богов» (Гомер). Стоики славил Зевса, «Подателя всех благ» и мудрого «управителя вселенной». Народы, окружавшие древний Израиль, дают массу примеров наименования бога отцом. Эль (главный бог хананейского пантеона) назывался как «отцом богов», так и «отцом людей». «Отец богов» — частое наименование бога в Египте и Шумерии. В мифических сагах Месопотамии боги генеалогически делились на отцов и сыновей.

В самом Израиле Бог, конечно, был Богом-Отцом, Богом Авраама, Исаака, Иакова. Но, как замечают экзегеты*, «представление о физическом отцовстве в мифологическом смысле слова в Ветхом Завете, конечно, не существовало. Ветхий Завет сдержан везде, где речь идет о Боге как об Отце. Наряду со множеством наименований Бога, обращения к Нему как к Отцу довольно-таки редки».

* Lothar Perlit, *Der Vater im Alten Testament Das Vaterbild in Mythes und Geschichte*. Kohlhammer, 1976.

Тем в большей степени потрясает нас Новый Завет с его частым обращением к образу Отца, с его удивительной притчей о Блудном Сыне, говорящей о том, что любовь больше справедливости. Не «верный сын», а именно потерянный и согрешивший становится предметом радости и праздника, взрывает обычно-скучное течение бытия. В этой притче Отец выступает прежде всего как Отец милосердный, бесконечно любящий и прощающий. Таков христианский Бог.

И этот Бог доказывает свою любовь к нам, посылая Сына в мир, на Крест, заставив его пережить всю невозможную тяжесть человеческого одиночества. Иисус Христос не имел, где голову приклонить, был чужаком на этой земле. Христос принял на себя всю полноту сиротства, когда возопил на Кресте о своей оставленности. Нет ничего более страшного в истории Бога и человека, чем этот крик и это одиночество.

Именно христианство принесло человечеству наибольшее чувство сиротства и богооставленности. В Ветхом Завете мы читаем о мятущемся и бунтующем Иове, которого Бог испытывал так, как не испытывал, наверное, никого. Но даже вопиющий на гноище Иов не вполне одинок: он окружен друзьями, своей землей, защищен обычаями и языком своего народа.

Только Христос на Кресте разрубает последние связи и испытывает всю полноту богооставленности.

Христианство тем самым включило в себя разговор о любом будущем сиротстве и одиночестве.

Но чем безутешнее сиротство, тем радостнее встреча с Отцом. Чем безнадежнее наше одиночество, тем праздничнее будет возвращение домой. Во враче нуждаются лишь больные, и прощение могут оценить лишь те, кто много задолжал.

Сиротство — это парадоксальная изнанка сыновства. Оно изначально освящается Богом, который в Евангелии не раз напомним: будьте как лилии полевые, как птицы небесные, что не сеют не пашут. Не заботьтесь, во что вам одеться, что есть. Будьте доверчивы и непосредственны, как дети: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И, когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст блага просящим у него» (Мф., 7-8-11).

Сиротство освящается христианством, потому что покинутости, собственности, и нет. Сиротство — лишь ступень к лучшему осознанию своей непокинутости. Конечно, здесь надо различать: человек остается неприкаянным и непристроенным в мире сем, ибо «мир во зле лежит», а все мы «куплены

дорогой ценой». Но в плане глубинном и это сиротство в мире уже в принципе преодолено: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгоняется вон».

Господь запрещает нам быть озабоченными даже в молитве. В Евангелии есть слова о том, что человек не должен жить ролевым, «язычески-демонстративным» сознанием, а быть непосредственным и искренним. Милостыня должна быть тайной. «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф., 6-4).

«И, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф, 6-5).

В главной, Господней молитве верующие называют Бога «Отцом» (Лука) или «Отцом небесным» (Матфей). Иудаизму как таковому тоже было свойственно такое обращение к Богу (хоть и не так часто, как в христианстве). В Господней же молитве важно особенно то, что Христос употребляет слово «А́вва», т. е. прибегает к особо интимному, особо неофициальному способу обращения к Богу на арамейском языке. Как пишет Гюнтер Борнкам*: «Здесь поражает также отказ об упоминании об Израиле и его священной истории, весь тот набор божественных предикатов, которые обычно употребляются в еврейских молитвах». Таким образом, в Господней молитве убирается все «второстепенное» и остается самое главное: Бог — это любящий Отец, Он необыкновенно близок нам, но обращаться к Нему нужно с совершенным благоговением и трепетом — «Да будет воля Твоя!». Христианство говорит о вертикальном отношении Творца к твари, тогда как психоанализ останавливается на отношениях горизонтальных, там, где тварь мечется между крайностями, потеряв свое истинное сыновство. Обратимся к психоанализу.

Комплекс Сатурна и русская идея

Глубинная психология часто опирается на античные мифы. Один из них рассказывает, как Хронос (или Сатурн) пожирал своих детей, боясь, что они займут его место. Он же оскопил своего отца, Ураноса, но сам был в конце концов низвергнут Зевсом.

Исследователь «архетипа Сатурна» психоаналитик Огусто Витале говорит о постоянных колебаниях инфантильной личности, носителя комплекса Хронос-Сатурн. Такая личность может активно бороться за свои права, за свою жизнь, но у нее ничего не получается, потому что всякое проявление

* Gunter Bornkamm. Das Vaterlild im Neuen Testament. Das Vaterlild in Mythes und Geschichte. 1976, Kohlhamme.

своего «я» означает здесь одновременно и убийство отца. Комплекс вины мешает индивидуализации. Рождение для этого типа личности означает одновременно и смерть. Поэтому часто эта личность застывает на «первой», эмбриональной стадии, предпочитая оставаться в утробе матери. Она убегает от князящего отца в материнскую «темноту», в бесформенность и хаос. Часто в народных сказках герой прячется в животе монстра, чтобы потом, совершив подвиги и чудеса, получить руку царской дочери. Старик-король, отдающий герою полцарства и собственную дочь, из «злого» отца становится наконец-то добрым.

Таков архетип несостоявшегося (или состоявшегося лишь в сказке) мужчины. Естественно, он встречаем во все времена и у всех народов.

Но в этой статье нам бы хотелось выделить его «русский» вариант. Для русского сознания особенно характерны экстремы и вечные колебания между сильной, авторитарной властью и хаотическим анархизмом. Поглощенность «материнском чревом»* можно описать как поглощенность громадным и бесконечно засасывающим пространством, любовь к этому пространству и нелюбовь к истории. Как заметил когда-то один из первых критиков «русской идеи и культуры» Петр Чаадаев, в России культура развивается «скачками», там всегда все нужно начинать с нуля, заново. В России слаба форма культуры, начинающему творцу часто не на что опереться, что может быть и чем-то благотворным — культура в России была всегда связана с проблемами смысла, она в большей степени, чем культура на Западе, ценила вертикальное и религиозно-нравственное свои измерения. Но одновременно отсутствие уверенности и выработанной формы часто смущало. Приходилось заново открывать велосипед, преодолевать свое косноязычие и «отсутствие жеста».

В русской истории мы постоянно встречаемся с образом отца сурового (порой «справедливого», порой ужасного) и отца отсутствующего. Русский Сатурн разрывается между Медным Всадником (т. е. воплощением сверхчеловеческой, безжалостной воли) и «маленьким человеком» — Евгением.

«Все мы вышли из гоголевской «Шинели»». Существует рассказ о маленьком чиновнике, всеми презираемом Акакии Акакиевиче, у которого была лишь одна мечта: сшить новую шинель. Этой мечте он посвятил всю свою жизнь. И вот, когда шинель была уже на плечах, Акакия Акакиевича раздевают прямо на улице. Бегство в «материнское лоно» всеобъемлющей и всеспасительной шинели оказалось невозможным. Шинели (началу материнскому)

* Борьба с бесформенностью материнского чрева вылилась в острый интерес у русских к проблемам культуры. Культура — это чрево, обретшее форму.

противостоит безумное в своей застылости и анонимности «мужское» государство, жестокий бюрократизм и садистские «шутки» чиновников.

У Гоголя есть выход из этого дуалистического тупика, из сплошного метания между «темным солнцем» материнского и холодом мужского. Тем-то он и гениален, что совершенно ненавязчиво, но вовремя и точно говорит о братстве. Когда чиновники в очередной раз издевались над кротким и всегда молчаливым Акакием Акакиевичем, он лишь смог прошептать «не обижайте меня». И был среди чиновников один молодой человек, который «долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «я брат твой». И закрывал себя рукой бедный молодой человек, и много раз потом содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...»

Акакий Акакиевич вызывает: «Я брат твой», разрушая тем самым пирамиду Сатурна-Зевса, фаллогократичность эдипова комплекса. Но он и не убегает в бесформенность эмбрионального, он восстанавливает соборность, ту изначальную любовную и родственную связь всех со всеми, которая и есть Церковь.

В гоголевских «Записках сумасшедшего», еще один «маленький человек», брошенный в сумасшедший дом (Поприщин), вызывает к матери: «Прижми ко груди своего бедного сиротку! Ему нет места на свете! Его гонят!— Матушка, пожалей о своем бедном дитятке!». В черновиках стояло и другое: крик к Матери Божьей, о том, чтобы спасла.

И здесь Гоголь не только показал, как «мужское», канцелярское общество с его однонаправленным, тупым умом обрекает на муки одинокое существо, которому ничего не остается, как «бежать в болезнь». Гоголь поднимает Поприщина на уровень всемирного сиротства и этим одним преодолевает дискурс плоско-аналитический. Божья Матерь — та же Церковь, та иерархическая «структура», в которой, однако, все равны и каждый любим.

Гоголь остро чувствовал тему отсутствия Отца. Как пишет В. Турбин*: «Всю Россию видел он своей школой и одновременно — семьей. Себя же — фантастической в своей необузданности фигурой отца и учителя, вновь слившихся воедино». И Достоевский, и Гончаров, и Гоголь болезненно и остро чувствовали, как усиливается процесс разделения и разобщения

* Турбин В. Герои Гоголя. М.: Просвещение, 1983.

общества, как растет раскол и иссякает любовь. Тема объединяющих ценностей, проблема Авторитета и Отца — это попытки воссоединить распадающийся мир, восстановить его цельность, преодолеть одиночество. «Да, впрочем, город в «Ревизоре» и населен какими-то сиротами, безотцовщиной: есть отцы, учителей тоже довольно, но ощущение такое, будто кругом царит сплошное сиротство. Сам город выглядит сиротливо: неухожен, запущен. И понятно, отчего, едва лишь завидев приезжего из столицы, горожане простирают к нему руки, величая его отцом. Отцом и учителем, ибо молят его о заботе и законе, а дело учителя как раз в том и заключается, чтобы приучить обучающихся к законам жизни». Даже такое ничтожество, как Хлестаков, смог сыграть роль Бога-Отца. Велика же была тоска по живому авторитету у осиротевших жителей городка.

Отец суровый (другая сторона комплекса Сатурна) обычно предстал перед очами русского писателя и интеллигента в виде злобещем: Великого Инквизитора, Медного Всадника, Сталина и т. д. Исключением, пожалуй, является Набоков, давший идеальный портрет «строгого» отца.

Набоковский отец в «Даре» — это олимпийский бог, отважно завоевывающий самые неприступные вершины и невероятные земли. Это безупречно прекрасный Аполлон, несущий солнце и гибель, Охотник за бабочками, распинатель их красоты, он беспощадно приобщал их к музейной вечности.

«Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором. Когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз (бабушка за его спиной говорила, что «Все часы в доме остановились» . . . Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, и я уверен, что уличил он меня в физической трусости, то меня бы он проклял».

Все двусмысленно-психологическое удаляется из этого портрета-иконы. Набоков переходит к теме тайны и трансценденции: «Вокруг этой ясной и прямой силы было что-то трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. . . Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого-то и получилось то особое и не радостное, и не ужасное, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств,— одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи».

Набоков говорит об одиночестве отца, которое подобно одиночеству Бога.

Читая об этом отце, одновременно маге, Одиссее и Аполлоне, претворяющем геральдику природы и кабалистику латинских имен в некую «колдовскую легкость», мы почти покидаем мир традиционно-христианский, которым жила основная часть русской литературы. Набоков — редкий у нас «античный»

писатель. В этом плане он принадлежит в большей степени миру западному, именно западная культура занималась не «криком Иова», а терзаниями Сизифа, Эдипа, Одиссея.

По-христиански проблему человеческого и божественного отца пытался разрешить Достоевский.

Братья Карамазовы

Достоевский особенно остро чувствовал проблему сиротства. В его романах — сплошное неблагополучие, дети или оставлены своими отцами, или становятся их соперниками, или же никак не могут преодолеть двусмысленное отношение к отцам «ненастоящим».

Роман «Братья Карамазовы» построен на соперничестве отца и сына.

Отцом Федора Павловича Карамазова можно, правда, назвать в очень условном смысле. О своих детях он настолько забыл, что, по свидетельству Миусова (когда тот приехал специально для того, чтобы заняться брошенными мальчиками), выказал полное на своем лице недоумение, как будто в первый раз слышал, что у него есть дети. Идея отцеубийства — в основе романа. И хотя Дмитрий физически не убивает отца, но в помыслах и он, и Иван недалеко от этого.

Лишь одному своему сыну безусловно доверяет Федор Павлович — Алеше, потому что Алеша никогда никого другого не осуждает, никогда не осудил он и своего отца. Отец чувствует любовь Алеши так же, как и все, на чьем пути встречается этот юноша — «ранний человеколюбец».

В романе Алеша — единственный из братьев, который изведает, что такое любовь настоящего отца. Он единственный познал глубочайшие и драгоценнейшие на этой земле отношения: отношения между старцем и его учеником. Место физического отца занял отец духовный, старец Зосима, высший для Достоевского авторитет на этой земле. Так Отец Небесный научает Алешу любить и ценить отца земного. Без этой духовно-ценностной иерархии сегодня невозможно (так считает Достоевский) не только послушание физическому отцу, но и просто уважение к нему, основанная на родстве симпатия. Мир пришел к такой пропасти и сегодняшний нигилизм столь смертоносен, что только Авторитет Небесный сможет собрать распавшееся и сохранить даже физически-природный порядок. Иначе — энтропия, моральная, духовная, космическая. Рост хаоса, убывание логоса.

Долг перед отцами. Философия Федорова

Особое место в русской культуре занимает философия Николая Федорова. При всей кажущейся «фантастичности» ее главного проекта эта философия повлияла на самые блестящие умы России, на Достоевского, Соловьева, Толстого, на Платонова, Заболоцкого, Циолковского. Да и сегодня ее влияние в среде русской интеллигенции необыкновенно велико.

В чем же смысл этой философии? Говоря одним словом — в воскрешении отцов. Федоров говорит о нашей великой вине перед умершими предками и призывает нас сделать все, чтобы их воскресить. Нужно понять, что проект Федорова, при всей его дерзновенности, не утопия, а реальная христианская задача. Прочитируем самого Федорова. Вот что он пишет о святой Троице: «Божественное Существо, которое само в себе показало совершеннейший образец общества, Существо, которое есть единство самостоятельных, бессмертных личностей, во всей полноте чувствующих и сознающих свое не разрываемое смертью, исключаяющее смерть единство,— такова христианская идея о Боге, это значит, что в божественном Существое открывается то самое, что нужно человеческому роду, чтобы он стал бессмертным. Троица — это церковь бессмертных, и подобием ей со стороны человека может быть лишь церковь воскрешенных».

Святая Троица для Федорова — целая социальная программа. Творение не завершено, и от активности человека зависит преобразование космоса, превращение всего универсума в церковь. Федоров — продолжатель русской философской традиции, которая так много сказала об активности и свободе человека. Как писал Бердяев: «В русской философской мысли XIX века, в учении о свободе Хомякова, в учении о богочеловечестве Владимира Соловьева, во всем творчестве Достоевского, в его гениальной диалектике о свободе, в замечательной антропологии Несмелова, в вере Федорова в воскрешающую активность человека приоткрылось что-то новое о человеке» («Русская идея»).

Если смотреть еще глубже, то новое, что сказал Федоров, уже содержится в великой христианской традиции, например, в мысли святого Григория Нисского и Оригена. Уже святой Афанасий Великий сказал: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Первый человек Адам (по учению святых отцов) призван был переделать всю Вселенную и привести мир к Богу. Человек, призванный к обожению, должен вместе с Богом совоскрешать умерших, победить прошлое, уничтожить смерть и вернуться в рай. Федорова можно было бы обвинить в «христианском натурализме» (Зеньковский), то, что он мыслит слишком имманентно, призывая человека к «деланию чудес»

без помощи трансцендентного Бога. Но этот упрек можно снять, сказав, что после Христа сила спасения уже прибывает в мире. И сейчас наше спасение — в наших руках. С другой стороны, встает вопрос, а как, каким путем мы можем воскресить наших отцов? И здесь Федоров предлагает, действительно, наивно-человеческое решение: при помощи науки. Он верит в силу человеческого разума и в упор не видит, что научное познание очень ограничено. И его воскресение «на основе матереологии» похоже на какую-то магию.

Когда читаешь Федорова, чувствуешь себя порой в египетском царстве мертвых, где Изида ищет мертвое тело супруга, Осириса, где она оживляет это тело, так что воскресший Осирис становится отцом Хора. Иногда светлый христианский подъем сменяется в писаниях Федорова душевной и перенапряженной атмосферой хтонических религий. Виной тому — его «научный» магизм и отчаянный морализм («супроморализм»). Он, например, не углубляется особо в проблему смерти и зла, считая, что и то, и другое, вместе с их носительницей, природой, — только слепая, разрушительная сила, которую человек из-за своего несовершеннoлетия принимает за «закон» и даже «рок». Справедливо замечание Флоровского: «Странно сказать, но в смерти он не чувствовал тайны, не почувствовал в ней тайного жала греха. Для Федорова то была скорее загадка, чем тайна, и неправда больше, чем грех. И эту загадку смерти он почти исчерпывает в пределах морали и евгеники».

Но вместе с тем философия Федорова привлекает своей смелой ответственностью. Проект «воскресения отцов» призван как бы перебросить мост от идеала к действительности. Ни одна религия не бросала человечество в столь огненно-мучительные противоречия, как христианство. Ни в одной расхождении между идеалом и действительностью не было столь скандальным. Не случайны упреки буддистов или индуистов в адрес европейского человека: войны, цинизм, бухенвальды, тоталитаризм — все это возникло прежде всего на «христианской» почве. Христианство (особенно в наше время) пытается сказать не только правду о Небе, но и правду о земле, и каким-то образом соединить обе эти правды. Федоров был в этом плане предшественником отца Сергия Булгакова, писавшего статьи о христианской «экономике». Розанова, размышлявшего тоже о земном — о поле, Бердяева, возлюбившего свободу во всех ее видах. После «общего дела» Федорова заговорили о «православном деле». (Такое название дал Бердяев для деятельности православной эмиграции в Париже).

Чудесное было для Федорова вполне реальным. Аскетизм — нормой жизни, он жил беднее, чем живут монахи, раздавал свою маленькую зарплату неимущим студентам, зимой и летом ходил в ветхой, легкой одежде. Однажды, когда в одну из петербургских зим морозы начали люто крепчать, друзья

купили Федорову пальто. Надев его, он простудился, заболел воспалением легких и умер.

Парадоксальный конец этой жизни символичен: нормой для Федорова было то, что для других могло быть благодатным или аскетическим исключением. И вне этого исключительного стремления к совершенству он не мог прожить и самое короткое время.

У Федорова совсем нет «детского». Рождение он считает чуть ли не грехом, отрицает секс, приравнивая его к рабству у природы и похоти. Он печалится, что человечество все еще пребывает в стадии «несовершеннолетия». Его отношение к отцам — не совсем отношение сироты. Оно в высшей степени волюнтаристично, оно не беспомощно. Хотя и в этом спокойном призыве к «общему делу», где больше чувства долга, чем чувства любви, можно увидеть преодоленную тоску по Отцу. Здесь, вероятно, мы имеем дело со сложным комплексом чувств. Федоров был незаконнорожденным сыном графа Гагарина, его отношение к «исчезнувшему» отцу могло быть смесью чувства вины и обиды. Конечно, он был достаточно сильной личностью, чтобы не стать жертвой банального невроза, но он не был и святым — отсюда, наверное, в его мысли так много тяжести и подземности, так мало легкости и смирения.

Федоровское вытесненное «сиротство» стало одной из основных тем у его ученика (хотя и не непосредственного), писателя Андрея Платонова. Платонов не был христианином, Федоров же был им вполне всерьез. Но порой кажется, что именно у Платонова — вера и доверие, тогда как у Федорова — сила («знание — сила»). Именно у Платонова герои удивляются чуду, тогда как у Федорова они, подобно демиургам, созидают это чудо своими руками. И лилии полевые и беззаботные птицы небесные украшают прежде всего страницы платоновских книг. Там же мы найдем и «сокровенных людей», не исполняющих никаких ролей, найдем и скрытых, говорящих лишь с Отцом Небесным юродивых. У Платонова повсюду — дети. В большинстве случаев это оставленные, брошенные, раздетые и голодные существа, которые тем не менее воплощают собой всю полноту грядущего счастья. Именно их детская беззащитность делает их близкими Богу.

Мировое сиротство Платонова

В основе литургически напряженной прозы Платонова — напряжение между великой жаждой смысла и заброшенностью, безосновностью мира в целом и в частности. Герои Платонова живут «благодаря одному рождению», их судьба — безвестность и сиротство. Отсюда столь частое у Платонова слово «скучно». Скудна даже природа, лишенная смысла, неизвестно

откуда взявшаяся. «Скучно лежала пыль на безлюдной дороге». Мир не имеет ни цели, ни начала, ни Творца. Человек, заброшенный в этот мир, а особенно человек платоновский, живущий высшим идеалом и готовый творить чудеса ради этого идеала, не может жить в скучной обыденности: «Но вскоре он (Воцев.— Т.Г.) почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться». Воцев борется против бессмысленности и пустоты всего мира, он берет на себя роль его отца: «Умерший палый лист лежал рядом с головою Воцева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Воцев подобрал отсохший лист и спрятал в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности.— Ты не имел смысла жизни,— со скупостью сочувствия полагал Воцев,— лежи здесь, и я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить». Собирая нищие, отвергнутые предметы, Воцев вводит их в «память Божию», т.е. заново рождает, увековечивает, ведь памятование Божие абсолютно. (Не зря разбойник, произнеся «помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», попал в рай). Пусть даже у Платонова речь идет не о Боге, а скорее всего о федоровском «музее», об универсальной пост-модернистской библиотеке, где собрано все знание, вся информация о мире.

Хоть Платонов и не говорил о Боге-Отце (как его учитель Федоров), стремление объединить всех людей вокруг «общего дела» и смысла, вокруг высшего Торжества и Воскресения, у него еще сильнее, чем у учителя.

Платонов идет от «минимализма», в своих лучших вещах он отказывается от магических услуг науки и «регуляции» и полагается на что-то иное, совсем противоположное по природе. Беззащитность и сиротство — сила большая, чем гордый человеческий разум. «Блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны бессильные», чье существование сведено к минимуму только жизни, только дыхания: «Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и притушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Воцев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было ни звука, никто не видел

снов и не разговаривал с воспоминаниями,— каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Воцев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует,— и так спал, не чувствуя истины до светлого утра».

Во время сна оставалось живым только сердце. Каждый существовал без «излишка жизни», т.е. в смирении и послушании высшей воле Творца, который не терпит неряшливости и бессмысленности затрат.

Сердце билось вблизи — и оно, бьющееся, заменяет лицо. Лицо у героев Платонова целомудренно скрыто сном: глубоко и печально скрыты их глаза — как на картинах Сурбарана, где глаза аскетов (сам экстаз, невозможный для живописи) не могут быть написаны, т.к. не могут быть объектом изображения и разглядывания, поэтому они преднамеренно скрыты монашеским капюшоном. Все тело спящих у Платонова⁴ становится лицом (многоочитым, полным света и смысла). Как говорил святой Макарий Египетский, у святого все тело — лицо, и все лицо — глаза.

Глаза (в феноменологии Левинаса)— самое беззащитное место в теле человека, но вместе с тем они и — самое сильное человеческое орудие — нельзя убить человека, смотря ему в глаза. Беззащитность тел и душ героев Платонова делает их по-настоящему сильными, соединенными со всей Вселенной.

При этом нельзя сказать, что Платонов, изображая тела, аллегорически рассказывает о некоем «внутреннем» мире человека. Здесь неприменимы никакие символические, барочные и дуалистические структуры. Платоновское описание сделано в духе «откровенной сокрытости», оно феноменально в плане того сияния (файномен), о котором говорит Хайдеггер. Антитеза «быть и казаться», любая «сцена» исчезает у Платонова. Исчезает всякая возможная театральность, даже театральность трагедии. Излишек жизни (скрытое или, напротив, внешнее) отсутствует. Есть лишь ее правда, которая всегда аскетична и целомудренна. Все голо, но не бесстыдно, ибо лишено второстепенных, дополнительных характеристик — возможности наслаждения или осквернения. Голость у Платонова — не моральна и не аморальна, она по ту сторону так понимаемого «добра и зла», она говорит и целостности и наполненности всего бытия.

Голость дает тепло и требует тепла, она — выражение соборности, столь любимой у русских идеи.

Сердце, как религиозный центр человека, вызывает особое внимание Платонова. В Царстве Небесном (а сейчас уже в церкви) люди будут иметь

одно сердце. Сон-мистерия соединяет людей со всей беззащитной и доверчивой тварью и преобразует их беспомощное сиротство в новый зон вновь обретенной соборности.

Все существующее — священно. Федоровское презрение к телу и плоти преобразуется у Платонова в великое благодарение, в «минималистическую» литургию, где тело в полном смирении служит духу. «Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей — их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти, не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество неимущих . . .» «Чагаев с наслаждением наблюдал, как ест его народ — без жадности, осторожно сберегая пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжело добыли эту пищу и подарили ее им. Чагаев терпеливо жил дальше, подготавливая тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно». Здесь прямо-таки описание «причастия», земной «литургии», которая может быть предчувствием небесного счастья и праздника. А пока нужно терпеливо ждать и работать для того, чтобы осуществилось «Да придет Царствие Твое».

Платонов думал, что сиротство и разобщенность людей исчезнет после осуществления революции (по крайней мере так думали его герои), революция — это «мать», ее вожди — наши отцы. Герои Платонова, как и многие русские, видели революцию под эсхатологическим знаком, ждали ее как прихода «Царствия Небесного».

Высокий утопизм героев Платонова выродился в 30-е годы в инфернальное поклонение Сталину, «отцу всех народов», и матери-Родине, ведомой этим отцом. Так и умирали с чувством выполненного сыновьего долга, с возгласом «За Родину, за Сталина». Жил советский человек в ту пору жизнью раздвоенной: за глянцевого и киношной веселостью корчились миллионы спрятанных в ГУЛаге жертв. И все-таки настроения песен тех лет говорят, что люди не чувствовали себя сиротами, и как это поется, «каждому хотелось догнать и перегнать отцов».

Сиротство в сегодняшней петербургской поэзии

У Цветаевой сказано: «Всякий поэт по существу эмигрант. И всякий человек «эмигрант Царствия Небесного». Одиночество — онтологическая норма, оно неизбежно.

Как нежный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве . . .

За князем — род, за серафимом — сонм,
За каждым — тысячи таких, как он,

Чтоб пошатнувшись, на живую стену
Упал и знал, что тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд.
За вором — сброд, а за шутком — все горб.

Так наконец усталая держаться
Сознаьем: перст и назначьем — драться,

Под свист глупца и мещанина смех —
Одна из всех — за всех — противу всех!—

Стою и шлю, закаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди тому залог
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

В начале века еще можно было писать о сиротстве в героическо-романтическом тоне, еще не умерло противопоставление себя толпе, умный был умным, а глупый — глупым. Дантовская вселенная только-только начинала расплзаться по швам. К середине века сиротство становится другим, его «элитарность» окончательно исчезает. Одиночество становится подлинным, т.е. погруженным в холод «вселенной, от нас остальной».

Впустите же блудного сына
хотя бы в сообщество крыс
хотя бы в клочок паутины, что над абажуром повис!

Хотя бы вся жизнь оказалась
Судорогой одной

Предсмертной — но только не хаос
Вселенной, от нас остальной
(В. Кривулин)

Вообще в сегодняшней петербургской поэзии мы часто обнаруживаем мотив сиротства, одиночества и заброшенности. По своему социальному статусу эта поэзия оказалась «не у дел», ее искренность и незащищенность — от маргинальности, ее эсхатологичность — от застылости жизни, времени, лозунгов, программ. Этих поэтов не печатали не только потому, что они не писали об «успехах на производстве». Причины их непризнания лежали (и лежат) много глубже: петербургские поэты (Кривулин, Шварц, Миронов, Стратановский, Охапкин и др.) вышли за пределы «социальщины» и психологии к опасному эсхатологическому бунту, неуловимому для здравого смысла. Они не просто выпали из «системы», они стали бездомными и неприкаемыми принципиально и были благодарны судьбе за свой экзистенциальный промах:

Если б нас впопыхах не пришли заранее,
не подняли б — не бросили оземь — с земли,
мы росли бы с тобою в развернутой раме
на глазах шелудивой народной семьи . . .

В нас и буквы, смеясь, поменялись местами,
как священники-птицы вокруг Алтаря
о, как страшен и вечен играющий нами.
Тут молчание: нас порешили не зря.
(А. Миронов)

Много хорошей «достоевщины» в этих и других стихах ленинградцев. Хрупкость, неприкаянность, неуютность жизни. Невротическое подполье. Но всегда ли невротическое? Всегда ли чулан с грязным бельем вытесненных желаний? Думается, что фрейдизм здесь работает плохо, и подполье, т.е. незащищенность этой поэзии нужно воспринимать прежде всего как ее высокую чувствительность, ее настроенность на все или ничто. «С меня кожу содрали, и мне уже от одного взгляда больно», — говорит герой из подполья Достоевского. И эта истина не обличает «больного», напротив, она говорит о человеке вообще, жестокая правда есть в том, что человек заброшен в неуютный, холодный и давящий мир. В этом мире он защищен грубыми «кожаными ризами». (Как пишут святые отцы, прародители получили ризы

после грехопадения). Негде приклонить голову и человеку в мире, в котором распят Господь.

Поэтому преимуществом (познания себя самих и истины о мире) обладают именно неудачники:

Из брошенных кто-то, из бывших,
Не избран и даже не зван,
Живет потихоньку на крышах
С любовью к высоким словам.

(В. Кривулин)

Неприкаянность можно понять и заниженно: выбросили человека из социальной жизни, из истории, из культуры. Поколение поэтов, которым сейчас от 35 до 45, не печаталось официально (и не мечтало об этом), оно не нужно «народу», «обществу», «прогрессу». Но есть и более глубокая неприкаянность, связанная со стыдом «играния роли», с неподлинностью всякой формы. Даже просто бытие воспринимается чутким сердцем как агрессия, как вытеснение другого бытия.

Сами эти поэты хорошо написали о себе и о своем времени-безвременье.

Бывают времена — они свою дитю
лелеют, нежат, в хлебе запекают
горячем. Педантичный дух,
во чревах обходя младенцев,
им уши протыкает,
им зрение острит,
на кровь им дышит,
чтоб быстрее кружила,
снимает плесень с ока —
блажен! — и бык тогда становится пророком.
И гении, как сорняки растут —
так много их — но и земля широка.
Но вы — о бедные — для вас и чести больше,
кто обделен с рождения, как Польша,
кто в пору глухоговоренья
родился — полузадушенный, больной,
кто горло сам проткнул себе для пенья,
глаза омыл небесною волной
и кто в декабрьский мраз — как чахлая осока
на льдине расцветал, шуршащей одиноко.

(Е. Шварц)

«А ведь Бог-то настроил — как в снегу цикламены сажал», — пишет Елена Шварц в другом своем стихе.

Образ розы в снегу, цветения в мороз — образ классический для мировой поэзии. Розой на снегу называют Божью Матерь. Здесь парадоксальность «невесты неизвестной», «материнства-девства». У Елены Шварц эта образность переносится на момент «нерожденного рождения»: «кто горло сам проткнул себе для пенья» (т.е. сам себя породил). Сиротство героя очевидно — поэт родился во время, когда нет отцов. Но для таких и «честь больше», они омывают свои глаза не какой-нибудь, а «небесною водой» и расцветают даже на льдине. Сироту, отвергнутую людьми и миром, приютить может только Бог.

И так, через «драконью темноту» (Шварц), через ощущение себя «червем на огненном крючке» (Миронов), через выбор «поражения» (Кривулин) вспоминается, что тьма «была когда-то Богом», и сиротство человеческое, поэтическое, «имманентное» преобразуется в признательный, по-детски доверчивый вздох:

Закрыта будущность моя,
Но среди прочих зраков
Ты возлюбил узор червя,
Блаженный сын Иаков . . .

Ты весь у Господа в руке,
В сетях словесных нитей . . .
О, червь на огненном крючке,
Господь мой и Спаситель!

(А. Миронов)

Не всегда поэты эти представляют себе Бога только милосердным и любящим Отцом. Чаще отношения между тварью и Творцом полны драматизма. Но богоборчество только подчеркивает, что связь жива, что Отец от нас ждет многого:

Тот, кто бился с Иаковом,
Станет биться со мною?
Все равно. Я Тебя вызываю
на честный бой.
Я одна. Ты один.

Пролетела мышь, проскрипела мышь.
Гулко дышит ночь.
Мы с тобой, как русские и Тохтамыш
По обоим берегам неба.

(Е. Шварц)

Для Бога человек — силомер, Он познает свою собственную мощь, заставляя в «любящей борьбе», чтоб «рука руку схватила».

* * *

Поэты, обретшие в пустыне нигилизма и безвременья опыт живого Бога, повторяют путь, проделанный сегодня тысячами обыкновенных людей. Обретение дома после долгих и мучительных блужданий, благословляющий, ласкающий жест отцовских рук (Рембрандт) — Церковь стала для многих впервые обретенной семьей. И не только семьей: она взяла на себя многое другое, что было утеряно, разрушено и загублено советской историей. Церковь — воскрешенная страдалница-земля, красота, добро и искренность. Возможность простить и просить прощения, возратить прошлое и переселить его покаянием и надеждой. В Церкви — победа, и Бог, при всем таинственном и страшном одиночестве Отца, уже не одинок.

И. КАВЕЛИН

«НОВЫЙ МИР» И ДРУГИЕ

Тьмы низких истин нам . . .

Еще вчера, когда российский читатель с радостной одышкой захлебывался от переизбытка журнального и газетного чтения, вероятно, странно прозвучало бы утверждение о падении влияния литературы и уменьшении ее роли в обществе. Однако еще до пика всеобщего читательского ажиотажа, превратившего страну в огромный зал Публичной библиотеки, литература, повесив голову, стала спускаться вниз по лестнице своего влияния; и теперь недалеко та граница, за которой она превратится в западный вариант словесного искусства, интересный узкому кругу исследователей и посвященных.

Это реальное противоречие обусловлено прежде всего распространенным у нас отношением к литературе, когда литература (вспомним место, которое неслучайно отведено ей в официальном перечислении: литература, искусство . . .) одновременно похожа на искусство, но искусством не является. Отсюда вытекает приоритетный способ художественного чтения с характерным школьным дефектом, сводящим литературу к ее содержательной части. И такой ракурс взгляда на литературное произведение, при котором произведение становится жизненным документом, лишь опосредованным авторским стилем. Надо ли говорить, что такой взгляд на литературу не только ущербен (пытаясь не замечать условности любой литературной формы), но и антиисторичен, ибо, игнорируя динамику развития художественных форм, отдает абсолютное предпочтение канонизированной форме советского психологического романа с историческими или этно-философскими отступлениями.

Несколько лет назад информационный и правдоискательский голод обер-

нулся новым социальным заказом, который тут же выполнили современные журналы.

Как будто и не было двадцати лет, «Новый мир» и другие либеральные журналы вернули нас в конец шестидесятых, начав с того места, на котором остановился Твардовский. И дело не только в том, что акцент поставили на романах, написанных во время предыдущей «оттепели», — само романное пространство, концептуально дублируя себя в разных образцах, возвращает нас назад, запихивая «как шапку в рукав» демисезонного пальто переломного времени.

Для беглого взгляда — ситуация естественна: жизнь не терпит пустот, стремится восполнить упущенное, прочесть непрочитанное, узнать скрытое. Суть в другом: «Новый мир» Твардовского, являясь выразителем просвещенного советского либерализма, в равной степени противостоял как охранительно-консервативному мировоззрению, так и новаторским течениям в современной литературе, пытаясь выстроить мировоззренческую линию без учета не только мировой, но и русской литературы 20—30-х годов. И как нынешняя литературная ситуация приняла эстафету двадцатилетней давности, перешагнув через опыт 70—80-х г.г., так и «Новый мир» Твардовского пытался восстановить традицию психологического романа, явившегося высшим достижением XIX века с его верой в человеческий разум, в рациональное мироустройство и теорию прогресса.

Не видя (вернее, не умея увидеть), что здравый смысл не выдержал в XX веке экзамен, оказался неспособен управлять жизнью и быть гарантом ее разумности, «Новый мир» Твардовского, представляя из себя закономерный виток спирали, объективно выполнил свои функции к тому моменту, когда был задавлен, став неудобным для высшего литературного и политического начальства. Нет, Твардовский мог бы еще опубликовать то, что теперь опубликовано за него, и «Доктора Живаго», и Гроссмана, и «Раковый корпус» Солженицына — но это не столь уж много изменило бы в будущем русской литературы, как это прежде казалось. В определенном смысле судьба Твардовского и его детища счастлива. Твардовский был снят, его журнал прекратил существование именно в тот момент, когда из прогрессивно-либерального органа мог превратиться в охранительно-либеральный, препятствуя распространению художественной мысли, идущей на смену выполнившим свою задачу рационалистическому роману и рационалистической лирике 60-х годов. Ибо, повторим, в равной степени противостоял как консервативным, так и авангардным течениям в литературе.

В какой мере приверженность к тому или иному художественному методу, с одной стороны, определяет готовность к социальной адаптации, а с другой,

способствует мировоззренческой пронизательности? В какой степени эстетические пристрастия связаны с этической позицией художника и его возможностью адекватно оценивать происходящее вокруг? Для ответа на эти вопросы введем, помимо уже обозначенных точек рассмотрения (сегодняшний день и конец 60-х), третью точку — 30-е годы, так как риторическое и абстрактное звучание этих вопросов сегодня (их неочевидность и трудноразрешимость) в 30-е годы обладало беспощадной обнаженностью, конкретностью и недвусмысленностью, потому что помимо нравственной стойкости художника подвергалась проверке и истинность его эстетического выбора.

Писатели этого десятилетия окончательно разделились на получивших полноправное гражданство в литературе (а следовательно, и в социальной жизни) и литературных «лишенцев». При этом причинами деления были не социально-политические воззрения и отношение к «советской действительности», поскольку никакое, кроме верноподданнического, в эти годы не манифестировалось, а глубинные мировоззренческие и эстетические пристрастия. Причем обнаружить себя в годы, когда литературно-эстетические, а тем более политические дискуссии стали невозможными, эти пристрастия могли лишь в самом литературном произведении. По сути дела, литературные «лишенцы» бросали вызов не идеологии нового мира, но утвержденной и поддерживаемой ею канонизированной эстетике — приспособившемуся к новым условиям социально-психологическому реализму XX века.

Еще в 1922 г. в статье со знаменательным названием «Конец романа»* О. Мандельштам пишет о кризисе рационалистической, психологической прозы, делающей ставку на личность, характер героя и его биографию, а также о несостоятельности притязаний традиционных романских форм отражать новое время. В этой статье Мандельштам пытается доказать, что законы, по которым строится пространство психологического романа, определяемое поступками героя и авторской мотивировкой этих поступков, не совпадают с законами, по которым существует реальная современная жизнь человека и общества. «... когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, акции личности в истории падают и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнанная роль личности в истории служит как бы манометром, показывающим давление социальной атмосферы... С первых шагов новый романист почувствовал, что отдельной судьбы не существует». И далее: «... интерес к психологической мотивировке (...) в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед

* О. Мандельштам. Конец романа. Альманах «Парус», № 1. М., 1922.

реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Современный роман сразу лишится фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий».

О. Мандельштам был не единственным, кто доказывал, что в новом времени «само понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально понятием «приспособления», и, значит, «само понятие «романа» фальшиво там, где можно говорить лишь о подборе и приспособлении». Разговор о кризисе психологического романа как жанра поддерживали и другие исследователи: Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Б. Грифцов, К. Спасский, М. Бахтин.

Понятно, что провозглашение «конца романа» не означало невозможности написания психологического романа с фабулой в виде биографии героя и последовательных психологических мотивировок в роли композиционного каркаса. И в 20-е годы такие романы не только пишутся (помимо М. Горького это Д. Фурманов, А. Серафимович, А. Фадеев и др.), но и становятся магистральной линией литературы, усиленно прокламируемой официальной критикой, достаточной точно выражающей мнение властей, которые поддерживали писателей именно этого направления. Иначе сложилась судьба тех, кто ощутил эстетическую и метафизическую «фальшивость» психологического романа и рационалистической лирики и искал выхода за пределами реалистической прозы и поэзии.

Как пишет современный исследователь*, «движение литературы 20—30-х годов совершалось несколькими потоками, текущими рядом, то притягиваясь один к другому, то разъединяясь и отдаляясь до тех пор, когда один из них потерял из виду другие, ушедшие под землю — в русло литературы, уже не выходящей «на дневную поверхность» (Д. Лихачев) печатной жизни». Однако дело не только в том, что одних печатали, а других нет, по сути эстетический критерий или эстетическая цензура с середины 30-х годов стала определять: кому жить, а кому нет. Мы еще попытаемся объяснить, почему эстетический критерий приобрел в это время функцию «дамоклова меча», пока лишь отметим, что пресловутый меч не затронул никого из наиболее видных представителей рационалистической прозы и поэзии, в то время как борьба против «модернизма, авангардизма и формализма» привела к уничтожению большинства из тех, кого творческие поиски увели за границу реалистического искусства, как это случилось с О. Мандельштамом, Б. Пильняком, Л. Добычиным, А. Веселым, И. Бабелем, почти всеми обэриутами:

* М. Чудакова. «Новый мир» № 9, 1988.

Д. Хармсом, А. Введенским, Н. Олейниковым и многими другими. Здесь имеет смысл говорить и о тех, кто по различным, но всегда определенным причинам был оставлен в живых: Б. Пастернаке, А. Ахматовой, Н. Заболоцком, М. Булгакове, М. Зощенко, А. Платонове, но на десятилетия был выставлен из литературы.

То, что дело было не в политических убеждениях, которые большинством из этих писателей по меньшей мере не манифестировались, а именно в эстетической направленности, говорит хотя бы подобная же ситуация в других видах искусства, музыке и живописи, где именно упреки в «формализме» были причинами отлучения от искусства (вспомним ситуацию с П. Филоновым, принимавшим и отображавшим революционное время, что не спасло его от остракизма).

Не вдаваясь в подробности общественной жизни 30-х годов, факты которой теперь доступны самому широкому читателю, возможно небесполезно будет задаться вопросом: кто и почему из деятелей литературы и искусства сохранил трезвое отношение к происходящему, кто адекватно оценивал действительность, кто сумел разгадать ее сокровенный смысл? Казалось бы, именно сторонники «психологического искусства», «инженеры человеческих душ», исследующие в своих произведениях характер современного им человека, должны были бы распознать, кто есть кто в фантастическом спектакле 30-х годов, кто есть жертва, кто палач, кто невольный соучастник. Этого не произошло. Зато отчетливое понимание происходящего можно найти как раз у тех, кто отвергал психологический метод в искусстве, в высказываниях и творчестве Мандельштама и Добычина, Хармса и Введенского, Пильняка и Замятина. Кстати, как ни странно, именно этим «формалистам, модернистам, декадентам», ставящим под сомнение всемогущество человеческого разума и самодовлеющую ценность человеческой личности для искусства, куда более, чем другим, удавалось сохранить свое человеческое достоинство и честь художника, которую они защищали намного более строго и непреклонно, нежели представители «гуманистического искусства».

А вот представители гуманистического, реалистического, психологического метода в искусстве в лучшем случае оказывались слепы к современной им действительности либо сами активно участвовали в кампаниях поддержки по уничтожению своих товарищей по цеху. М. Смелянский в «Выборе Художественного театра»* описывает, как МХАТ в 30-е годы становится рупором сталинской идеологии, как с его помощью уничтожаются Мейерхольд, Таиров и их театры. Это касалось не только Станиславского или Немировича-Данчен-

* М. Смелянский. Уход. Библиотека «Огонька», № 49, 1988.

ко, но и всех их актеров, формально (хотя и сознательно) остававшихся беспартийными, но так или иначе игравших предназначенные им «партийные» роли. «В общественном плане, перед лицом всего народа беспартийные художники, имевшие огромный моральный авторитет и всемирную славу, ни в какой форме своим особым положением не воспользовались»*. «Читая коллективное приветствие МХАТа Генеральному Комиссару государственной безопасности Н.И.Ежову или статью из зала суда, написанную великим русским актером, содрогаешься и сейчас, спустя десятилетия»**. «Ни система Станиславского, ни опыт игры в чеховских спектаклях, ни душевный опыт такой роли, как царь Федор Иоаннович, не помогли распознать подлинное сквозное действие и подтекст гениального политического спектакля»***. «Расплата подписями, честным именем была, конечно, страшной ценой. Не менее страшной была расплата своим искусством, своим голосом»****.

Но почему все-таки Мейерхольд, а не Станиславский? Таиров, а не Немирович-Данченко; Пильняк, а не Фадеев; Введенский, а не, скажем, Шолохов, в «Тихом Доне» которого при желании можно усмотреть куда более отрицательные характеристики новой власти, нежели в обэриутских стихах основоположника поэтики абсурда? Почему приговоры касались сторонников именно не реалистического метода, даже если приметы совдеятельности вообще не входили в темы произведений, как это было у того же Введенского? Почему «Черный квадрат» вызывал ненависть, а «Девушка с персиками» снисходительное поощрение? Что, власть состояла из людей с обостренным эстетическим вкусом, не терпящим отступления от художественного канона?

Вообще вся эта ситуация расправы с искусством уникальна и поучительна, ибо дает возможность понять точнее как то, что представляло из себя это искусство, так и то, что представляла из себя власть, избирательно уничтожавшая художников. Конечно, это тема для серьезных и фундаментальных исследований; пока рассмотрим лишь несколько общих соображений.

Одной из наиболее характерных особенностей власти, которую весьма условно называют «сталинским режимом», было стремление изо всех сил сохранить тайну своей природы. О многом говорит закликательный характер лозунгов и призывов, рожденных как раз в это время.

* М. Смелянский. Уход. Библиотека «Огонька», № 49, 1988, стр. 18.

** Там же, стр. 18.

*** Там же, стр. 17.

**** Там же, стр. 17.

Прокламируемые лозунги о «всенародном государстве», власти «рабочих и крестьян», «диктатуре пролетариата» должны были скрыть истинный автократический характер власти, которая в лице немногих посвященных отчетливо понимала, что стоит открыться ее подлинной природе, как ее сила моментально исчезнет. А сила ее и заключалась в том, что власть являлась двуликим Янусом, одним лицом повернутым к народу, а другим — к себе. Но быть просто двуликим Янусом было мало, требовалось, чтобы об этом, во-первых, никто не догадывался, или, по крайней мере, никто не мог сказать вслух, а во-вторых, чтобы лицо Януса, повернутое к народу, неукоснительно убеждало, что власть представляет из себя именно то, за кого она себя выдает. Ничего бы не вышло, если бы лицо Януса, повернутое к народу, не было бы таким совершенным, идеальным, о котором все (или многие) и мечтали и словесный портрет которого не выражали бы уникально точные, абсолютные формулы-заклинания, тотемные призывы, лозунги-заверения, артикулирующие народные представления о справедливости. И из таких лозунгов было соткано лицо власти, его внешняя сторона, образующая один из полюсов власти. Это была сильная сторона, но была и слабая. Власть не могла позволить себе сказать, что получила прерогативы не из рук народа, а как эстафету из рук тех, кто захватил ее «во имя народа». Что управляет от «имени народа», но несмотря на идущее время, не спешит передавать власть самому народу, руководя страной во «благо народа», которому, однако, не доверяет. Власть всячески подчеркивала идеальную природу нового государства, воплотившего в себе «чаяния всего человечества», гипнотически внушая каждому гражданину, что он должен, обязан быть счастлив, ибо мечты и надежды воплощены, идеальное государство строится на его глазах. Так как без веры гражданина в то, что он живет в лучшей из стран, которая когда-либо существовала, что это государство самое демократичное, заботливое, гуманное, что государство — это и есть он сам, власть не могла бы существовать и рассеялась бы как наваждение. И, понимая, что одной из своих существеннейших сторон она и является наваждением, иллюзией, солиптическим представлением — власть нуждалась в сильнейшем идеологическом поле, пронизывающем душу каждого, заставляющем его беззаветно верить, что иллюзия на самом деле реальность, а наваждение существует во плоти. Без веры отдельной души идеологическое поле, силовые линии которого ткали в духовном пространстве жизни иллюзорные контуры народного государства справедливости,— теряло свою силу. Энергия этого поля и состояла из энергии отдельных душ, вместе составляющих идеологическое излучение огромной мощности. Но без веры каждой отдельной частицы этого поля власть превращалась в ничто, в нечто номинальное.

Поэтому боролись за души. За души всех и душу каждого. И особая роль в этой борьбе отводилась искусству. Искусство выполняло несколько функций. С одной стороны, оно должно было быть волшебным зеркалом, глядя в которое человек видел не себя и окружающий мир, а иллюзорное представление о жизни, то самое наваждение, которое власти выдавали за реальность. С другой стороны, зеркало-искусство должно было превращать мистическую иллюзорную энергию в реалистические картины жизни, к которым оказывался причастен каждый живущий в это время. Само произведение должно было быть прозрачным, проницаемым для силового поля, должно было быть совершенно понятным, не затемняющим ни одного из своих фрагментов, и быть построено по законам, совпадающим с идеально-гуманистическими законами жизни, выдаваемой за реальность. Произведение должно было быть убедительным, искусным именно в том плане, чтобы у читателя возникло ощущение не придуманной, а настоящей реальной жизни, предстающей перед ним, оно должно было быть в прямом смысле жизнеутверждающим, то есть утверждать жизнь, которая якобы окружала читателя. В этом мире человек был венцом природы, был снабжен всепобеждающим разумом, в жизни находилось место подвигу, зло побеждалось, человек был почти всесилен. Такие произведения должны были реалистически описывать утопические представления о жизни, и в самом описании ценилась логика реализации. И чем убедительней, талантливей это делалось, тем большим источником идеологической энергии такое произведение обладало. Источниками дополнительной энергии могли стать и классические произведения прошлого, принадлежащие, конечно, гуманистической традиции. Выстраивающие ряд гуманистических представлений, основанных на теории прогресса. Помещаемые в сильное идеологическое поле, они приобретали дополнительное измерение и качество, ранее им не присущее. Так, «зеркалом русской революции» мог стать не только Л. Толстой, но и Чехов (призыв его героини «В Москву, в Москву!»)— прочитывался однозначно как вера прогрессивного человека в будущее, теперь, наконец, наступившее), и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и Пушкин, и даже иностранные авторы, скажем Золя или Диккенс*. Они все как бы описывали предреволюционное время, но были необходимы для создания ощущения преемственности гуманистических традиций и гуманистического мировоззрения, воплотившегося в сегодняшнем дне.

* В том, что из того Л. Толстого можно было взять не все, было естественно, ибо он был предтечей и его заблуждения легко объяснялись. Зато покушавшиеся и отвергавшие теорию прогресса писатели, такие как Достоевский, убирались из школьной программы и объявлялись мракобесами.

Но, конечно, особая роль предназначалась современным художникам. Художник участвовал, взаимодействовал с силовым идеологическим полем дважды: и своей душой, и своим произведением. Кажется, почему бы не позволить отдельному художнику делать свое дело, если оно открыто не вступало в противоречие с общепринятой идеологией? Но в том-то и дело, что нейтральное состояние души и творчества в силовом поле, энергия которого создавалась суммой идеологических энергий отдельных частей, было невозможно. Нейтральное, непрозрачное для силовых линий состояние души (или произведение) приводило к разрыву силовых линий, к потере силы влияния, к ослаблению энергии заблуждения. Конечно, природа идеологического силового поля в его экстремальных состояниях еще не изучена, но хотя бы отчасти оно может быть сравнимо с ситуацией массового психоза, когда уже указанная энергия заблуждения складывается из энергии отдельных людей, находящихся в гипнотическом состоянии. И, как известно, любой сильный внешний сигнал, не принадлежащий пространству заблуждения, может вывести из гипнотического, лунатического состояния если не всех, то по меньшей мере близко расположенных к нему реципиентов.

Вспомним теперь еще раз, что писал О. Мандельштам в начале 20-х годов, объясняя, почему психологический рационалистический роман исчерпал отпущенные ему возможности по отражению реального течения жизни. «Вплоть до последних дней роман был центральной насущной необходимостью и организованной формой европейского искусства».* «Происходило массовое самопознание современников, глядевших в зеркало романа, и массовое подражание, приспособление современников к типическим образам романа. Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией»**. «Все это наводит на догадку о связи, которая существует между судьбой романа и положением в данное время вопроса о судьбе личности в истории; здесь приходится говорить не о действительных колебаниях роли личности в истории, а лишь о распространенном ходячем решении этого вопроса в данную минуту, постольку, поскольку оно воспитывает и образует умы современников»***. И уже цитировавшееся место: «Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени и личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий».

* О. Мандельштам. Конец романа. Альманах «Парус», № 1, М., 1922.

** Там же, стр. 73.

*** Там же, стр. 73.

Мандельштам предупреждает, что человек бессилён перед законом «больших чисел», которые становятся реальными законами жизни, видит фальшивость позиции художника, делающего вид (или действительно не замечающего), что традиционное романное пространство не отражает реального положения человека в мире и обществе, и ищет выхода.

Конечно, искусство Мандельштама, Введенского, Платонова и др. не было «салонным искусством», «искусством для посвященных», «искусством для искусства», а, прислушиваясь к «шуму времени», старалось раскрыть историческую и метафизическую природу изменившегося на глазах мира*. Вне зависимости от конкретных удач или неудач подобных попыток, сама мировоззренческая и эстетическая установка на познание реального, а не на воспроизведение иллюзорного в псевдореалистических образах, была враждебна идеологии силового поля, накапливающей энергию заблуждения. Сознание и творчество таких художников разрушали общую картину, создаваемую силовыми линиями поля, творили в ней опасные лакуны, пустоты, постепенно заполняемые энергией антизаблуждения. Такой художник ничего не мог поделаться с чувством внутренней правоты, управлявшим им тем более властно, чем глубже проникал художник в истинное положение человека в мире, и чем точнее находил язык для отображения новых реальностей. И, напротив, художник, по разным причинам сделавший выбор в пользу «единственного верного художественного метода», где-то в глубине ощущая его слабость и фальшивость, становился куда более податливым для влияния всеобщего идеологического поля, которое он сам — вольно или невольно — помогал создавать. И именно поэтому был уничтожен Мандельштам, а не Асеев, Введенский, а не Леонов, был вынужден замолчать Платонов, а говорили Фадеев и Шолохов (хотя судьба последнего и является во многом иллюстрацией нарастающего бессилия художественного метода, не соответствующего времени и месту).

II

«Оттепель» и первая перестройка были вызваны кризисом идеологической Системы. Не вдаваясь в политические, экономические и другие причины кризиса, можно лишь сказать, что долгое время сохранять «хорошую мину при плохой игре», то есть изображать воплощенную в жизнь Утопию при

* Здесь мы намеренно не касаемся имманентной природы искусства и важнейшего генетического признака новой литературы XX века, состоящего в том, что предметом описания для нее, помимо внеположной реальности, стал сам язык искусства.

реально существующей деспотии,— трудно, даже при условии, что Утопия, очерченная силовыми линиями идеологического поля, во многом воплощала «народные чаяния», а сама реальность власти и жизни, построенная на строгом иерархическом (имперском) принципе,— также не противоречила «народному представлению о государственной власти». Сложное (но, очевидно, вполне допустимое) взаимодействие «коллективистского принципа» (многими исследователями сопоставляемого с принципом соборности, лежащим в основе православного менталитета) с имперско-иерархическим воплощением государственности долгое время было устойчивым. Что и соответствовало исторически благоприятному периоду развития советского варианта имперской идеи.

Скрывая свою имперскую сущность под покровом идей «революционного коллективизма и интернационализма», власть режиссировала трупной в лице «семьи народов», пока реальных трупов не стало настолько много, что идеологическое поле начало слабеть: во-первых, из-за разрыва силовых линий, пропусков и пустот в пространстве. Во-вторых, в силу уменьшения проницаемости оставшихся в живых (вызванного падением веры в идею). В-третьих, вследствие потускнения обобщенного «образа врага».

Дело в том, что отрицательно заряженный «образ врага» выполнял функцию полюса, усиливая идеологическое поле. И хотя враг делился на внутреннего и внешнего, в пространстве отчетливо присутствовало стремление вытеснить «внутреннего врага» из своей среды на окраину, периферию поля, ближе к границе (вспомним географию ГУЛага), тем самым усиливая отрицательную заряженность образа «обобщенного врага» и увеличивая проходимость, проницаемость, заряженность внутри.

Помимо всего прочего кризис Системы всегда был связан с «ослаблением международной напряженности»: негатив тускнел вместе с позитивом, ибо являлся функцией идеологической производной.

Однако, слабея во время кризиса, идеологическое поле перестраивалось, не меняя при этом структуры. «Перестройка» приводила к сужению охвата силовыми линиями пространства, какие-то области выводились из-под действия идеологии, на них концентрировалось общественное внимание, а тем временем поле фокусировалось вокруг своей оси — то есть принципа государственности и основ власти.

Аналогичный процесс проходил и в литературе: литература должна была соответствовать состоянию идеологического поля, высветлять его и фокусировать, становясь (вернее, продолжая быть) источником дополнительной энергии. Но основное требование, предъявляемое литературе,— оставаться внутри Системы и быть проницаемой для силового поля. Свойство «системности» не

позволяло взглянуть на Систему со стороны, свойство «проницаемости» — быть «вещью в себе» в рамках Системы.

Но так или иначе «оттепель», как результат кризиса и ослабления Системы, привела к появлению зон, непроницаемых для идеологического поля, и субъектов, которых можно назвать «отпущенниками», ибо Система, ослабев, отпустила их в зоны пассивной непроницаемости, которые иначе называются «частной жизнью». Ко всем общественным проявлениям (и, конечно, к литературе) предъявлялись такие же строгие требования «системности», «идеологической заряженности» и активной проницаемости, но частную жизнь Система была вынуждена выпустить из поля своего активного воздействия. Конечно, при соблюдении целого ряда условий, и прежде всего условия пассивности.

Однако, очевидно, таковы свойства идеологического силового поля, что любые зоны внутри него обязательно со временем накапливают заряд. Система недаром боролась за целостность, единство, полную идеологическую проницаемость всех своих частей, ибо одновременно с ослаблением Системы и появлением зон непроницаемости в обществе стало появляться двоемыслие, частная, приватная жизнь превращалась в оппозицию общественной, а в свободных зонах стал накапливаться заряд, противоположный по отношению к полюсу официальной идеологии.

Надо ли пояснять, что зоны идеологической непроницаемости стали источником «новой литературы», осваивающей новое пространство, новую экологическую нишу, занимающее уникальное положение пространства в пространстве. И прежде всего вырабатывая свой язык, принимая своеобразную эстафету у «формалистов, модернистов, декадентов», не потому, что те были «формалисты и декаденты», а в силу понимания, что именно этот язык есть основа познания реального, а не иллюзорного, выдаваемого за реальное.

Внутри своего пространства, в зонах идеологической непроницаемости, «новая литература» могла быть вообще идеологически неокрашенной, но стоило произведению выйти за пределы своего пространства, попадая в поле действия активной идеологии, как оно оказывалось «идеологически вредным», «идеологически враждебным», в любом случае «идеологически заряженным», направленным против общего направления силовых линий идеологического поля. Однако до поры до времени «новая литература» циркулировала по внутренним каналам «зоны идеологической непроницаемости», в так называемом «самиздате», либо уходила за край силового идеологического поля, попадая в «тамиздат».

III

Ситуация изменилась во время следующей, современной перестройки, вызванной очередным, но еще большим ослаблением идеологического поля, вынужденного для сохранения самое себя еще больше сузить область своего влияния. Пытаясь сконцентрировать силовые линии вокруг нескольких сакральных принципов и идей, некогда послуживших источником идеологической энергии, а теперь составлявших ось Системы. Произошла очередная «перестройка» идеологического поля.

И результатом стало смещение, соединение старых «зон непроходимости» с новыми, только что выпавшими из-под влияния идеологического поля, зонами уже не частной жизни, послужившей основой для развития традиций «новой литературы», а зонами официальной культуры, в которых существовали свои традиции, внезапно (или постепенно) выведенные из-под воздействия силовых линий идеологии.

Если говорить о чисто литературном плане (что является лишь одной из плоскостей пересечения), то впервые за многие десятилетия на одних страницах соединились три разнонаправленные традиции: традиция официальной литературы (выстроенная под воздействием идеологического поля), традиция так называемой неофициальной литературы (развившаяся во внутренних зонах непроходимости) и традиция эмигрантской литературы (существовавшая вне идеологического поля), при несомненных попытках со стороны первой абсорбировать, растворить в себе, впитать, адаптировать две остальные. Вне зависимости от того, сознательно или несознательно это делалось, происходило все следующим образом. На страницах того или иного либерального журнала (ибо именно либеральные журналы олицетворяют зоны, вновь освобожденные от идеологического влияния) публиковалось то или иное произведение эмигрантской или неофициальной литературы (каким именно отдается предпочтение и почему, мы еще поговорим) с предупреждением, что вот-де еще один талантливый писатель (или талантливое произведение), в свое время не пропущенные цензурой, возвращаются широкому читателю. Иногда во врезке говорилось, что, «понимая, сколь неприемлемы некоторые формулировки (или отдельные места публикуемого произведения), редакция тем не менее не делает купюр», ибо сама публикация «поможет восполнить пробелы в нашей, пока еще очень неполной «картине мира», в наших представлениях о прошлом, настоящем и — будущем»*.

* Знамя, № 12, 1989, стр. 197-198.

Произведение публикуется вырванным из контекста, подразумевается, что произведение говорит само за себя. За пределами публикации оказывается корневая система произведения, его генезис. Иначе говоря, алфавит и грамматика поэтического языка, на основе которых создано произведение, всегда находящееся на пересечении нескольких измерений и, прежде всего, исторического (временного) и поэтического (генезис).

Далеко не случайно при снятии цензурных запретов (то есть при выводе вновь отпущенных зон из-под влияния идеологического поля) либеральные журналы оказались охвачены публикаторским пафосом. Делая акцент на публикации произведений, написанных во время «оттепели» (в конце 50—60-х), но тогда не опубликованных (Гроссман, Пастернак, Солженицын, Домбровский), соединяя их с актуальной публицистикой под одной обложкой, делается сознательная (или неосознанная, но от этого не менее очевидная) попытка сдвинуть литературу на четверть века назад.

Дело не в том, что Солженицына или Гроссмана не надо публиковать (конечно, надо), дело в том, что они опубликованы именно в журналах. «Журнал», согласно Фасмеру, это — «ежедневное известие, весть». По Далю: «дневник, поденная записка».

Суть, конечно, не в том, что современные журналы не соответствуют своему первоначальному значению, отдавая предпочтение не современной литературе, а литературе «оттепели». Важно понять, почему это делается?

Наиболее простой ответ, связывающий эстетическую цензуру с тем, что ключевые посты в журналах занимают люди, вкусы которых сформировались в 60-е годы, до конца не проясняет ситуацию.

Важно понять, почему советская литература с таким упорством эксплуатирует уже внеисторическую форму психологического, рационалистического романа с дидактическим наполнением, которая по сути дела не существует нигде в мире, давно преобразовавшись на Западе в журналистский вариант «семейной хроники», «биографического романа», детективного и уже не проходящего по разряду «фикшн» (художественной литературы).

В чем причина такого упорного провинциализма, цепких пассаистических тенденций, дурного традиционализма, который на деле оборачивается отказом от традиции, если, конечно, понимать традицию (от лат. *traditio* — передача) как развитие последующими поколениями опыта предыдущих.

В нашем случае мы сталкиваемся с отказом от опыта как мировой литературы XX века, так и русской (20—30-х годов, воспринятых «новой литературой», но никак не официальной советской) в пользу XIX века.

По сути дела перед нами попытка остановить время. Если отбросить дидактическое наполнение (восходящее к известным отступлениям Толстого),

то романы, скажем, Фадеева и Гроссмана концептуально схожи, ибо вышли, конечно, не из гоголевской «Шинели», а из «Войны и мира» того же Толстого.

Здесь можно в очередной раз упоминать о само собой разумеющихся исключениях, но разговор идет не об исключениях, а о правилах. И если вспомнить о происходящей перестройке (или перенастройке) идеологического поля, сейчас сужающей и концентрирующей воздействие вокруг своей оси, то можно сделать кажущийся удивительным, но внутренне закономерный вывод, что большинство публикуемых произведений, относящихся к жанру социально-психологического романа (будь это «Доктор Живаго» Пастернака или «Жизнь и судьба» Гроссмана), работают на «перестройку», ибо соответствуют основополагающим принципам идеологической проницаемости, предъявляемым (и предъявлявшимся) к произведениям искусства с конца 20-х годов. Только имеют другой идеологический знак, что на самом деле не так существенно. Главное, что в них само романное пространство совпадает с пространством иллюзорной жизни (навязанном литературе в 30-е годы), определяется эгоцентрическим положением героя (человека), живущего исключительно по психологическим законам, доступным рациональной интерпретации, и не отступающего перед законами XX века, законом «больших чисел».

Иначе говоря, продолжается накопление известной «энергии заблуждения». И делается выбор в пользу утопических представлений, наиболее точно выразивших себя в отработанном паре русского рационалистического романа. По сути дела литературная ситуация в очередной раз является лакмусовой бумажкой будущего. Вроде бы не все ли равно: что читает читатель и что публикуют журналы. Особенно при той атмосфере несвободы, к которой, кажется, привык читатель русской литературы. Но в том-то и дело, что история, подчеркивая переломность момента, в очередной раз (второй, третий, четвертый за несколько веков) предоставляет читателю свободу выбора. Важно только понять, что выбор происходит не между левыми и правыми, консерваторами и либералами, литературой, ориентированной на Запад, и литературой социального заказа, всегда поучающей читателя. Конфронтация между левыми и правыми, демократами и партийцами, Востоком и Западом, является мнимой, вернее, сдвинутой в область мнимых представлений.

Выбор как раз и происходит между иллюзорным и реальным, утопическим и настоящим, «нас возвышающим обманом» психологического романа и «тьмой горьких истин», заключенных не в комплексе тех или иных идей,

а в поэтике — опять же не вечной, но именно сейчас наведенной на фокус временем.

А что будет выбрано: литература готовых ответов либо литература вопросов, заключенных в самом поэтическом языке,—покажет будущее и история русской литературы.

ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей ШЕЛИН

СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС, И ВСЕ ЛЕСОМ

Уроки российской революции

Воистину, река полна крови, но все же пьют из нее.

В конце прошлого века мировая история приобрела подобие единого ритма. Сразу в нескольких местах независимо друг от друга начались общественные катаклизмы. Немного спустя кризис захватил уже всю землю и затух только к началу пятидесятих годов.

Человеку свойственно тем слабее сопротивляться обстоятельствам, чем больше их масштаб. Но при этом он с особым интересом наблюдает историю и пробует осмыслить ее ход. Итоги подобных раздумий не только поучительны, но и полезны, ведь в будущем, вероятно, предстоят новые кризисы, к которым следует заранее подготовиться.

Трудно проникнуть в суть случившегося, если смотреть на него со стороны. Чтобы стали понятны связи между событиями, необходимо учесть подробности непомерного числа больших и малых происшествий. Разум не может охватить целиком столь сложную картину, даже если допустить, что все потребные факты известны и доступны. Поэтому модели общественных процессов обычно заготавливают заранее, а их достоверность проверяют фактами, способы отбора и формулирования которых заложены в самих этих моделях. Ясно, что такой подход приводит скорее к иллюзиям, чем к знанию.

Другого рода односторонность возникает при полном погружении в изучаемую среду. Вдыхая воздух прежнего времени, нетрудно понять поступ-

ки людей, но очень трудно осмыслить логику исторического процесса, разобраться в его механизме.

Наилучшие результаты, видимо, обещает третий путь: априорные модели употреблять, но испытывать их не столько «фактами», сколько личным чувственным знанием исторической атмосферы. Успеха здесь может добиться любой благоразумный человек, даже если он и не очень осведомлен. При неизбежных наивности и предвзятости, созданный этим способом образ прошлого будет все-таки максимально правдивым в пределах, поставленных авторским опытом и умом.

Сам предмет размышлений, разумеется, может быть более или менее удобным. Лучше всего, если события успели отодвинуться на достаточную временную дистанцию, но духовный климат, в котором они происходили, еще не утрачен. Та часть всемирного кризиса, которая пришлась на долю России, вполне подходит к этим требованиям. Времени с тех пор прошло немало, а зоны реликтового кризисного духа по-прежнему изобилуют в нашей жизни, и легко доступны чувственному изучению. Попытка обсудить российские дела, не заглядывая вовне, на первый взгляд может показаться порочной. Но как раз тогда Россия скорее оказывала влияние, чем подвергалась ему. Мировой кризис выступит здесь как мысленный и несговариваемый контекст российских событий. Их сопоставление станет внутренней основой для оценок основных этапов нашей революции.

Рассказ будет достаточно упрощенным и затронет лишь те стороны быта, которые имели тогда решающее значение. Надо пояснить также, что Россией здесь именуется все многоплеменное государство, а понятием «русский народ» обозначены не только собственно русские, но и малые, подчиненные нации, в той мере, в какой они действовали совместно.

Первым был век золотой.

*Введение: народ и государство, Предыстория и начало кризиса.
До 1917.*

В давние времена дух общинности и служения власти, наверно, преобладал в России. Похоже, что постепенный его распад и пробудил в крестьянах тягу к идеальному миропорядку, при котором земледельцы, соединенные в общины, покорствуют божьему государству и мирно трудятся, равномерно деля между собой жизненные блага.

Такое мирозерцание было обыкновенным для восточных народов, но в России отстояло от реальности гораздо дальше, чем на Востоке. Расстояние между жизнью и идеалом не было так велико, чтобы разрушить идеал, но при этом достаточно ощутимо, чтобы придать духовному быту болезненный надрыв, а в социальные отношения внести разлад и горечь.

Конечно, общественные порядки, какой бы наружный облик они ни принимали, в своей сущности не могли слишком уж далеко отойти от довлеющих народу норм. Поэтому всякие гражданские и материальные разграничения укоренялись плохо. И вообще, проявления индивидуализма встречали твердый отпор. Правда, по внешним признакам личность была здесь лучше ограждена, чем в странах Востока. Но русское народное сознание никогда не принимало формальную законность слишком всерьез. Навязанные временем новшества люди ощущали как давящую оболочку, которую необходимо с себя сорвать. В старину идеал общественной гармонии больше всего оскорбляло крепостное право. Военные служилые люди издавна получали от государства в пользование землю с крестьянами. Со временем земля стала их собственностью, а крестьяне — рабами. В восемнадцатом веке крепостнический уклад охватил уже половину населения страны. Ради восстановления справедливости повстанцы Е. И. Пугачева пытались поголовно уничтожить дворян. Сходные способы решения социальных проблем еще ранее практиковали цари-реформаторы Иван Грозный и Петр Великий. Теперь, по мере того как государство все больше устранилось от борьбы за гармонию, эту задачу брали на себя низы. Но, вопреки их сопротивлению, общественная структура продолжала усложняться.

Ответом на эти процессы стали Великие реформы Александра II. Государство отчасти согласилось сменить священный статус на гражданский и уменьшило свое вмешательство во все сферы жизни. Помещичий уклад отделили от крестьянского. Казалось, что возникший духовный вакуум заполнят индивидуалистические ценности. Так и случилось, но далеко не везде.

Представления о личном достоинстве и свободе получили быстрое, кое в чем даже преувеличенное развитие. Но такой фундаментальный аспект индивидуализма, как уважение к частной собственности и предпринимательству, воспринимался с большим трудом. В деревне реформы законсервировали общинный порядок. Крестьянский надел оставался прежним: полное уравнение имуществ. Этими чувствами было пропитано и возникающее гражданское общество (интеллигенция), которое переводило стихийные устремления масс на уровень социалистических идей разной окраски. Любого рода предприниматели выглядели в глазах большинства (и отчасти в своих собственных) как

антиобщественные элементы, что накладывало соответствующую печать на их поведение.

Сакрально-административные связи не были заменены партнерскими. Крестьяне хотели пустить в дележку имущество и землю помещиков. Пришедшие из деревни фабричные рабочие не могли привыкнуть к буржуазным порядкам. «Частный сектор» в городах был духовно изолирован. В неустойчивом положении оказалось и государство. Основные его опорные группы — землевладельцы и крестьяне — не желали сотрудничать друг с другом. Партнерство с гражданским обществом тоже никак не налаживалось. Соединение эгалитаризма и свободолюбия делало русских интеллигентов революционерами и традиционалистами одновременно. Режим был теперь чужд тому и другому. Разрыв между государством и обществом мешал становлению либеральных представительных институтов. Когда же они позднее возникли, то воспринимали себя в значительной мере как деструктивную силу, противостоящую старым центрам власти.

К началу правления Александра III эти проблемы обозначились достаточно четко. Их стержнем был конфликт между болезненно деформировавшими друг друга архаичными и перспективными секторами социальной жизни и общественного сознания. Видимо, единственным целесообразным для власти курсом могла стать реконструкция всех столкнувшихся укладов, их постепенное приспособление к реалиям мирового развития. Но режим, лишенный дальновидного руководства, осмыслял свою политику в рамках безнадежной альтернативы: общая либерализация или строгий административный нажим.

Новое ограничение власти, которого добивалась умеренная часть интеллигенции (в то время как радикальная ее часть уже вела войну с государством), привело бы к анархии и вдобавок могло бы поднять против империи подчиненные народы. Поэтому, вполне в духе традиций, был принят репрессивный курс. Конфликты на время ушли вглубь. Потом, в 1905-1906 годах, под революционным давлением пришлось начать уже либерализацию, и режим ясно ощутил близость гибели. Только после этого предприняли не очень уверенную попытку социальной перестройки.

Главной целью столыпинских реформ, проводимых твердыми авторитарными методами, было создание широкого слоя крепких земельных хозяев. Наделы для них были изъяты из общинных владений, выделены на целинных землях или отняты у национальных меньшинств. Преобразования имели лишь частичный успех и через несколько лет стали затухать. Гибель П. А. Столыпина едва ли была тут главной причиной. Общий репрессивный климат, в котором осуществлялись запоздалые и притом односторонние реформы, не

мог возбудить в обществе доброжелательного отношения к ним. Они оставались делом правящей элиты, которая к тому времени была уже непригодна для столь сложной и неопределенной по последствиям деятельности.

Деревенские и городские частные владельцы, призванные стать опорной группой режима, сохраняли ощущение собственной гражданской неполноценности. У них крепились плебейские антиаристократические чувства и тяга к сильной власти фашистского типа. Старое дворянское государство недостаточно уверенно шло навстречу их пожеланиям. Большинство крестьян осталось в общинах, внутри которых все время росло напряжение. Общинные институты медленно загнивали, а серьезных попыток приспособить их к условиям рыночного уклада не делалось. Встревоженные реформами общинники теряли доверие к государственной власти. В таких обстоятельствах проводить устойчивый реформистский курс могла только твердая воля самодержавного правителя. Николай II такой воли не имел.

Ясно, что столыпинские реформы, в том виде, в каком они были исполнены, не смягчили, а скорее усилили социальные конфликты. Основная масса населения в деревне и в городе сохранила старые уравнилельные помыслы. По мере того, как практика все больше расходилась с идеалом, росла горечь и являлась потребность в расправе с привилегированными слоями. Первая мировая война только ускорила приход нового, уже необратимого кризиса.

Доброе дело само себя хвалит. *Кризис: общий обзор. До 50-х.*

Кризисное время включает предреволюционные события (уже обсужденные), собственно революцию и события, которые непосредственно вслед за нею произошли. Сам революционный период, в свою очередь, довольно четко делится на пять этапов:

1. Первый социальный переворот (начало 1917—конец 1918).
2. Стабилизация революционного режима (1919-1920).
3. Кризис власти (осень 1920-1921).
4. Гражданское перемирие (1921-1927).
5. Второй социальный переворот (1928—начало 30-х).

Ломка прежних общественных укладов была закончена примерно к 1932-1933 годам. С этого времени развитие вступило в эволюционную фазу. Но до начала 50-х годов эволюция шла медленно, все время приостанавливаясь из-за чисток, постепенно устранивших немалую часть людей. Этот

последний кризисный период можно назвать суровым эпилогом революции, временем репрессивной стабилизации новых общественных структур.

Перед тем, как перейти к конкретным проблемам, следует высказать самые общие впечатления от российских революционных событий.

Общество пришло к революции достаточно дифференцированным в духовной и социальной сферах. Своеобразие нашего плюрализма состояло в том, что общественные группы были мало склонны к сотрудничеству и проявляли растущий интерес к уничтожению друг друга. Поведение борющихся за власть элитных и контрэлитных группировок оказывалось в этом смысле сходным с действиями низовых слоев. Реализация подобных устремлений на всех фазах революционного кризиса вытравила согласительное начало из общественной жизни и отчасти из частных отношений.

В революционных условиях действовали особые стереотипы социальных связей. Взаимодействие революционной элиты с управляемыми на первых порах получило характер строгого диктата, в том числе и применительно к ее опорным низовым группам. В горизонтальных связях, в отличие от вертикальных, партнерский дух сохранялся дольше. Правда, межгрупповые компромиссы в ходе революции никогда не были устойчивы. Периоды тактической терпимости, вызванной истощением сил сторон, всегда заканчивались новой схваткой. Зато внутренняя (особенно внутриэлитная) сплоченность, без которой в атмосфере жесткой борьбы было немыслимо групповое выживание, какое-то время сохранялась и даже усиливалась. Она подверглась уничтожающей эрозии только к концу революционного процесса. В этих условиях обществом было принято иерархическое кастовое устройство древнего типа, а отношения социального диктата и партнерства сменило общее служение сакральному государственному абсолюту.

Другой (и тесно связанной с первой) особенностью российских событий было сочетание весьма решительного социального действия со слабым политическим сознанием. В атмосфере стихийного бунта акты общественной борьбы напоминали скорее вспышку подспудных страстей, чем реализацию политической воли. Глубокая деструкция гражданского организма и большой, чем обычно, разрыв между сферами бунта и политики открыли дорогу к власти для небольших, но хорошо организованных и решительно действующих групп.

Обладание этими качествами обеспечило большевикам победу над всеми противниками, хотя их программа и была не во всем приемлема для основной массы населения. Из анархической стихии выростала сильная власть, идеологические одежды которой должны были создаваться совместными усилиями

правителей и управляемых. Из-за различия исходных позиций этот процесс оказался сложным и болезненным для обеих сторон.

Идейная борьба в тот период была совсем не однозначно связана с социальными столкновениями, но, как и они, бескомпромиссна. Перед революцией в духовной жизни соседствовали не совмещавшиеся друг с другом установки — имперские, религиозные, эгалитаристские и другие. В начале кризиса при торжестве стихийного эгалитаризма многие из них пали вместе со старыми элитными группами. Но одна из этих идей — государственная — обязательно должна была возродиться, хотя бы и в новом обличье.

Приверженность сообществу праведных — традиционно важнейшая духовная ценность в России. Все остальные установки воспринимались массами как ценности второго ранга, образующие своеобразную облицовку основной. На этой почве новое государство и получило поддержку народа, поддержку, вытекающую не из социально-политической, а из духовной близости. Иррациональные уравнилельные устремления, давшие первый толчок революционному процессу, затем, как в доиндивидуалистические времена, растворились в государственной идее, возвращая ей утраченную до революции полноценность и делая ее неотразимой для народного сознания. Религиозное преклонение перед властью усиливалось, охватив сначала низы, а потом и саму элиту.

Этот процесс шел рука об руку с общественной эволюцией. В двадцатые годы прекратилась политическая жизнь. В тридцатые — почти замерла социальная. Гражданское и групповое сознание вытеснялось религиозным. Возникнув из подспудных устремлений людей, новая религия оказалась весьма архаичной по своему типу. Она возбуждала сильнейшее духовное напряжение, а ее обряды и ритуалы включали человеческие жертвоприношения. Культ праведной власти требовал беззаветной верности и священного трепета. Вместе с тем он сильно смягчил старые моральные нормы и этим заметно упростил своим адептам реализацию личных целей. В русле этого культа инстинктивный эгоистический бунт легко сочетался с подвижническим исполнением верховных предначертаний. Такое соединение бессознательного своекорыстия и геройской жертвенности надолго стало общественной нормой.

В начале тридцатых годов преобразования дошли до возможного предела. Затем высшая власть сумела предупредить попятное движение и решительно упрочила свой статус.

Чрезвычайно последовательное, непреклонное проведение в жизнь обозначенных выше начал отличает российскую революцию и гарантирует ей выдающееся место в сокровищнице человеческого опыта. Попытки дать моральную оценку событиям или установить чью-либо ответственность за горькие и сладкие плоды перемен имеют достаточно ограниченный смысл.

Осуществленный вариант истории не был единственно возможным, но он не менее других обоснован структурой общественных отношений и фундаментальными духовными установками, заданными всей предшествующей эволюцией России и мира. Добрая или злая воля лидеров и даже социальных групп, взятых по отдельности, не имела здесь ключевого значения.

Дай ему волю, возьмет и две.
Первый социальный переворот. 1917-1978.

С конца 1916 года быстро росла активность крестьян и городских бедняков. В феврале 1917 года стихийное восстание в столице ликвидировало монархию. Формальную власть взяли старые представительные институты. Все ограничения на политическую деятельность были отменены. В новом, Временном правительстве преобладали сначала либералы, позднее — умеренные социалисты. Правительство продолжило войну с Тройственным союзом, а проведение социальных реформ откладывало до созыва Учредительного собрания. В это время крестьяне на местах приступили к разделу помещичьих земель. В армии увеличилось дезертирство. Социалистические партии организовали Советы — параллельную систему власти. Радикальная их часть предлагала взять руководство целиком в свои руки, экспроприировать частную собственность и прекратить войну. Консервативные круги готовили военный переворот. Режим, теснимый с двух сторон, испытал некоторые колебания, но затем при помощи Советов разгромил правый путч. Сильно укрепилось влияние самой радикальной советской партии — большевистской. Сторону большевиков приняли городские низы и часть армии. Временное правительство было довольно легко смещено в октябре 1917 года. Власть официально перешла к Советам, а фактически — к блоку большевиков и левых эсеров. Новый режим узаконил захват земли крестьянами, объявил об окончании войны и начал изъятие предприятий у крупных владельцев. Вскоре армия разошлась по домам, старый государственный аппарат распался, стихла экономическая жизнь. Городская беднота делила жилье и имущество богачей. В конце 1917 года прошли выборы в Учредительное собрание. Большинство мест получила партия эсеров — сторонников раздела помещичьей земли. Новая власть распустила Учредительное собрание, не встретив серьезного отпора. Несоветские партии были потом запрещены, быстро рос революционный репрессивный аппарат. Весной 1918 года заключили неравноправный мир с Германией. Левые эсеры его не одобрили. Большевики стали отнимать у крестьян продовольствие для прокормления городов. Одновременно они поощряли

экспроприацию богатых крестьян сельской беднотой. Добытое делили между собой деревенские бедняки и городские продовольственные отряды. В связи с этим левые эсеры окончательно порвали с большевиками и летом подняли восстание. Обе стороны располагали небольшими и примерно равными силами. Дело кончилось тем, что большевики взяли верх. Они стали фактически единственной легальной партией. Основная масса крестьян и горожан пока держалась в стороне от борьбы. Осенью большевики репрессировали большое число своих явных и предполагаемых противников. Решительно укреплялись административные, военные и карательные механизмы новой власти. Под государственный контроль взяли промышленные предприятия. В деревню устремились полчища комиссаров. С помощью комитетов бедноты они завершили второй круг земельных переделов. Владения «кулаков» и многих зажиточных крестьян перешли к обездоленным. Большую часть сельских продуктов государство забирало путем продразверстки. Крестьян сильно беспокоили попытки устройства сельских коммун и совхозов. В начале 1919 года от их насаждения пришлось отказаться.

Первый этап социальной революции был окончен. Оформилась и первая модель большевистской революционной власти. Одновременно стала неизбежной гражданская война. Социальную базу антибольшевистского движения составляли слои, пострадавшие или могущие пострадать от переделов. При этом его руководящей силой стали не социалисты и не либералы, а военный аппарат свергнутого режима.

Люди знают, кому доверяют.

Народ и государство: справедливость, патриотизм. До 1917.

Для любого человека, близкого к российской жизни, хуже всего постижимым в этих событиях будет, конечно, поражение патриотизма — черты, казалось бы, главной в русском национальном характере. Верность отечеству явно отступила перед чувством справедливости, и притом в самый неудобный для государства момент, когда в пределы империи вошли чужеземцы. Нет причин сомневаться в самоотверженности русского солдата, но надо видеть, что это качество проявляется не когда угодно, а лишь в определенных обстоятельствах.

В традициях русского народа — не столько дисциплинированное послушание власти, сколько духовное служение ей. В старые идеальные времена (если допустить, что идеал и жизнь когда-либо совпадали) государственная власть воспринималась как сила, созидаящая весь миропорядок. Отношение к ней

было как бы детским, лишенным всяких рефлексий. Защита ее от любых покушений становилась защитой мировой гармонии и не отделялась от обороны собственной жизни. Самопожертвование было здесь равносильно самосохранению, и неременная к нему готовность — такой же инстинктивной.

Старинное российское государство (так же, как и новейшее) в общем не было царством равенства, но его порядки казались подданным само собой разумеющимися. Осуждение несправедливости, полуосмысленные желания все уравнять — указывали на начало обособления управляемых от власти, на кризис религиозной государственной идеи.

Честно говоря, не очень понятно, когда и насколько была близка действительность к идеальной картине. Многочисленные и разновременные факты говорят больше о разложении религиозной государственности. Но все же нечто ей подобное было, и притом настолько прочно держалось в душах, что позднее смогло возродиться в самых решительных формах.

Религиозное сознание неоднородно, и под верхним слоем благоговейных чувств содержит слой иронии, зависти и подозрений. Такие страсти существуют всегда, но до поры ощущаются самими людьми как низкие и грешные. В девятнадцатом веке духовная сила власти пошла на убыль, и нижний слой начал выходить на поверхность. У интеллигенции он стал почвой для растущего индивидуализма и своеобразного политического самосознания (правда, весьма бескомпромиссного, решительно повернутого против власти и имущих кругов). Зато в народной среде духовные перемены были невелики.

Можно сказать, что не столько народ отошел от старого режима, сколько режим отошел от народа. В глазах крестьян мировая гармония раскололась на две половины. Государство и праведное сообщество перестали быть тождественны друг другу. Иерархия «слоев» нарушилась. Нижний слой стихийных агрессивных импульсов получил моральное оправдание и нацелился теперь на верхний, на государственную идею, ставшую ущербной.

Этот конфликт обострялся, когда режим попадал в трудное положение. Поэтому с начала нынешнего века военная опасность уже не укрепляла, а ослабляла его. Монархия исчезла, когда в один поток слились осознанные действия интеллигенции и стихийный напор народа.

Глаз видит далеко, но сердце — дальше.

Политическая борьба и духовность. Народный мандат. 1917-1918.

Хотя послефевральская гражданская жизнь быстро сошла на нет, она стоит внимания, поскольку новая большевистская власть успела сложиться еще на ее поле. Политическое действо 1917 года с самого начала было

революционным. Тем не менее на первых порах в новую управляющую элиту (точнее, в группу правительственных, советских и прочих элит) более или менее вписались почти все интеллигентские течения. Только через несколько месяцев политическая сфера начала быстро сужаться, выталкивая из своих пределов все новые сектора гражданского общества.

Интеллигенция как целое была достаточно революционна, чтобы начать переворот, но слишком привязана к либеральным ценностям, чтобы его продолжать. Отражением этих черт стало Временное правительство, весьма левое по целям и одновременно либеральное по стилю. Оно не могло приспособиться к условиям социальной войны. На попроще революционной политической жизни остались лишь те отряды интеллигенции, которые хотели и умели решать проблемы силовыми способами. Главными из них были большевики и левые эсеры. Остальные слои гражданского общества или совсем отошли от политики, или попали в контрреволюционный лагерь. Там они сыграли роль представительного фасада авторитарной военной власти, а затем вместе с ее остатками были изгнаны за рубеж.

С середины 1918 года небольшевистское гражданское общество исчезло. Недолгая, но замечательная история русской интеллигенции окончилась. Правда, внутри победившей партии в особых формах продолжалась политическая жизнь, и она сама какое-то время еще выступала как носитель интеллигентских ценностей.

Пока в верхних эшелонах шла борьба, массы своими способами прокладывали путь новому режиму. Сначала народный гнев и жажда справедливости нашли выход в сокрушении общественных структур и земельных разделах. Попытки Временного правительства (впрочем, достаточно благоразумные) взять события под контроль остались без последствий. Когда страсти частично насытились, а социальный распад зашел достаточно далеко, народ обрел готовность вновь подчиниться государству, но государству отнюдь не либеральному.

Надо сказать, что он и при старом режиме невысоко ставил представительные институты. Они казались ему лишь приложением к «настоящей» царской власти. Большинство людей мало ценило собственную санкцию на управление и внутренне желало увидеть наверху не ограниченное гражданское руководство, но с их точки зрения естественную, необъятную власть, воздвигнутую собственной святой силой. Новому государству предстояло стать твердым и суровым, открыто показывающим свое могущество изнутри и снаружи.

Помимо этого духовного мандата, свою роль до поры играл и политический. При всей слабости низового социально-гражданского сознания в народных симпатиях просматривался отчетливый водораздел между революционным

и контрреволюционным лагерями. Первый поддерживали участники переделов, второй — слои, ставшие их объектами. Младшие либеральные партнеры белой элиты пытались внедрить в нее дух компромисса. Все же многие белые явно тяготели к гражданской мести. Не стремясь на деле к согласию (а это согласие было возможно только на почве признания переделом) они были такими же носителями социальной непримиримости, как и их противники, и тем самым практически всегда оставались движением меньшинства.

Народные массы по преимуществу поддерживали красных. Трудно сказать, где здесь кончался обдуманый политический выбор и начинались архаический праведный гнев или просто житейский страх перед местью ограбленных богачей. По крайней мере, во время борьбы между революционными партиями духовные симпатии явно взяли верх над политическими.

Выразителями социальных интересов крестьянского большинства были правые и левые эсеры. Достаточно быстрое их поражение указывает на то, что собственный политический мандат не был для масс первостепенной ценностью. Решающим оказался духовный мандат, данный большевикам. Выбор тогда был свободным. Подчинились не столько физическому принуждению (для которого у большевиков на первых порах не доставало возможностей), сколько духовной силе и готовности властвовать.

Бедные и отчасти средние крестьяне отказались от собственных социальных защитников и удовлетворились тем, что большевистская власть санкционировала и освятила их земельные захваты (если можно так выразиться, взяла «грех» на себя). Тем самым новый режим стал моральным обладателем земли (кстати, и юридическим тоже) и получил у новых владельцев духовное согласие эту землю у них отнять, когда сложится благоприятная обстановка.

Если в деревне рассчитывали лишь на некоторое духовное сближение, то в городах большевики имели сильные социальные опорные группы. Самые прочные связи были у них с промышленными рабочими. Хотя духовный и политический мандаты здесь совпадали, для этого слоя первый тоже оказался сильнее и, главное, долговечнее второго.

Где родился, там и пригодился.

Большевики. Партийная миссия. Подпольщики. До 1919.

Большевистская партия стала верховным источником власти, морали и авторитета. Нередко ее прошлое меряют позднейшей мерой и представляют дореволюционных большевиков как некую централизованную государствен-

ную силу, пускай и лишённую до поры до времени своего государства. Такой подход не даёт понять события и вдобавок обесценивает напряжённые духовные поиски, в которых бывшие бунтари обрели умение быть служилыми людьми.

Хотя истоки партии уходят в прошлый век, идеология и состав её активного ядра более или менее определились только к концу 1918 года. Можно сказать, что сама революционная обстановка создала подходящую для неё общественную элиту.

В Феврале, когда левые партии вышли из подполья и полуподполья, большевиков — сторонников В. И. Ленина было, видимо, тысяч десять-пятнадцать. Вскоре с ними соединились несколько близких по происхождению групп, самую крупную из которых возглавил Л. Д. Троцкий. «Подпольщики» потом долго оставались самым чтимым партийным слоем.

Это собрание смелых неудачников, социальных и национальных аутсайдеров, как никакое другое интеллигентское течение, было готово к диалогу с массами. В большинстве они были тогда молодыми людьми лет тридцати с ограниченным личным опытом и довольно четко выраженными антисоциальными наклонностями. Гонения воспитали интимную сплочённость и психологию боевого отряда, идущего по враждебному краю. При этом дофевральские большевики имели все внешние признаки российской левой партии, мало отличаясь от других по своей организации, способам принятия решений и этическим правилам. Они пока исповедовали главные интеллигентские ценности, хотя в либеральный индивидуализм верили слабее всех. Понятно, что в сильных, тяготеющих к нравственности натурах деструктивный антисоциальный дух всегда уравновешивается миростроительным фанатизмом. Подобные настроения, присущие не только российским левым, но и либералам, у большевиков были развиты в особенно высокой степени. Идея партийной миссии, ведущей к строительству земного рая, вносили в их сознание значительный религиозный компонент. Сходство религиозных чувств направляло народные массы к большевикам, хотя их общественные идеалы по внешности отличались друг от друга.

Впрочем, к Февралю большевики ещё не составили партию нового типа, они только могли ею стать. Их сила, выросшая из антисоциального прагматизма, проявилась именно в способности к перестройке, в умении для пользы дела изменить собственную политику и отбросить принципы, которые другим партиям казались не подлежащими пересмотру.

Двойственное отношение ко многим общественным целям и нормам в обстановке социального кризиса часто само по себе было плюсом, поскольку сходилось с народным к ним подходом и помогало с более или менее

одинаковой искренностью сначала следовать объявленным путем, а потом менять его на противоположный. Демократическая агитация до Октября и свертывание демократии после него; сначала ломка старого бюрократического аппарата, потом создание нового, еще более обширного — в этом было меньше сознательного цинизма, чем иногда думают, и гораздо больше умения честно менять свои взгляды, изначально не очень твердые.

Сама по себе партийная монополия не была заготовлена заранее. Перед Октябрем и сразу после него видные большевистские лидеры (Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков и др.) выступали за совместные действия и совместное управление со всеми остальными социалистическими партиями. Противоположное мнение взяло верх не просто потому, что его отстаивали более влиятельные вожди — В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Скорее наоборот, авторитет последних укреплялся, поскольку проводимый ими курс со временем все больше себя оправдывал. Их оппоненты быстро убедились в этом. Поскольку мотивы удержания власти явно выходили на первый план, большевики затем осознали и провели необходимые для этого меры: ликвидировали сначала либеральные порядки, а потом и собственных эсеровских партнеров.

Особенно важные изменения в партийной идеологии случились во время борьбы вокруг Брестского мира. Раньше внимание было направлено на ломку старых порядков. Собственную революцию большевики рассматривали как первый акт мировой и буквально со дня на день ждали продолжения. Поэтому ортодоксальные партийцы противились заключению мира с немцами. Это как бы случайно совпадало с патриотическими стремлениями почти всех меньшевистских сил. Однако прагматические лидеры настояли на капитуляции. Они тоже ждали мировую революцию, но, видимо, догадывались, что война потребует национального единства, затормозит революционный процесс в России и при любом исходе ослабит большевиков. С этого времени расчеты на всемирную революционную власть навсегда отошли на второй план.

Для большевиков Брестский мир стал судьбоносным. Главная ставка была сделана теперь на Россию. Продолжая революцию, можно было начать и государственное строительство в приемлемых для народа формах. «Антипатриотический» мир заключила партия, больше всех удаленная от прежней официальной нормы, через которую даже левые эсеры не сумели переступить. Тем самым была окончательно порвана внешняя связь между старой и новой властью, что облегчило создание революционного режима на самостоятельной и поэтому глубоко архаической основе.

Пока все это происходило, состав большевистской партии быстро менялся. Между Февралем и Октябрем она выросла во много раз. Среди коммунистов семнадцатого года были выходцы из других партий, но основную массу

составили новые люди с неразвитым политическим сознанием. В следующем году большевиками стали многие члены побежденных левых партий и большое число молодых активных солдат, рабочих и разночинцев. Те и другие присоединились к победителям, предполагая отличиться на службе у нового государства. Сначала большевики в видах собственного упрочения брали к себе всех желающих, но скоро прием в партию был уменьшен, а выход новых людей на верхние этажи партийной власти прекратился почти полностью.

Примерно к концу 1918 года образовалась партийная элита из нескольких десятков тысяч человек. Для простоты будем дальше называть этот слой подпольщиками, хотя в самом деле он содержал много коммунистов 1917 и 1918 годов. Стабильность его поддерживалась довольно долго — вплоть до чисток середины тридцатых годов. На первых порах единство слоя было относительным. Процессы консолидации вполне взяли верх только через несколько лет, когда спайка, унаследованная от подпольных времен перешла в чувство кастовой солидарности. Но и в ранние годы размежевание элиты было в основном функциональным, а разнородность происхождения не очень сильно давала себя знать. Выраженные национальные фракции тогда не оформились. Некоторый дух этнического сплочения выказывали только латыши — третья по величине (после собственно русских и евреев) национальная группа в элите. Он объяснялся, видимо, сравнительно поздним приходом в партию большинства из них. Конфликты между элитными «рабочими» и «интеллигентами» к 1922 году сошли на нет.

Установки партийной элиты были двойственны. С одной стороны, она стала теперь чиновной верхушкой, и в ее психологии необратимо укоренилось служилое начало. Для новых коммунистов это было свойственно в большей, для старых — в несколько меньшей степени. С другой стороны, именно внутри элиты (а не среди партии в целом) сохранялась политическая жизнь. Здесь пока были в ходу политические методы принятия решений, открытые дискуссии и прочие навыки, выработанные во времена многопартийности.

Связанные революционным прошлым подпольщики отчетливо ощущали дистанцию между собой и в десятки раз более многочисленными новыми партийцами. Усиливалась их склонность к самоизоляции. Благодаря своей сплоченности и расположению на верхних этажах власти этот слой надолго приобрел исключительное влияние в государстве. А эволюция элиты, после того, как активность масс пошла на убыль, стала, пожалуй, главным фактором общественного развития.

Долго быть сразу служилыми и политическими людьми нельзя. Формулы трансформации политического мышления нашли позднее, но первые шаги

сделали уже тогда — решительно ограничив допуск в элитную среду. По мысли подпольщиков эта мера оберегала партийную миссию от «карьеризма» новых людей. Одновременно такая практика, замыкая идеологию в избранном кругу, охраняла его власть от конкуренции и открывала дорогу для превращения политической идеи в религиозную.

Что с бою взято, то свято.

Государственное строительство: гражданская власть, партийная власть, идеология. Вожди. Аппаратчики. Спецы. 1919-1920 и позднее.

Институты новой власти не появились в готовом виде. Они росли постепенно, по ходу работы в трех главных областях действия режима — в управлении государством, управлении партией и в интегрирующей партию и народ идеологической сфере.

Перспективную модель управления разработал Г. Е. Зиновьев — харизматический правитель Северо-Западного края. С 1918 года здесь шла довольно быстрая эволюция элитных структур. Зиновьев сразу взял в руки все основные виды власти, и поэтому неустойчивость их иерархии не отражалась на его положении. Как ближайший сподвижник В. И. Ленина, крупный идеолог и почти неограниченный региональный властитель, он получил яркий ореол в глазах местных партийцев и рядовых жителей.

Крепкой опорой Зиновьеву стал аппарат партийных функционеров, который он заботливо комплектовал из своих приверженцев. Политическая жизнь здесь быстро замерла и не оживлялась до 1925 года (за исключением недолговременных дискуссий после Кронштадтского восстания). Остаточная гражданская активность принимала формы направленного вовне петроградского патриотизма, а также левых, антисобственнических настроений.

Автономия края и централизация власти в нем настолько бросались в глаза, что его называли удельным княжеством. Здесь впервые осуществился способ правления, позднее установленный во всей стране, а именно: союз харизматического вождя с подчиненным ему, но отчасти автономным партийным аппаратом. Столь характерные для Петрограда левые чувства вскоре стали культивироваться повсеместно. Очень перспективной оказалась и патриотическая эволюция идеологии, тоже проведенная затем на государственном уровне.

Общество в целом не могло так же быстро, как Петроград, прийти к этой модели. Сам масштаб задач, сложность внутрипартийной обстановки и

личные склонности лидеров сделали путь к ней более длинным и извилистым. В 1919-1920 годах вообще казалось, что режим развивается в другом направлении.

Размежевание партийцев по государственным и партийным учреждениям началось сразу после Октября. С этих пор и стал актуальным вопрос об относительной роли тех и других. До революции подобная проблема не возникала. Высшими большевистскими лидерами тогда становились главным образом идеологи, которые, конечно, совмещали теоретические занятия с организационной работой.

После большевистской победы идеологический центр как сильный автономный институт не возник. В этом не было случайности. Революционная идеология в силу ярко выраженного посястороннего характера тесно соприкасалась с действительностью и поэтому постоянно привлекалась для обслуживания нужд практической политики. Ее авторитет и самостоятельность, конечно, терпели известный ущерб. На структурном уровне это проявлялось в подчинении идеологических учреждений организационным.

Не менее важна здесь и традиция. Духовная власть в России никогда не была независимой. Она всегда обслуживала власть светскую, занимая при ней почетное место младшего партнера.

Действие этого принципа хорошо прослеживается на примере Н. И. Бухарина — самого яркого из «чистых» идеологов. В 1918 году он был лидером левых коммунистов и мог претендовать на место главы правительства. Но прошло три года, и самостоятельные выступления Бухарина в дискуссии о профсоюзах оказались малоуспешными. Ему пришлось тогда объединиться с наркомвоенном Троцким и потерпеть неудачу уже под его началом. В 1923-1924 годах Бухарин, руководимый партийными организаторами Зиновьевым и Сталиным, успешно боролся с Троцким. В 1925-1927 годах под эгидой Сталина он идеологически обеспечивал разгром зиновьевской и Объединенной оппозиций. И, наконец, выступление против Сталина во главе «правого уклона» в 1928-1929 годах закончилось для Бухарина полной неудачей.

Реальное влияние поделили между собой организационные учреждения в государственной и внутрипартийной сферах. Отделение одним от других диктовалось нуждами партийной монополии. В системе представительной власти государственный аппарат подчиняется выборным политикам. Они же обычно контролируют и аппарат собственных партий. Партийные организаторы держатся в тени и охотно занимают те или иные посты на государственной службе. При новом режиме партия не хотела целиком раствориться в сфере государственного управления, требующей особой подготовки и обильно засоренной старыми знающими людьми («спецами»). Кроме того, административ-

ная служба по самому характеру своей работы была склонна к прагматическим решениям и не могла хорошо отстаивать партийные ценности. Не имея возможности и желания стать на место госаппарата, значительная доля элиты конституировалась в обособленные партийные институты — в партаппарат.

В системе государственной власти, на почве, очищенной от старых учреждений, революционные структуры росли быстро, свободно и довольно независимо друг от друга. Вскоре стали заметны автономистские поползновения различных партийных слоев: армейских, хозяйственных, советских, карательных, профсоюзных. В этих условиях партийный аппарат олицетворял интегрирующую тенденцию. Его будущее зависело от того, какие устремления — центробежные или центростремительные — возьмут верх в партийной элите.

Иерархия партийных и советских органов на местах определилась довольно быстро. После Октября представительное начало в Советах постепенно сошло на нет. Исполнительная власть была теперь связана с управляемыми куда слабее, чем прежде. Но зато она гораздо больше зависела от организаторов правящей партии. Поэтому наверху встал местный партийный аппарат, ниже — подчиненный ему и тоже партийный Совет. Власть партии становилась многослойной. Высшая (аппаратная) власть назначала, а при необходимости сменяла и наказывала низшую (исполнительную), возложив на нее вину за те или иные практические неудачи. По новой схеме ответственности мандат на исполнительное правление выдавался не народом, а аппаратной властью. Народ передал ей свой суверенитет и предоставил духовное право отождествить свои цели с народными. Тем самым аппарат приобрел очень полезную для себя священную окраску. При этом не в его интересах было формально предопределять масштабы и характер собственного вмешательства в дела подчиненных институтов.

Среди подпольщиков были и сторонники другого подхода. Они предлагали четко разграничить задачи партийных и государственных органов, что на практике привело бы к росту влияния последних. Это течение (которое позднее называлось группой Демократического централизма) фактически выступало за ответственность государственной власти перед партийной массой, а не перед элитой, представляемой аппаратом. Децисты (Т. В. Сапронов, В. В. Осинский, В. М. Смирнов, В. Н. Максимовский), хотя и не ставили под вопрос партийную монополию, но внутри самой партии хотели сохранить политическое сознание и нормальную политическую жизнь. В этих рамках они отстаивали выборное начало (в том числе выборность чинов партаппара-

та), соблюдение коллективных процедур принятия решений, внутривнутрипартийное пайковое равенство и т. п.

Их влияние вначале было заметно. Т. В. Сапронов, например, занимал пост председателя Моссовета. (Кстати, московская партийная организация в том, что касается дискуссионного духа и вообще политической активности, была до начала двадцатых годов своеобразным антиподом петроградской. Так продолжалось, пока ее не возглавил Н. А. Угланов — постоянный оппонент и ученик Г. Е. Зиновьева.) Понемногу децистов вытеснили из руководящей сферы, а в 1921 году группа была распущена. Правда, ее осколок во главе со Смирновым и Сапроновым еще несколько лет продолжал безуспешную деятельность на партийной периферии.

Концепция демократических централистов — это идея диалога партийных верхов с низами, идея, основанная на вере в политическую конкурентоспособность элиты. В конечном счете подпольщики прекратили такой диалог. На внутривнутрипартийном уровне повторилась борьба политических течений 1917 года, и опять победил дух монополизма. Чтобы не делиться властью с партийными низами, элита практически отказалась от выборности и в государственных органах, и в партийных. На всех уровнях переходили к назначению чиновников сверху. Партия начала перестраивать себя в многослойную иерархию, консолидированную вокруг партийного аппарата. На место политической этики приходила религиозная.

Причина здесь не в чьих-либо субъективных ошибках или, наоборот, прозорливости. Верный социальный инстинкт подсказывал верхам, что бескомпромиссный дух партийной массы можно обуздать только бескомпромиссными мерами. С неизбежными издержками приходилось мириться.

Свернув партийную политическую жизнь, элита отказалась и от собственного политического самоопределения. Свою судьбу она препоручила группе высших руководителей, видя в них гарантов иерархического статус кво. Так что дальнейшая политическая борьба протекала в основном среди немногочисленных тогда членов Центрального Комитета. Влияние элиты проявлялось в поддержке тех из них, кто лучше других отстаивал ее цели и интересы.

Сначала наибольшую власть получили руководители государственной сферы, в первую очередь, В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Эти вожди, одновременно бывшие идеологами, благодаря прямым связям с партийными низами и народными массами, снискали себе яркий ореол. Ореол, как знак народной духовной санкции, делал их национальными лидерами.

В России ореол (харизма) — как правило, следствие личной власти, а не наоборот. Когда лидера отстраняют от руководства, его харизма быстро тускнеет. Наделяя отдельных лиц ореолом, народ и партийные массы оказыва-

ли сильнейшее влияние на эволюцию власти, не менее важное, чем внутренние процессы в элите. Среди самих же подпольщиков харизматические настроения встречали тогда настороженность. Ленин с большим тактом пользовался своим ореолом. Троцкий, напротив, пытался опереться на него в борьбе за власть, чем и вредил себе во мнении партийных верхов.

Потребности управления часто толкали вождей на прагматические меры, которые, упрочивая режим, одновременно задевали коллективные интересы партийной элиты и партийную идеологию. Наметилось известное противостояние, исход которого отнюдь не был предрешен. Поведение подпольщиков могло быть самым различным — от попыток демократическими способами взять вождей под контроль до принятия религиозной веры в их безошибочность. Поскольку от первых уже отказались, а для второй время еще не пришло, была взята своеобразная промежуточная линия. Ее выявила полемика вокруг роли спецов, коллегиальности и единоличия.

Спецы действительно представляли серьезную проблему. Чтобы привести в действие государственный механизм, пришлось убедить или принудить сотни тысяч чуждых новому режиму людей почти к нему на службу. Оказалось, что значительная (если не большая) часть служилой верхушки не входит в партийную элиту, ни даже в партию. Подпольщики были этим встревожены.

Первым открытым актом борьбы стала Военная оппозиция начала 1919 года. В армии использование военспецов (бывших царских офицеров) было весьма широко — в среднем и высшем комсоставе их оказалось больше половины. Оппозиционеры требовали отменить единоначалие для командиров-военспецов, усилить институт военных комиссаров и т. п. Предложения клонились к тому, чтобы гарантировать для партийцев основные посты в армии и ограничить власть верховного военного руководства, возглавляемого Л. Д. Троцким. Благодаря активным действиям В. И. Ленина оппозиция потерпела неудачу, а Красная Армия избежала разгрома в решающей кампании 1919 года.

Еще больший отпор вожди встретили в следующем году, когда начали внедрять единоличие в гражданской сфере. Подпольщики более или менее мирились с принципом назначенства, зато коллегиальность решений отстаивали не только оппозиционеры-децисты, но и такие лояльные иерархи, как А. И. Рыков и М. П. Томский. Групповое (вместе со спецами) руководство хозяйственными и советскими органами сохраняло подпольщикам высокий социальный статус, а переход к единоличию (когда хозяйственным единоначальником становился спец) подрывал его. Против использования спецов как таковых в то время уже никто не возражал. Главной задачей подпольщиков

в отношениях с ними было не допускать превращения спецов в параллельную элиту. И эта задача была решена более чем успешно.

Из-за решительного разрыва между старым и новым режимом сам факт взятия спеца на службу обозначал его полное моральное разоружение. Поэтому, несмотря на многочисленность спецов, социальные связи между ними не получили развития, и они не стали действующей группой. Некоторые из них были приняты в партию, а очень небольшое число даже вошло в ее элиту. Но в массе они навсегда остались мишенями для неприязни, упреков и наказаний.

Более того. С тех пор повелось, что часть служилых людей должна быть своего рода объектом приложения социальной активности остальных. Со временем эстафету от спецов приняли оппозиционеры из числа подпольщиков, потом подпольщики в целом, позднее — чиновники-евреи и т. д. Это сохраняло в служилом аппарате атмосферу гражданской борьбы.

Возвращаясь к обсуждаемому времени, заключим, что подпольщики не чувствовали себя достаточно твердо и нуждались в силе, которой могли бы доверить свою судьбу. Их взоры все чаще обращались к руководству партийного аппарата. По мере общей централизации власти его роль и влияние росли.

Обладая очевидной силой, не все аппаратные лидеры вызывали доверие к себе. Те из них, которые оставались исполнителями указаний государственных вождей, были непопулярны. Лучший пример здесь — Н. Н. Крестинский, секретарь ЦК в 1919-1921 годах. Зато занявшие самостоятельную позицию уверенно шли к успеху. Возглавляемый ими партаппарат, не связанный утилитарными государственными соображениями, в глазах подпольщиков мог выглядеть естественным защитником и выразителем их устремлений.

Представителем этой линии был И. В. Сталин. Придерживаясь ее по крайней мере с 1919 года, он осторожно сотрудничал со всеми радетелями партийных интересов, например, с Военной оппозицией и позднее даже с сапроновцами на Украине. Истоки сталинского авторитета восходят именно к этому времени.

Государственное руководство со своей стороны заботилось об удержании аппарата в руках. Первым Генеральным секретарем партии (не нося этого титула) был Я. М. Свердлов. Он почти единолично руководил организационной работой в 1918-1919 годах. Будучи уверен в безоговорочной лояльности Свердлова, Ленин не препятствовал росту его влияния, которое уже начинало будить беспокойство в элитных кругах. Трудно сказать, смог бы Свердлов и дальше сохранять контроль над партийным Секретариатом. Если бы это случилось, он стал бы довольно очевидным фаворитом в последующей борьбе за власть.

Весной 1919 года Свердлов умер. К тому времени Ленин уже не считал возможным предоставить одному человеку столь влиятельный, как оказалось, пост. Свердлов был заменен целым коллективом работников — коллегиальными Оргбюро и Секретариатом. Руководителями там стали не близкие друг другу члены Политбюро Сталин и Крестинский.

Готово, да бестолково.

Государственное строительство: милитаризация. 1919-1920.

В конце 1919— первой половине 1920 года росла харизматическая власть государственных лидеров. При этом менялось соотношение сил между вождами. Л. Д. Троцкий, чей ореол заметно упрочился после побед над войсками А. И. Деникина и А. В. Колчака, хотел закрепить за собой роль соправителя и преемника В. И. Ленина. Казалось, что война кончается, и пора решать, как устроить государство в мирное время. Суммируя опыт советского, хозяйственного и особенно военного строительства, оба лидера выдвинули программу так называемой милитаризации и единоличного руководства. Весной 1920 года ее принял к исполнению IX партийный съезд.

Объявленной целью новой системы было восстановление экономики. Партийную идеологию потеснил дух административного прагматизма, если, конечно, считать прагматическим актом игнорирование социальных и духовных связей между людьми. Интерес к внешнему действию (мировой революции) снижался. Новой социальной перестройки не планировали. Частное крестьянское хозяйство сохранялось. Промышленности и транспорту придавали структуру военной организации, построенной на принудительном труде мобилизованных работников. На всех почти уровнях вводили единоначалие. Роль коллективных партийных и исполнительных органов ограничивалась как в принятии решений, так и при назначениях на должности. Рядовой исполнитель ставился в жесткие, даже суровые условия. Стимулами к повиновению и труду были наказания и поощрения, определяемые сверху. Принцип личного интереса теперь признавали и во многих областях отказались от уравнительного коммунистического распределения. Стремясь повысить крестьянскую производительность, Троцкий в феврале 1920 года даже предложил заменить продразверстку налогом. Этот проект, отчасти предвосхищавший нэп, был отклонен.

Система милитаризации (не очень точно названная потом системой военного коммунизма) была задумана как набор административных и эконо-

мических мероприятий, призванных обеспечить материальный подъем под руководством центральной власти, при ослаблении самостоятельности партийных структур и уменьшении роли партийной идеологии. Эта система оказалась неприемлемой для народа, поскольку при проведении ее в жизнь на первый план вышли методы принуждения.

Что касается подпольщиков, то их прохладное отношение к единоличию уже отмечалось. К этому надо прибавить следующее. Стихийный рост новых структур власти, при том, что они пытались регулировать все сферы жизни, дал весьма запутанную и прихотливую ведомственную систему. Многообразные переплетенные между собой вертикальные служебные оси сходились к тоже довольно многочисленным верховным органам государственного и партийного управления (Совнаркому, Совету обороны, Реввоенсовету, ЦК РКП(б), Политбюро, Оргбюро и т. д.). Масса не всегда компетентных подпольщиков могла удерживаться на верхних этажах правящих структур только благодаря их избытию и неопределенной ответственности. Такой порядок сохранял в элите лояльное отношение к высшему руководству. Для последнего многоведомственность была полезна также и потому, что позволяла маневрировать между учреждениями, не давая слишком усилиться ни одному из них. Подобными достоинствами пришлось пренебречь лишь тогда, когда развитие бюрократической системы создало в стране угрозу хаоса и паралича власти.

Чтобы стать успешной, административная реформа должна была дать верховным правителям крепкие рычаги управления и в то же время обеспечить привязанность к ним привилегированных групп. Эту вторую задачу милитаризация явно не решала. Гарантии высокого положения, вытекавшие из принадлежности к партийной элите, теперь ослаблялись системой назначения. Вероятно, чины военного ведомства, начальник которого был главным осуществителем милитаризации, воспринимали ее с большей теплотой, чем другие. Но и для них, как для слоя, высокий статус не предопределялся.

Что касается спецов, то их консолидация в группу поддержки была исключена тогдашней обстановкой, да и самой сутью новой системы. Переделанный административный аппарат должен был состоять из назначенных сверху и персонально не связанных друг с другом лидеров. В глазах подпольщиков ореол В. И. Ленина, не говоря уже о Л. Д. Троцком, был для этого недостаточно ярким.

Кстати, «милитаризация» не стала милитаризацией в точном смысле этого слова. Военные структуры держатся не только на принуждении и наградах за работу. Их устойчивость невозможна без кастовой спайки верхов, без военной этики, без системы званий, гарантирующей человеку стабильное положение

в иерархии. Подпольщики уже созрели для того, чтобы стать служилым сословием. Перед лицом вызова со стороны государственной власти в них росла готовность к истинной милитаризации. Оставалось найти силу, способную ее провести.

(Продолжение следует.)

ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий ПРИГОВ

Художник. Новая роль в новом искусстве

ВНЛ. Пять лет назад, давая интервью журналу «А — Я», Вы рассуждали о поэтике концептуализма и пришли к очень интересным соображениям по поводу позы, положения поэта, художника в современном обществе. Насколько изменилось за это время Ваше представление о роли художника и изменилось ли оно?

Д. П. То интервью, во всяком случае описание феномена Артист — Художник, было посвящено вполне сложившемуся феномену уже на грани его излета, то есть это уже был взгляд из несколько другой ситуации в предыдущую — в героическую пору не концептуализма, а, я бы сказал, общекультурного сознания, характерного для феномена третьего возраста, третьего периода авангардного искусства и типа авангардного художника. Тогда уже были ясны некоторые процессы завершения роли этого имиджа, этого культурного менталитета, и сейчас ясно, что тип авангардного художника (и вообще авангардное искусство как артикулирующее основные проблемы культуры нашего времени) завершен. На смену пришли некие переходные модификации общего концептуального сознания, такие как трансавангард, постмодерн. Но, очевидно, они являются промежуточными моделями существования искусства. Что за новый тип искусства и новый тип художника возникнет — не берусь судить. Представляется, что решение приходит всегда на каком-то другом уровне, нежели можно представить, исходя из текущего процесса. То есть я полагаю, что если в пределах концептуального сознания художественные стили и позы были персонажами некоего автора, режиссера, то теперь сам тип художественного творчества станет персонажем в некоем другом виде деятельности, где он, этот тип художественного творчества, будет сопоставлен с другими типами деятельности, осмысленными как эстетическая деятельность. Предполагаю, что это будет уже не в буквальном смысле художественная деятельность (хотя сейчас достаточно распространен тип художника, который делает не картины, даже не художественный объект, не результат, а уже ситуации, в которых он работает как бы указующими жестами) — а новый тип не художника, но деятеля. Этот тип, я полагаю,

будет неким медиатором, регулятором в очень широкой зоне культурного проявления человека как такового.

ВНЛ. Так или иначе, разные эпохи вырабатывали разные критерии искусства. В одни эпохи решается вопрос: искусство это или не искусство, другие эпохи спрашивают: истинно или ложно то, что он совершает. Как Вы считаете, какой критерий выберет искусство «постперестроечного» времени для оценки того, что делает художник?

Д. П. Здесь разговор не столько о критериях, сколько о некой драматургии развития каждого периода искусства. Очевидно, истинно-ложно — это основная оппозиция искусства несекулярного, и если не религиозного, то во всяком случае, искусства геральдического, где можно было сказать, истинно отражена суть или не истинно. Проблема прекрасно-безобразно — это уже искусство романтическое, когда художник стремился расширить границы прекрасного, сведя в результате все, что ни есть на белом свете, в единицу артикулирующую. Культура все время как бы сопротивляется этому, но в результате она соглашается, и когда она заранее в любой деятельности художника-творца видит, что все, пройдя через него, становится прекрасным, то драматургия искусства исчезает, и на повестку дня становится проблема рождения нового типа как художника, так и искусства.

Я говорю только об одной из сторон, движущих развитие искусства, или, во всяком случае, если не развитие, то некую драматургию его расцвета и умирания. И когда в конце XIX — начале XX веков определилось, что все прекрасно, драматургия как бы исчерпала себя, возник тип авангардного искусства и авангардного художника. Основной оппозицией этого искусства была: искусство — не искусство, то есть основная задача каждого следующего поколения художников или даже каждого следующего художника — была опять захватить некую зону «неискусства», чтобы явить вообще сам феномен искусства — делать искусством все, что попадает в зону внимания художника. И до наших дней основная борьба между культурой и живым искусством была в том, что каждый раз искусство являло некие новые зоны действительности, которыми оно овладевало, некие новые приемы, некие новые художественные позы, объявляя, что это тоже искусство. Культура поначалу говорила, что это не искусство, но потом, когда культура согласилась, что все, что художник ни представляет в маркированные зоны выставочного зала, печатной страницы, на эстраде — все это есть искусство, то этот жест художнического первооткрытия иссяк, потому что все, что ни брал художник, все, что он ни являл перед взором культуры, оказывалось искусством, и культура не сопротивлялась, то есть драматургия, двигавшая развитие авангардного искусства, была исчерпана. Очевидно, возникает некий новый культурный тип,

новый тип культуры. Какая драматургия будет для него движущей? Я думаю, что основное, что сейчас будет, это — самоидентификация художественной личности, то есть, когда ее деятельность будет настолько разбросана, что культура будет задавать вопрос: и это ты? Это будет некая промежуточная зона между каким-то проектанством, устройством каких-то сельскохозяйственных выставок. Это будет человек, который станет имитировать художественную деятельность некой квазипрактической деятельностью.

ВНЛ. Дмитрий Александрович, согласитесь ли Вы с такого рода соображением: русский концептуализм еще в доперестроечное время вступил в своеобразную фазу кризиса, который так или иначе определялся исчерпанностью его метода как двигателя искусства, и в то же самое время процессы, которые сейчас принято называть перестроечными, явно ускорили это продвижение от кризисного состояния к трудно реанимируемому. Что Вы можете сказать о положении ведущих художников, поэтов, которые, вероятно, точно и полно выразили возможности концептуализма с одной стороны, и искусства с другой, в 70-80-е годы. Каково положение этих поэтов и художников сейчас, и каково их будущее?

Д. П. Это вполне традиционная схема, ситуация, когда некое новое течение культуры, возникнув, является неким мотором, очень интенсивным, в развитии культурного строительства: культурное строительство достигает апогея; естественно, полностью сложив некую суммированную порождающую систему, явив и артикулировав ее в самой культуре, дав возможность любому человеку, пользуясь ею, породить тексты (в любой сфере культурной деятельности). Конечно, эта стилистика культуры себя изживает: она выполнила свою функцию. Другое дело, что если брать субъектом эту культурную ситуацию, то несколько отлична субъектная жизнь самих художников. Мы знаем, что художники, которые открывают стиль, порождают его — на них до конца их деятельности лежит некая печать откровения, помимо культурной деятельности они касаются каких-то личных экзистенциальных, может быть даже метафизических истин, которые они артикулируют, и эта печать истины лежит на их деятельности в отличие от жизни самого стиля; если стиль может умирать, то деятельность истинных художников, которые действительно коснулись определенной тайны или какой-то сути,— она как их личное достояние продолжает жить вместе с ними. В этом отношении люди, полностью идентифицировавшие себя не с концептуализмом как таковым, а (я все-таки настаиваю на том, чтобы употреблять другой термин) с общеконцептуальным менталитетом (в него входил достаточно широкий круг явлений, концептуализмом не могущий быть описан) — кто себя идентифицировал со стилем определенным, тот продолжал работать, и в описанной мною схеме

они — вполне художники, поскольку это их истинный пост в этом мире, это их служение, которое совпало с определенной культурной ситуацией.

ВНЛ. Вы считаете, что эти художники не переживают сейчас личного кризиса?

Д. П. Это уже личная биография: кто-то переживает, кто-то не переживает. Кто-то чуть-чуть модифицирует стиль, а люди, работавшие на диалоге с культурной ситуацией, с контекстом, более чувствительны к изменениям, поскольку их оппонент, референт — культурная ситуация — чуть изменился. Я могу про себя сказать, что я, в общем-то, работал в тесном диалоге именно с контекстом. Но в данном случае у меня несколько другие стратегия и тактика поведения: я себе напоминаю летающую крылатую ракету, которая точно зависит от географии, рельефа, мейнстрима. В данном случае, когда меняется мейнстрим, то логично изменить, скажем, язык и прочее, но в этом отношении стратегема моя практически остается та же. Естественно, я могу менять героев, могу менять язык (жестко государственный на либеральный), но ясное дело, что конструкция моего отношения проглядывает, и я угадываю точно так же. Для меня, в общем, интересны все эти аспекты культуры и искусства, и я сам для себя — некий экспериментальный организм, на котором я, в некоем отдалении, оторвавшись от себя, могу проводить определенные эксперименты. И я это делаю. Описываемая мною модель искусства, конечно, как-то промоделирована и прочувствована внутри, и я пытаюсь даже делать некие определенные шаги, которые возможны в пределах моей устоявшейся конструкции и имиджа и вообще моей жизненной ситуации. Полностью, я думаю, вряд ли я могу уйти из заданного мне времени и уйти от своей миссии.

ВНЛ. Дмитрий Александрович, нет ли у Вас ощущения, что в 70-80-е годы именно русский художник, русский поэт опять, в очередной раз с одной стороны восприняв идеи своего искусства с Запада, выразил их, может быть, важнее и точнее, взяв на себя роль мирового поэта, и так или иначе в 70-80-е годы русское искусство, возможно, оказалось самым точным и самым глубоким по сравнению с развитием искусства на Западе; и согласитесь ли Вы с тем, что сейчас это положение изменилось: что сейчас русский художник теряет это свое положение «избранника богов», на него уже не указывает перст, он не освещен уже прожектором какого-то внутреннего и очень напряженного внимания.

Д. П. Если смотреть изнутри ситуации, из русской ситуации, то, возможно, ваше определение имеет смысл. Но если смотреть из западной ситуации, то русской советской культуры (не русской, а русской советской) там, в

западном менталитете, в западном культурном обиходе, практически не существует.

ВНЛ. Несмотря на всплеск интереса к современной живописи?

Д. П. Да. Во-первых, этот всплеск в процентном отношении мизерен. В Нью-Йорке, в Америке, тысячи галерей, и если из них три заинтересовались советскими художниками, то...

ВНЛ. ... для России это много, а для мира...

Д. П. ... для мировой культурной ситуации — это вообще ничего. Советское изобразительное искусство имеет шанс только в том случае, если тут разовьются свои культурно-рыночные структуры искусства (если принимать модель западного развития культуры), и эта культура породит определенную структуру художественной жизни и вольется в общую большую культуру Запада, на которой, в общем-то, конъюнктура весьма плавает: там то приобретают значение немецкие художники, то итальянские... Но, во-первых, это, конечно, значимо по сравнению с русским искусством, потому что, скажем, в немецкое искусство, прежде чем оно появилось на мировых рынках, были вложены миллионы долларов, без этого невозможно, это рынок, в общем-то... Возможно, из русского искусства в мировое искусство войдут единицы. Но если, скажем, в начале XIX века на сотню художников мировой элиты двадцать было из высочайшей элиты русской, это значимо. Но если сейчас на тысячи художников с мировым именем, в которых постоянно вкладывались деньги, которые интенсивно работают, есть несколько десятков советских художников, то это мало что значит. В этом отношении я не питаю никаких иллюзий. Другое дело, что за нами стоит образ огромного культурного региона, в котором надо очень точно, серьезно и осмысленно работать самим художникам. Дело в том, что попытки влиться в западную культурную жизнь всегда напоминали некий род странного болезненного состояния: мы как бы выделяем определенный пласт или слой людей для отживания западного культурного опыта, как некий нарыв, который, когда исполнял свою функцию — нарывал, то тело при всем при том, будучи огромным, сосредоточивалось на этом маленьком нарыве в момент его назревания. Он болел, но когда он исполнял свою функцию оттягивания заразных веществ, то его отрезали, и все начиналось заново.

Теперь, что касается литературы, словесности. Она, конечно, несколько в другом положении по причине того, что имманентные законы развития довлеют ей в гораздо большей степени, чем общемировые, в изобразительном искусстве. Русская культура до сей поры все-таки преимущественно вербальная, и весь монолит изобразительного искусства, музыкального и прочего все равно мыслит предпочтительно вербально, за исключением небольшого числа

ориентированных на Запад художников, как в музыке, так и в изобразительном искусстве. В этом отношении литература в России до сих пор играет преимущественное значение в культурном процессе. Но опять-таки, при переходе границы западной культуры мы обнаруживаем, что значение русской литературы там не может быть отыграно, потому что там уже нет площадки, которая может вместить, скажем, столь огромный хор действующих лиц. Она их впускает, но она их по-другому истолковывает. Западная культура, скажем, может впустить к себе Солженицына, но уже в качестве некой общественной фигуры: он не может быть литературно-общественной фигурой, он — общественно-литературная фигура. Поэтому, говоря о концептуализме или об общеконцептуальном сознании, надо сказать, что в нашей культуре, при нашей заостренности на проблеме количества людей, работающих в этой стилистике, значимость этого культурного сознания в общекультурном и литературном движении на данный момент весьма ограничена. И поскольку это сознание уже прошло свой героический пик, а люди только подключаются, я думаю, что они скорее перескочат в другую культурную ситуацию, не имея опыта концептуального, что, собственно, и происходит, как мне представляется, в Ленинграде, где не было опыта концептуального сознания. Здесь ситуация такова: молодежное движение занимается постмодерновой стилистикой, как бы прыгнув (как африканские страны) из феодального и первобытного строя сразу в социализм. Правда, на этом перескоке порождаются замечательные кентаврические стили и личности, но все-таки, как мне представляется, нынешнее культурное развитие не терпит такого рода способов развития. Если раньше стили доминировали в пределах многих лет и человек мог получить эстетическое образование, вобрав в себя все эти принципы культурного менталитета даже через побочные дошедшие до него сведения — через родителей, газеты, журналы, то сейчас художник не может впитать в себя законы культурного поведения через иные средства, нежели через саму культуру, и серьезно и интенсивно занимаясь этим. Поэтому эти пробелы невосполнимы, и имманентное развитие внутри культуры начинает доминировать над внешними законами и связями.

Михаил БЕРГ

«Вторая культура»: прошлое и настоящее

ВНЛ. Расскажите о происхождении «второй культуры», ее истоках.

М. Б. По поводу того, что такое ВК, и есть ли она вообще, в застойные годы бытовал афоризм: «Как осетрина не бывает второй свежести — она либо свежая, либо тухлая, так и никакой «второй» культуры быть не может, культура либо есть, либо ее нет». В любом случае (вне зависимости от того, где живет русский писатель, в Москве или в Париже, печатается ли он в официальных журналах или в самиздате) многие полагают (и полагали), что русская культура советского периода едина. По существу мы сталкиваемся с парадоксом. С одной стороны, ВК — это реальность, с другой, даже те поэты и писатели, которых относят к ВК, протестуют против такого причисления. По-моему, суть в неточной терминологии. ВК — это, конечно, не отдельная «культура», а социо-культурное пространство, которое начало складываться, по сути дела, с первых лет советской власти, но окончательно сформировалось к концу 60-х годов, когда впервые и возник этот термин.

Причин возникновения этого социо-культурного пространства две: собственно культурная и социальная. С одной стороны, давление невероятной строгой цензуры, которая, начиная с конца 20-х годов, вытесняла из нормального культурного обихода талантливых писателей и их произведения, не укладывавшиеся в прокрустово ложе метода «соцреализма», с другой стороны, существование феномена «двойной» жизни, «двойного» бытия, когда некоторые люди, понимая, что иначе им просто не выжить, отдавали кесарю (то есть — обществу) — кесарево, иначе говоря, внешне старались не отличаться от образа «благонамеренного» советского человека, в то же время удовлетворяя свои духовные потребности чтением тех произведений, которые были запрещены, а впоследствии даже не предлагались для публикации (из-за явной бессмысленности и опасности выявления себя), в своем кругу эти люди предпочитали общаться на своем, «человеческом», языке.

В 20-х и 30-х годах общество оттолкнуло от себя Платонова, Булгакова, Мандельштама, Зощенко, обэриутов, не говоря уже о тех, кто писал в эмиграции: Бунина, Цветаеву, Ходасевича, Зайцева, Набокова и многих других. Их произведения ушли «в стол», в подполье; общество их не знало, либо делало вид, что не знает; но эти произведения, накапливаясь, не лежали

мертвым грузом, а читались. Читались в узких кругах авторов или хранителей рукописей (их ближайшего доверенного окружения) и как-то, несомненно, влияли на тех, кто получал возможность с ними знакомиться. Однако так как и чтение таких произведений, и их хранение было чрезвычайно опасно, то круг людей, знакомых с ними до «хрущевской оттепели», был, конечно, невелик. В основном происходил процесс накопления тех культурных ценностей, которые впоследствии и заложили основание социо-культурного пространства ВК.

Ситуация приобрела принципиально иной характер в конце 50-х. С одной стороны, чтение и хранение некогда «криминальных» рукописей стало делом менее опасным, круг доверенных лиц вокруг оставшихся в живых авторов постепенно стал расширяться; с другой стороны, стали появляться новые молодые писатели и поэты, хотя бы отчасти знакомые с «подпольной» литературой, которые сами стали писать без особой оглядки на требования «официальной» литературы, увеличивая, таким образом, число непубликующихся и накапливающихся в «подполье» произведений. Возникло явление «самиздата», когда новые и старые произведения перепечатывались на машинках и распространялись «среди своих», и к 60-м годам самиздат принял массовый характер. Стадия накопления «культурных ценностей» перешла в стадию циркуляции. Более того, одни ценности воспроизводили другие; «хранители рукописей» стали для нового поколения молодых поэтов и писателей связующим звеном с русской классической литературой и литературой начала века, однако до конца 60-х годов все это касалось только культурного обихода: «подпольные», неопубликованные произведения удовлетворяли духовные потребности, но «двойная» жизнь продолжалась.

Следующий этап связан с концом «оттепели» и началом т. н. «застойного периода», когда все иллюзии и надежды на возможность «нормального» социального существования, нормальной жизни в обществе были похоронены. Вот тогда-то и появились люди, отказавшиеся от «двойного» существования и ушедшие не только в культурное, но и социальное подполье. Круг замкнулся, и возникла ВК, ставшая новым и уникальным социо-культурным пространством. В жертву была принесена «нормальная» жизнь в обществе и возможность контакта с широким современным читателем, жертва была принесена ради возможности истинного и искреннего существования и, конечно, ради будущего, ведь надежда на него никогда не терялась. Компенсацией «нормального» существования стала возможность знакомства со всем значительным, что создавалось не только во ВК, но и в эмиграции; первыми читателями, слушателями и ценителями стали «последние могикане» в лице Ахматовой, пестовавшей своих «сирот» (Бродского, Рейна, Бобышева, Наймана), Т. Гне-

дич, вокруг которой в Царском Селе возник кружок поэтов, оставшихся в живых «опоязовцев», обэриутов, и многих других. Со временем число их пополнилось за счет молодежи, окружавшей неофициальных поэтов и писателей, так и тех представителей советского «истэблшмента», которые, продолжая жить «двойной жизнью», находили возможным интересоваться ВК и поддерживать ее.

ВНЛ. Изменилось ли Ваше отношение ко «второй культуре» сейчас?

М. Б. Конечно, какие-то характеристики этого странного, уникального социо-культурного образования сейчас видятся отчетливой, и не все определения ВК, которые были даны, выглядят удовлетворительными. В чем-то все изменилось. В чем? Здесь много сопутствующих вопросов. Почему уходили во ВК, из кого она образовывалась, отчего она возникла? Конечно, ВК — это оппозиция, внутренняя оппозиция в обществе, оппозиция обществу.

ВНЛ. Вы говорите «оппозиция», но чему именно противостояла ВК, чему именно противостояли те люди, которые неуклонно, начиная с середины 60-х годов уходили на обочину, периферию общественной жизни, опускались на дно, спускались в подвалы и котельные?

М. Б. ВК была явной (хотя и не всеми замечаемой) оппозицией тому состоянию общества, в котором мы все жили. Но чему именно в обществе, каким именно чертам, проявлениям, что не устраивало более всего, с чем невозможно было согласиться? Мне бы хотелось выделить два наиболее принципиальных момента: один — исторический, относящийся к прошлому, о котором можно было узнать только опосредованно; и другой, имеющий самое прямое отношение к нам, синхронный нашей жизни. Первое — это краеугольный камень несправедливости, лежащей в основе общества. Тем или иным путем каждому становится известна история его родины. Где, в какой стране было пролито столько крови, крови наиболее честных и чистых людей, какое еще общество может похвастаться, что с невероятной жестокостью уничтожало лучших своих писателей и поэтов, ненавидело и преследовало мыслящих и совестливых своих граждан. Общество, не покаявшееся в убийстве своих детей, не может рассчитывать на доверие, какие бы сладкие речи ни были у всех на устах. В конце 60-х годов ни о каком покаянии не было и речи, и для тех, кто в это время начинал задумываться о жизни, а тем более если речь идет о тех, кто, помышляя о писательстве, принимал духовную эстафету у классической русской литературы XIX века и литературы начала века, казалось немислимим иметь хоть что-то общее с государством, представлявшимся преступным и самодовольным. Этика старой русской литературы ставила под сомнение счастье, построенное на «слезинке одного замученного ребенка», а тут волны слез и крови, закрутившие колесо общественной

жизни, в которой и тебе надо было участвовать, если ты хотел стать «настоящим» официальным писателем. Принципиальная невозможность влиться в ряды тех, кто безболезненно существовал в обществе с таким прошлым, была одной из главных нравственных причин ухода в ВК.

Была и вторая причина. Если попытаться кратко охарактеризовать основное противоречие общества второй половины 60-х, 70-х, то это будет противоречие между торжествующей «мнимостью» и почти бессильной реальностью. Почти вся общественная жизнь была славословием «мнимости», прославлением «мнимого», на самом деле не существующего, того, чего просто не было. Общественная жизнь была тем самым нарядом голого короля. Общество состояло из портных, которые на своих станках шили это невидимое платье, а культура принадлежала жрецам, прославлявшим «мнимое», уверявшим, что не просто видят это «мнимое», но и что это «мнимое» в миллион раз лучше самой захудалой реальности. Более того, переворачивая с ног на голову, жрецы «мнимости» утверждали, что «мнимость» — это и есть настоящая реальность, а вот то, что некоторыми «несознательными» почиталось за реальность, есть на самом деле обыкновенная мнимость. Далеко не всегда славословие и утверждение в правах мнимого было лицемерием, в основном жизнь состояла из своеобразных «идеальных» сторонников «мнимого», искренне готовых отдать за это мнимое жизнь, и тех, кто сам этого «мнимого» не видел, но верил, что мнимое на самом деле есть, раз его видят почти все вокруг. И сказать, что «король голый», что «мнимое» есть пшик, что его нет, могли позволить себе только молодые и оголтелые люди, которым не надо было кормить семью, ходить на службу, общаться с окружающими, верящими в факт существования «мнимого». И для этого надо было найти такое место в жизни, где «мнимого» почти не было или же хотя бы где власть его не была определяющей. Такое место можно было найти только на обочине жизни, на ее периферии, в подполье, катакомбах, где власти мнимого не существовало.

Это был выход из безвыходной ситуации. Понятно, что человек, видящий мнимое, видящий то, чего не существует, представляется тому, кто этого не видит, ненормальным, сумасшедшим. И если почти все общество утверждало, что видит «мнимое», то тот, кто его не видит, естественно считает, что перед ним явление массового психоза, массовой галлюцинации, огромного сумасшедшего дома, в котором больных несравнимо больше, нежели здоровых. Но ведь, по определению, здоровье — это норма, а болезнь — отклонение от нормы, и для того, чтобы поставить себя вне общества, над обществом, надо было обладать запасом особой прочности и уверенности в себе. Молодому и не запятнавшему себя прославлением «мнимого» на такое решиться было,

конечно, легче, чем согласиться даже со спасительным интеллигентским компромиссом, согласно которому совершенно не обязательно самому видеть «мнимое» или верить в его существование, надо на самом деле понять, что не противопоставлять себя «мнимому» — есть просто одно из неперемных условий существования «здесь». Однако тому, кто был еще «чист», было также очевидно, что интеллигентское утверждение, что «надо просто честно делать свое дело и все», на самом деле невозможно, и для того, чтобы получить право делать свое «не мнимое» дело, надо было хотя бы раз в жизни по-настоящему принести присягу на верность «мнимому» и быть готовым в любой момент принести ее еще раз, если этого потребуют обстоятельства. И само собой разумеется, что само существование «мнимого» было связано с существованием краеугольного камня несправедливости, запиравшего вход в общество для молодого писателя в конце 60-х годов.

Начиная с этого времени ВК и стала пополняться за счет тех, кто был не в состоянии признать факт существования «мнимого», присягнуть ему и делать потом свое дело, достраивая на самом деле здание, построенное на крови и слезах многих. Конечно, общество было строгим и, понимая, в чем его слабость, старалось оставить как можно меньше места для тех, кто противопоставлял себя ему. Так появились люди, которые, окончив университет, уходили в сторожа и кочегары, зачитываясь философскими и религиозными книгами, работали дворниками, проводя целые недели в Публичной библиотеке, зарабатывали себе на хлеб всевозможной поденщиной. Однако обществу торжествующего «мнимого» не важно было, что ты думаешь на самом деле, важно было, как ты манифестируешь себя. Его не интересовала «истина», его волновала «видимость». И даже те, кто, казалось бы, не претендовал почти ни на что, были окружены постоянным и напряженным вниманием тех, кто в соответствии со своим служебным положением был обязан выявлять наиболее опасных «заблуждающихся», которым — так же, как и всем остальным — нельзя было переступать невидимую, но осязаемую границу дозволенного. Так, под ручку с КГБ, и прожила ВК 70-е и 80-е годы.

ВНЛ. Не осталось ли у Вас ощущения излишнего политического индифферентизма ВК?

М. Б. Нет, нельзя сказать, что ВК была политически индифферентна. В иерархии ценностей нравственность стояла несравнимо выше идеологии и политики, это точно. Более того, было ощущение, что неверный шаг и поступок куда вреднее пропущенного шага, и ВК не то чтобы отказывалась от поступков, но пыталась утвердить «слово на правах дела», ощущая историческую бесполезность «политики» и политических шагов. Задача была — спасти себя и сохранить ту духовную эстафету, которую она приняла из

рук «последних могилок» настоящей русской литературы. Задачей было создать своеобразную экологическую нишу жизни, в которой можно было не просто существовать, но существовать полноценно и творчески, обмениваясь недоступными для всех остальных книгами, формируя свою культуру общения, свой собственный образ жизни — социум в социуме. Государство анархии в одном из самых детерминированных государств в истории.

ВНЛ. Что за люди приходили и уходили из ВК?

М. Б. В ВК были те, кто оставался, были те, кто переживал в ней трудные времена, те, кто использовал ее как трамплин. Почему так происходило? У каждого были свои причины. Известны многие, кто пришел в ВК и ушел из нее в «официальную». В 60-х годах, когда и понятия такого — ВК — не было, все было более или менее перемешано. Бродский общался с Битовым и Кушнером, Довлатов и Марамзин с Аксеновым, а вот с середины 60-х годов началось расслоение. На самом деле расслоение началось еще раньше, и совершенно понятно, почему, например, печатался Кушнер и не печатался Бродский. И все-таки те люди, которые хоть какое-то время побывали в ВК, несли на себе и потом какой-то особый отпечаток. Даже если потом они полностью отказывались от своих прежних позиций, как это произошло, скажем, с Глебом Горбовским, которого Кока Кузьминский до сих пор печатает в своей многотомной антологии «Голубая лагуна». Причины ухода в «официальную» культуру были и чисто житейскими, бытовыми, нищенствовать и жить убого всегда трудно, но в любом случае для пишущего по-настоящему существование с неотторжимыми от него рукописями (а от своего произведения избавиться можно только опубликовав, «обнародовав» его) достаточно мучительно. Этот процесс мучителен в силу своей неестественности. А неестественность такого рода не может не накладывать отпечатка и на саму жизнь, на образ жизни писателя, который, выбрав независимость и свободу, пожертвовал естественностью писательского существования. Сейчас нередко пишут о том, какими потерями обернулся процесс приспособления для тех талантливых художников, которые так или иначе попытались «вписаться» в существующие рамки советского истеблишмента, став тем официальным писателем, который публикует более или менее регулярно книги, несомненно, отмеченные талантом, но почти всегда с горьким привкусом не то чтобы даже недосказанности, а внутренней несвободы, от которой никуда не деться. Даже если ты не становишься певцом «мнимого», а по крайней мере считаешься с фактом его существования, не имея возможности протестовать против него. Именно в таком положении оказались наиболее талантливые «шестидесятники»: Битов, Ахмадулина, Кушнер, Трифонов, Маканин. Об их потерях будет еще сказано, или они скажут об этом сами.

Однако и потери «неофициальных» писателей оказались не менее ощутимыми. Их уделом стала неестественность существования, выдержать которую оказалось совсем не так просто, как представлялось вначале. И многие не выдерживали. Ведь выходом была не только попытка адаптироваться в «официальной» литературе, другим выходом, открывающим запасную дверь, была эмиграция. И многие уезжали, уезжали как из «официальной культуры», так и из «второй». Некрасов, Владимов, Марамзин, Саша Соколов, Кублановский и многие другие. Проблемы существования эмигрантской литературы требуют еще своего выяснения и осмысления. Что же касается ВК, то для нее оторванность от естественного литературного процесса оборачивалась замкнутостью, в какой-то мере отрезанностью от мира, существованием пусть и в своей экологической нише, но существованием как бы параллельным. И если поначалу в этом не было ничего опасного, то впоследствии так или иначе во «второкультурной» среде стал проявляться привкус сектантства, духовной затхлости, да и убогий, нищенский быт давал о себе знать. Хотя, с другой стороны, отгороженность от банального, профанирующего существования, от суеты приводила к духовной углубленности (и чем дальше от поверхностного существования, тем глубже приходилось копать). И, однако, плюсы и минусы такого существования шли рука об руку, и с этим трудно было что-то поделать.

Достаточно опасным оказался и соблазнительный стереотип, родившийся, очевидно, как раз в 60-е годы. Сравнивая писателей из начального периода русской советской литературы, нетрудно было заметить, что те писатели, что не шли на поводу у времени, не присягали на верность «мнимому» (за что общество превращало их в «отщепенцев», вынуждая к уходу из реального литературного процесса, а то и из жизни),— эти писатели выныривали в конце концов на поверхность, принося со дна безвременья куда более внушающие уважение результаты, чем те, которые, пытаясь приспособиться к требованиям времени, существовали все время на плаву. Для ВК не существовало дилеммы, кто лучше: Платонов или Фадеев, Булгаков или Федин, Мандельштам или Всеволод Рождественский. И возник достаточно привлекательный стереотип, что залогом будущего успеха в той социо-культурной ситуации, к которой мы все были причастны, являлось не просто его сегодняшнее непризнание, а обязательное существование в подполье без каких бы то ни было связей с находящимся где-то там, на поверхности, обществом. Если говорить об отдельных судьбах писателей, выбравших для себя путь общественного презрения и остракизма, то здесь, как и следовало ожидать, произошло следующее: для наиболее талантливых существование в промежутке безвременья оказалось плодотворным, а преодоление многочис-

ленных психологических и бытовых трудностей полезным. А для писателей, скажем так, с более скромным дарованием, которых, естественно, в любой среде большинство, этот процесс оказался губительным. И многие из них так и не реализовали в ВК свои потенции, несомненно когда-то существовавшие, ибо для них было слишком мало света в подполье, чтобы чувствительная фотопленка таланта как следует проявилась.

ВНЛ. Насколько все описанное Вами, проявилось и в образе жизни представителей ВК?

М. Б. В некотором смысле само существование ВК — это некий удивительный социальный эксперимент. Была цель: научиться жить в условиях, для жизни не приспособленных. В условиях подполья, катакомб. И здесь нужно сказать, что само понятие жизни становилось поневоле предметом творчества, причем куда в большей степени, чем у немецких романтиков или русских символистов и футуристов. Выжить полноценным человеком мог лишь только тот, кто находил свой способ проживания в условиях темноты. И те, кто находил свой стиль, предъявляли уникальные способности жизнетворчества, умудряясь не только приспособливаться к тем условиям, в которые были поставлены, а создавая свою эстетику, свое понятие о красоте, порядок, черок жизни. В этом смысле жизнь многих представителей ВК не просто экзотична и интересна, но и поучительна в лучшем смысле.

ВНЛ. Как сейчас «чувствует себя» «вторая культура»?

М. Б. Сейчас ВК переживает трудные времена. Кто-то, вероятно, представляет, что снятие некоторых цензурных запретов, публикация многих ранее запрещенных произведений с восторгом были восприняты ВК, которая должна была увидеть в этом долгожданную возможность реализации накопленных за годы «застоя» произведений. Однако все намного сложнее. ВК скептически воспринимает происходящие перемены. И на это у нее есть основания. Дело в том, что сейчас как раз и происходит перекачивание ценностей из «второкультурного» пространства в «официальное», где с невиданной быстротой эти ценности адаптируются, усваиваются, меняя идеологический знак этих ценностей и одновременно меняя в лучшую сторону мнение о себе. И, в то же самое время, разоряя те социо-культурные пространства, в которых эти ценности существовали ранее. При этом, даже меняясь в лучшую сторону, официальное культурное пространство до сих пор не соответствует представителю ВК, привыкшему не только к более свободному существованию, но еще и к существованию внутри «своего», вполне определенного мира; не имея возможности найти себе место в «новой официальной» культуре, он чувствует себя неуютно и в том мире, где ощущал себя вполне устойчиво еще пять-семь лет тому назад, ибо это пространство

пустеет прямо на глазах и теряет при этом свою былую устойчивость. Так получается, что строятся, собираются культурные пространства годами и десятилетиями, а разрушаются, порой, почти мгновенно. Для писателя очень важно реализовать то, что им было сделано раньше, именно для того, чтобы посмотреть на это со стороны, а затем двигаться дальше. Но вот двигаться дальше — это как раз сейчас намного труднее, чем раньше. Писателю, для того чтобы писать, необходима внутренняя устойчивость, необходимо подняться над стереотипами жизни, которые сложились к настоящему моменту, чтобы увидеть их со стороны. Иначе говоря, устойчивость положения в общественном пространстве необходима, чтобы познать внутреннее течение жизни. Художественное произведение — помимо всего прочего — интересно констатацией изменений традиционных ценностей, выяснением их новой ориентации в общественном пространстве. Однако для этой констатации собственный мир художника должен обладать устойчивостью. Характерной особенностью современной социо-культурной ситуации является то, что подобной устойчивостью сейчас по сути дела никто не обладает.

Многие выбиты из своих с трудом обретенных в «застойные времена» жизненных позиций, да и сами эти позиции приобретают сейчас иной общественный смысл и значение. Еще вчера позиция ВК-го писателя была сильной, это была позиция внутренней свободы, раскрепощенности и независимости. Сейчас та же позиция становится во многом претенциозной — это позиция скептического наблюдателя, высокомерного гордеца, ушедшего в глухую защиту, хотя на самом деле на него уже давно никто не нападает.

Время поменяло знак и требует от человека иного отношения к жизни и к себе, нежели раньше. Условно говоря, есть два типа времени: времена плотные, трудные, тугие, тесные, в которых жить почти невыносимо. И времена просторные, растянутые, внутренне подвижные. У В. Кривулина есть цикл стихов, который так и называется «Время мужское и время женское». Время женское — время сохранения жизни, выживания, выстаивания, сбережения накопленного. В эти времена главное — сохранить, отстоять себя, уповая на традиционные ценности, приобретающие оттенок открытий. В «застойный период» ВК во многом и была той экологической нишей, где сохранялись, углублялись, отмывались традиционные ценности, а в жизни ценились вещи простые, с помощью которых можно было спастись.

Как в тесноте поэтической строчки словам возвращается первоначальный глубинный смысл, так в тесные времена ценно все, что помогает просто выжить. А вот переход от метрического стихосложения к верлибру предполагает изменение звучания и смысла слова, которое ищет себе место в куда более просторном объеме.

Сейчас стрелка переключена с женского времени на мужское, более просторное, подвижное, с переносом акцента со слова на дело, поступок, действие. Сохранение прежних позиций — это попытка сохранить гнезда, отчасти разоренные, отчасти покинутые, но покинутые именно потому, что жизнь ушла, а гнезда остались на старом месте. Культура более соответствует женскому времени, ибо культура тоже связана с «высиживанием яиц». В мужское время у культуры другая роль: в ней происходит поляризация, и какая-то часть, вдохновленная новыми возможностями, ставит перед собой прагматические цели, работая на широкого читателя, а другая часть, носящая прогностический характер, начинает пытаться решить загадку будущего, судьбы, промысла.

ВНЛ. Что, по Вашему мнению, ожидает в будущем ВК?

М. Б. ВК возникла как уникальная и непредвиденная реакция на существование общества с «мнимыми» ценностями, с нарушенной ценностной иерархией. ВК представляет собой способ выжить в условиях, когда жить, казалось, невозможно. И она перестанет существовать, когда иерархия ценностей будет восстановлена и мнимые ценности уступят место истинным.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Борис ДЫШЛЕНКО (род. в 1941 г.) — прозаик. До 1986 г. публиковался только в самиздатских журналах «37», «Часы», «Обводный канал» и на Западе. Первая публикация в Советском Союзе — в журнале «Нева» в 1986 г., печатался также в журнале «Родник» (1988—1989 г.).

Живет в Ленинграде.

Татьяна ГОРИЧЕВА (род. в 1947 г.). Окончила философский факультет Ленинградского университета. Была соредактором журнала «37», организатором религиозно-философских семинаров, одним из лидеров женского движения. В 1980 г. выслана из страны. В настоящее время живет в Париже, издает религиозно-философский журнал «Беседа». Среди ее книг, вышедших на многих языках, наиболее известны: «Опасно говорить о Боге», «Спасение погибших», «Дочери Иова».

Лев РУБИНШТЕЙН (род. в 1947 г.) — поэт. Долгое время публиковался исключительно в самиздате и за границей в журналах и сборниках «А — Я», «Ковчег», «Тут и там», «Kulturpalast» и др. на русском языке и в переводах. В последние годы печатался в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Родник», «Даугава», альманахах «Поэзия», «Весть».

Живет в Москве.

Владимир СОРОКИН (род. в 1955 г.) — прозаик, драматург, художник-график. Роман «Очередь» опубликован в издательстве «Синтаксис» (Париж, 1985 г.), переведен на несколько языков, роман «Тридцатая любовь Марины» издан по-французски в издательстве «Lieu Commun» (1987 г.).

Печатался также в «Литературном «А-Я», журналах «Schreibheft», «Artipress», «Autrement».

Живет в Москве.

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ (род. в 1944 г.) — поэт, драматург, критик. Редактирует вместе с К. Бутыриным журнал «Обводный канал». Широко публиковался в самиздате и на Западе в журналах «Эхо», «Стрелец», «Вестник РХД» и др. В СССР печатался в сборнике «Круг» и журнале «Родник».

Живет в Ленинграде.

Евгений ХАРИТОНОВ (1941—1981 г.) — актер, режиссер, драматург, прозаик, поэт. При жизни не печатался. В последние годы его произведения опубликованы в журналах «37», «Часы», «Литературный «А — Я», альманахах «Бронзовый век», «Каталог».

Сергей ШЕЛИН (род. в 1955 г.) — публицист, культуролог. Публиковался в ленинградской периодике: «Смена», «Искусство Ленинграда».

Живет в Ленинграде.

Алексей ШЕЛЬВАХ (род. в 1948 г.) — публицист, прозаик. Печатался в самиздатских журналах «Часы», «Митин журнал», в сборнике «Круг», журналах «Нева», «Родник». За рубежом публиковался в журналах «Современник», «Новый журнал», антологии «У голубой лагуны». В 1988 г. в издательстве М. I. P. (США) вышла книга стихотворений «Черновик отваги».

Живет в Ленинграде.

Владимир ЭРЛЬ (род. в 1947 г.) — поэт, прозаик, литературовед, текстолог. Лауреат премии имени Андрея Белого (1986 г.). Публиковался в самиздатских журналах и сборниках «Лепта», «Митин журнал», «Обводный канал», «Острова», «Транспонанс», «Часы» и др. и за рубежом в сборниках «Аполлонь-77», «Гумилевские чтения» («Wiener slavistische Almanach») и антологиях «Живое зеркало», «Лепрозорий-23», «У голубой лагуны». В 1989 г. несколько стихотворений были опубликованы в газетах «Собеседник» и «Вечерний Ленинград».

Живет в Ленинграде.

Олег ЮРЬЕВ (род. в 1959 г.) — поэт, драматург. Публиковал стихи в газете «Русская мысль» (Париж) и журнале «Континент». Книга «Стихи о небесном наборе» вышла в составе сборника четырех авторов «Камера хранения» (М., 1989). Пьесы печатались в книгах «Две короткие пьесы» (Л., 1990). и сборнике «Восемь нехороших пьес» (М., 1990). Три пьесы поставлены в московских театрах. Литературно-критические статьи и эссе публиковались в советской и зарубежной периодике.

Живет в Ленинграде.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

1. Л. Богданов. Проблески мысли и еще чего-то	3
2. С. Стратановский. Стихи разных лет	58
3. Евг. Харитонов. Духовка (рассказ)	69
4. Л. Рубинштейн. Стихи разных лет	88
5. Б. Дышленко. Кромка (рассказ)	103
6. А. Шельвах. Стихи разных лет	118
7. В. Сорокин. Дорожное происшествие (рассказ)	131
8. О. Юрьев. Стихи разных лет	147

ПУБЛИКАЦИИ

9. В. Набоков. Ада (роман)	157
10. Из «Последних листьев» В. Розанова (Вступительная статья и публикация Г. Морева)	183
11. Л. Аронзон. Стихи (Публикация В. Эрля)	192

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

12. В. Эрль. Несколько слов о Леониде Аронзоне	214
13. Т. Горичева. Сиротство в русской культуре	227
14. И. Кавелин. «Новый мир» и другие	246

ПУБЛИЦИСТИКА

15. С. Шелин. Семь верст до небес и все лесом	262
ИНТЕРВЬЮ	286
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	302

В "Вестнике новой литературы" N 4 читайте:
прозу В.Ерофеева "Русская щель", Л.Гиршовича "Чародеи со скрипками", С.Юрьене-
на "Дебют", Н.Климонтовича "Имя: нимфа";
стихи А.Миронова, В.Филиппова, С.Красовицкого, Т.Кибирова;
статьи А.Формозова, В.Иофе, И.Кавелина, С.Шелина, М.Золотоносова, а также про-
должение перевода романа В.Набокова "Ада".

ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ № 3

Сдано в набор 04.01.91. Подписано к печати
19.02.91. Формат 60×84/16. Офсетная печать.
Тип Таймс гарнитура. Усл. печ. л. 17,67. Тираж
20 000 экз. Цена 5 р. Издание подготовлено с
использованием ДИС.

Отпечатано в Латвийском Издательстве ЦК
КПСС. Заказ № 48

Взвеш

ИЗДАТЕЛЬСТВО АССОЦИАЦИИ "НОВАЯ
ЛИТЕРАТУРА" В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
РАСПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ КНИГАМИ:

"Вестник новой литературы" - независимый литературно-публицистический журнал, номера 1, 2, 3, объем одного номера 20 п.л., цена 5.00.

Елена Шварц. "Стихи", 6 п.л., цена 2.49.

Борис Кудряков. "Рюмка свицца" (рассказы и повести), 7 п.л., цена 2.50.

Лидия Гинзбург. "Претворение опыта" (впервые публикуемые "Записки блокадного человека" - часть 2-я, "Записи разных лет"), 12 п.л., цена 4.50.

Виктор Тихомиров. "Золото на ветру" из серии "Проза Митьков", с 60-ю илл. А. Флоренского и предисловием В. Шинкарева, 7 п.л., цена 6.00.

Принимаются заявки на издания, готовящиеся к выходу: "Вестник новой литературы" № 4; Михаил Берг. "Между строк *ili* читая мемории, а может просто Василий Васильевич (авантюрное повествование о действительных событиях, поставленных с ног на голову)", "Вечный жид", "Россия" (романы), 17 п.л., цена 4.00; Сергей Стратановский. "Ночной вахтер" (стихи и поэмы), 5 п.л., цена 1.50; Леонид Гершович. "Обменные головы" (психологический детектив из жизни русских эмигрантов), 10 п.л., цена 4.00; Леонид Гершович. "Прайс" (парадоксальный синтез "романа восприятия" с антиутопией), 20 п.л., цена 6.00. Оба произведения впервые публикуются в Советском Союзе; Виктор Кривулин. "Изборник" (стихи), 7 п.л., цена 2.50; Евгений Харитонов. "Под домашним арестом" (проза), 16 п.л., цена 4.50; Александр Миронов. "Осень андрогина" (стихи), 5 п.л., цена 1.50.

На каждое издание просим присылать отдельный заказ по адресу: 197347, Ленинград, ул. Петрозаводская, 7, магазин Академкниги "Книга - почтой" (с пометкой: для Ассоциации "Новая литература").

НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

